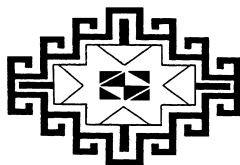


РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ
С ТУРКМЕНИСТАНОМ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ С ТУРКМЕНИСТАНОМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ



Санкт-Петербург
2000 г.



RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF MATERIAL CULTURE HISTORY

FOUNDATION FOR THE PROMOTION
OF RUSSIAN-TURKMENIAN LINKS (SAINT-PETERSBURG)
SAINT-PETERSBURG SOCIETY
OF CULTURAL CONNECTIONS WITH TURKMENISTAN

**THE INTERACTIONS
OF CULTURES AND CIVILISATIONS**

In honor of
V. M. MASSON

Saint Petersburg
2000 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ
С ТУРКМЕНИСТАНОМ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ С ТУРКМЕНИСТАНОМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В честь юбилея

В. М. МАССОНА

Санкт-Петербург
2000 г.

“РОССИЙСКО-ТУРКМЕНСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ”
Вып. I

Издано при поддержке **Фонда содействия развитию связей
с Туркменистаном (Санкт-Петербург).**

Ответственный редактор: Ю. Е. БЕРЕЗКИН

Оригинал-макет: Л. Б. Кирчо

Книга посвящена различным аспектам взаимодействия культур и цивилизаций как фактора исторического прогресса. Древние культуры и цивилизации Туркменистана представляют собой яркий образец таких творческих взаимодействий с культурами Востока. Значение этих факторов в XXI веке возрастает, чему призваны содействовать государственные и общественные организации. Одной из таких организаций стало Санкт-Петербургское общество культурных связей с Туркменистаном, деятельность которого разворачивается в рамках содействия программе развития культуры и науки “Рухнаме”, предложенной президентом Туркменистана С. А. Ниязовым.

ЧАСТЬ I

**НОВЫЙ ЭТАП
КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ И ТУРКМЕНИСТАНА**

(документы)

ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН С. А. НИЯЗОВУ

Глубокоуважаемый Сапармурат Атаевич!

Инициативная группа научной и творческой интеллигенции Санкт-Петербурга организовала Общество культурных связей с Туркменистаном как продолжение традиционных связей Туркменистана и нашего города. Санкт-Петербург как традиционный центр востоковедения России имеет богатый опыт изучения истории и культуры Туркменистана. Академику В. В. Бартольду принадлежит классический труд “Очерк истории туркменского народа”, изданный в 1929 г. в Ленинграде в сборнике “Туркмения”, т. I. Ленинградским Институтом востоковедения Академии наук СССР были подготовлены и изданы с комментариями два тома арабских и персидских источников по этой тематике под общим заглавием “Материалы по истории туркмен и Туркмении”. В архивах Санкт-Петербурга хранятся многочисленные материалы, посвященные истории, культуре и природе Туркменистана. Археологи Ленинграда — Санкт-Петербурга, проводя систематические экспедиционные исследования в Туркменистане, открыли местную цивилизацию бронзового века Алтын-депе 2000 г. до н. э., бывшую современником Шумера и Вавилонии. Учреждения культуры и науки Санкт-Петербурга содействовали подготовке национальных кадров республики в разных областях знаний и культурной деятельности.

Общество ставит своей целью всемерное содействие развитию связей Санкт-Петербурга и Туркменистана в различных сферах науки, культуры и искусства. В числе организационных форм будут предусмотрены совместные научные мероприятия, в том числе, конференции, публикации, экспедиционные исследования, а также обмен творческими коллективами и целевые выступления художественных коллективов и отдельных артистов, организация выставок памятников культуры и современных художников. Особое значение будет придаваться подготовке кадров на уровне современных мировых стандартов через именные стипендии в вузах Санкт-Петербурга, целевую стажировку и прикомандирования.

Мы надеемся что деятельность нашего общества будет способствовать реализации благородных идей развития науки и культуры Туркменистана, выдвинутых Вами в стратегии программы “Рухнаме”.

С глубоким и давним уважением,

Председатель Правления

Общества культурных связей с Туркменистаном,

академик Российской Академии естественных наук

и Академии наук Туркменистана

СПб. 29 сентября 1999 г.

В. М. Массон



**Председателю Общества культурных связей с Туркменистаном,
академику Российской Академии естественных наук,
академику Туркменистана,
члену Датской королевской академии наук и литературы,
члену-корреспонденту Германского археологического института
МАССОНУ В.М.**

Уважаемый Вадим Михайлович,

Примите мои наилучшие пожелания успехов и крепкого здоровья в связи с Вашим 70-летием.

С удовольствием воспринял известие о создании в г.Санкт-Петербурге Общества культурных связей с Туркменистаном, учредителями которого выступил целый ряд выдающихся ученых России. Не вызывает сомнений, что Ваше Общество, родившееся в городе, который по праву является сокровищницей русского зодчества, науки и культуры, будет способствовать взаимному обогащению наших культур, укреплению и развитию дружбы и сотрудничества между нашими народами.

Особое удовлетворение вызывает то, что именно Вы, выдающийся востоковед современности и деятель исторической науки России, посвятивший более пяти десятилетий изучению богатейшей и самобытной туркменской культуры, первооткрыватель и исследователь древних цивилизаций юга Центральной Азии, возглавили Общество культурных связей с Туркменистаном.

Приглашаю Вас, уважаемый Вадим Михайлович, посетить Туркменистан, быть нашим гостем и ещё раз убедиться в туркменском гостеприимстве и высоком уважении к Вам.

С наилучшими пожеланиями крепкого здоровья и благополучия,

Сапармурат НИЯЗОВ
Президент Туркменистана

Ашхабад, "19" октября 1999 г.

УКАЗ

Президента Туркменистана

О приеме в гражданство Туркменистана

Принять в гражданство Туркменистана:

Массона Вадима Михайловича, 3 мая 1929 года рождения, уроженца гор.Самарканда Узбекской ССР, русского, гражданина Российской Федерации.

Президент Туркменистана Сапармурат ТУРКМЕНБАШИ

г. Ашхабад, 29 октября 1999 г.

В. М. Массон

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВА КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ В АШГАБАТЕ 11 НОЯБРЯ 1999 ГОДА

Я думаю, что создание обществ культурных связей Туркменистана и России — это своего рода знамения времени. Президент Туркменистана С. А. Ниязов выступил с генеральной стратегической концепцией “Рухнаме”. Один из ее аспектов — соединение национальных достижений и достижений мировой цивилизации. Но это не следует делать механически и эклектично, а как интеграционное поле на селекционной основе с учетом туркменских традиций и туркменского менталитета. В принципе это касается многих явлений, в том числе и ислама, где необходимо учитывать национальные традиции туркмен в мировоззрении и поведенческой сфере. Поспешное перенесение некоторых стандартов, которые сегодня кажутся модными, не только не жизненно, но и мало перспективно. Я не уверен, что кафе типа Макдональдс соответствует традициям и менталитету туркмен, да и многих других народов. Скорее я готов видеть в Ашгабате сеть закусочных с миниатюрными фитчи. Есть немало образцов результативного творческого подхода к этому аспекту стратегии “Рухнаме”. Я с огромным удовольствием был в театре оперы и балета на премьере оперы “Героглы”. Это одна из возможностей соединения вековых традиций и художественных форм, выработанных современной мировой цивилизацией.

Генеральная стратегия “Рухнаме” разнообразна и многопланова. Как один из возможных комплексных проектов предлагается направление

“Культурное наследие Туркменистана (глубинные истоки и современные перспективы)”. В культурном наследии проявляются две важнейшие особенности истории и культуры Туркменистана — ритм культурогенеза и взаимодействие древних культур и цивилизаций, сотрудничество которых позволяет достичь выдающихся успехов. История развивается не однозначно и не прямолинейно. В одном выступлении С. А. Ниязов отметил эту особенность на примере развития государственности, где были и блестящие достижения, были и потери. Это в целом особенность исторического процесса, в том числе и в прошлом Туркменистана. Были периоды расцвета и славы, периоды блестящего взлета древних цивилизаций, затем были замедления, остановки и быть может даже попятные движения. Это и есть диалектика, о которой ранее много декларативно говорили, но и не пытались видеть ее в живой жизни.

Культурное наследие, его конкретный анализ и распространение об этом информации, позволит образно выявить и формирование особенностей национального менталитета, и духовное богатство. Значение познания этих сторон исключительно актуально. Без учета туркменского менталитета нельзя формировать демократическое общество современного Туркменистана. Туркменские традиции и менталитет ярко демонстрируют глубинные истоки уважительного отношения к добросовестному труду. Все это делается не лозунгами, а построением информационного поля, которое создает мировоззренческую ситуацию, где “должным образом учитываются и национальные традиции, и достижения современной мировой цивилизации”. Воспитание идет через познание. Есть три формы хранения и передачи информации — устная, художественная и письменная и все их надо широко использовать для создания широкой информационной картины культурного наследия Туркменистана. Здесь, помимо просветительской деятельности, многое еще предстоит выявить, осветить и даже четко сформулировать. С этой целью предлагается проведение международных научных симпозиумов “Культурное наследие Туркменистана”.

Здесь, как и в других областях, для обществ культурных связей России и Туркменистана открывается безбрежное поле деятельности. Намечается и ряд направлений деятельности “Общества культурных связей с Туркменистаном”, образованного в Санкт-Петербурге. Наряду с познанием культурного наследия Туркменистана и его популяризацией весьма важна мобилизация информационного потенциала, имеющегося в России по истории и культуре туркмен и Туркменистана. Очень важно оказать содействие развитию кадрового потенциала науки Туркменистана, как через приобщение ученых к новым направлениям и разработкам, так и подготовку кадров следующей генерации на уровне методологической и методической вооруженности современной мировой науки. В этом отношении Санкт-Петербург, как один из ведущих центров мировой ориенталистики может оказать заметное содействие. На восточном факультете в нашем университете ведется обучение на 90 восточных языках. Я

думаю, в мире нет другого центра, в котором была такая концентрация лингвистического образования. Мы будем стараться содействовать обмену в области культуры и искусства, взаимному обмену театральными программами, художественными и информационными выставками. Я надеюсь, наше общество окажет содействие концентрации усилий интеллектуальных кругов Ашгабата и всего Туркменистана в реализации программы “Рухнаме”, консолидации этого немалого, но частично разобранного и невостребованного потенциала. Важной стороной деятельности станет содействие разумному распространению надежной информации о Туркменистане и России. Все это — начало пути и я желаю туркменским коллегам, и обществу культурных связей с Россией и моим петербургским друзьям и коллегам Ак-йел.

Я скажу в заключение, что, возможно, не все отдадут себе отчет в стратегической мудрости задачи развития науки и культуры Туркменистана, заложенной в “Рухнаме”. Так будем же достойны своих стран, их великого культурного наследия и культурных традиций.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ С ТУРКМЕНИСТАНОМ

В сентябре 1999 года по инициативе группы ученых и деятелей культуры Санкт-Петербурга было образовано Общество культурных связей с Туркменистаном. Санкт-Петербург — Ленинград, как крупнейший центр мировой науки и культуры, традиционно связан с научными разработками по истории и культуре Туркменистана. 70 лет ленинградскими учеными проводились в Туркменистане широкие экспедиционные исследования, приведшие, в частности, к открытию цивилизации бронзового века — Алтын-депе, относящейся ко времени около второго тысячелетия до нашей эры. Высшие учебные заведения Ленинграда заканчивало несколько поколений студентов из Туркменистана, в том числе Президент Туркменистана С. А. Ниязов.

В своей деятельности Общество предполагает оказывать всемерное содействие программе развития науки и культуры Туркменистана “Рухнаме”, намеченной Президентом Республики С. А. Ниязовым на ближайшие годы. Намечается целый цикл различных мероприятий — от совместных научных симпозиумов до обмена творческими группами художественной интеллигенции, выездов артистов и гастрольных групп. Особое внимание будет уделено содействию в подготовке кадров, опираясь на высокий потенциал ориенталистики Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Осуществлению подобных мероприятий способствует внимание, уделяемое в Туркменистане строительству объектов культуры. За последние годы здесь был построен обширный Национальный музей исто-

рии и этнографии Туркменистана и Институт восточных рукописей со специально оборудованным хранилищем, позволяющим обеспечить максимальную сохранность древних манускриптов.

В декабре 1999 года в Ашгабате по материалам архивов Санкт-Петербурга в Национальном музее была организована выставка “Лики истории (российские исследователи Туркменистана)”. В феврале 2000 года в Туркменском Государственном Университете в Ашхабаде силами Санкт-Петербургского Общества и Общества культурных связей Туркменистана с Россией при поддержке Посольства Российской Федерации в Туркменистане был открыт Российский центр культурных связей с Туркменистаном. На конец мая — начало июня намечается проведение дней культуры Туркменистана в Санкт-Петербурге.

Все это будет способствовать изучению, сохранению и использованию российского и туркменистанского культурного наследия как важнейшей составной части мировой цивилизации XXI века.

УКАЗ Президента Туркменистана

О присуждении Международной премии имени Махтумкули за 2000 год

В соответствии с решением Комитета по Международным премиям имени Махтумкули **постановляю:**

За выдающийся вклад в научные исследования по археологии и истории Туркменистана, заслуги в изучении и распространении в мире культурного наследия туркменского народа, подготовке туркменских ученых, а также в укреплении дружественных отношений между туркменским и русским народами присудить Международную премию имени Махтумкули за 2000 год академику Российской академии естественных наук, заведующему отделом Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной культуры Российской академии наук **Массону** Вадиму Михайловичу.

*Президент Туркменистана Сапармурат
ТУРКМЕНБАШИ.*

г. Ашхабад, 21 февраля 2000 г.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ С ТУРКМЕНИСТАНОМ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

В апреле 2000 года в Петербурге зарегистрирован международный Фонд содействия развитию связей с Туркменистаном. Инициаторами создания и учредителями Фонда стали руководители крупных коммерческих структур городов Российской Федерации и представители научной интеллигенции.

Основной целью, на достижение которой направлена вся деятельность Фонда, является содействие многостороннему сотрудничеству между Северо-западным регионом России и Туркменистаном.

Осуществление этой цели Фонд видит через поддержку российского научного, культурного и образовательного присутствия в Туркменистане; в частности — поддержку российских (санкт-петербургских) ученых, научная деятельность которых связана с изучением Туркменистана, участие в организации и проведении конференций, симпозиумов, круглых столов, научно-исследовательских экспедиций, финансирование публикаций научных трудов и трудов, пропагандирующих культурное наследие России и Туркменистана.

Для создания прочной финансовой базы, позволяющей обеспечить достойное выполнение гуманитарных задач, деятельность Фонда направлена на установление и развитие взаимовыгодных торгово-экономических отношений с туркменскими государственными и частными предприятиями.

А. Н. Шестериков.
Президент Фонда

Часть II

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И ДРЕВНИЙ ВОСТОК. НОВЫЕ ФАКТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Научные статьи
в честь юбилея В. М. МАССОНА

Многие вошедшие в сборник статьи были представлены в качестве докладов на конференции в Санкт-Петербурге (май 1999), посвященной 70-летию В. М. Массона, и их тематика в основном связана с научными интересами юбиляра. Сборник, однако, не только вносит вклад в разработку проблем, которыми занимался В. М. Массон, но и знаменует собой вполне определенный этап исследований, отражая ситуацию в археологии Центральной Азии 90-х годов. Прекращение крупномасштабных раскопок специалисты стараются компенсировать обобщающими разработками, а также более внимательным изучением уже добытых коллекций, в том числе с помощью точных методов и в содружестве с коллегами из-за рубежа. В сборнике преобладает среднеазиатская тематика, но есть также статьи по Закавказью, Передней Азии, Южной Аравии, Казахстану, Южной Сибири, Южному Уралу. Хронологически сборник охватывает период от энеолита до средневековья. Большинство статей снабжено иллюстрациями.

Наиболее ранние материалы рассматривает Л. М. Челидзе, выделяющая восточногрузинский и западноазербайджанский варианты в пределах шулавери-шомутепинской культуры. Г. Г. Пхакадзе анализирует место восточного Причерноморья в системе культурных взаимодействий в циркумпонтийском ареале. Для всего III тыс. до н. э. она выделяет новую "раннебронзовую культуру Колхидской низменности", для которой характерны хуторской тип расселения, консервативность каменной индустрии, дольмены, литье способом потерянного воска, мышьяковистая бронза и пр. Заметны взаимодействия с культурой ранних триалетских курганов и параллели в формах и орнаментации керамики с Караново VII, Черноводой, Езеро.

Обширная статья К. К. Кушнareвой и М. Б. Рысина посвящена уточнению относительной хронологии и периодизации памятников Южного Кавказа начала среднего бронзового века, рассмотренных на широком культурном фоне аналогий из передневосточного региона.

Л. Б. Кирчо сообщает о неизвестном ранее типе женской статуэтки, обнаруженной среди коропластики энеолитического поселения Карадепе у Артыка. Статуэтка выделяется позой (согнутое туловище), несколько более крупными, чем обычно, размерами и высоким качеством обжига, обнаруживая западные аналогии вплоть до неолитического Хаджилара и додинастического Египта (фигурки амратского типа середины IV тыс. до н. э.).

А. К. Нефедкин характеризует этапы развития боевых колесниц и приемов боя на Древнем Востоке от эпохи "урского штандарта" до ру-

бежа эр. Максимальное значение колесницы приобрели к концу II тыс. до н. э. К этому времени они распространились вплоть до Индии и Скандинавии. В X—VIII вв. до н. э. происходило вытеснение колесниц конницей, а в V—I вв. до н. э. важную роль стали играть серпоносные колесницы. В Индии, Китае, Западной Европе, Ливии развитие данного вида боевой техники запаздывало по сравнению с Передней Азией.

В. Д. Рузанов приводит результаты анализа металла из погребений типа “ямы со спуском” Тулхарского могильника. Сопоставление с данными по металлу различных этапов сапаллинской культуры приводит автора к заключению, что ранний Тулхар относится не к XIII—IX вв. до н. э., как полагал А. М. Мандельштам, а скорее к XVI/XV—XII вв. до н. э.

А. Я. Щетенко, анализируя материалы раскопок Теккем-депе и “Вышки” Намазга-депе, предлагает уточненную стратиграфию этих памятников вплоть до раннеахеменидского времени. За финальным периодом Намазга V следуют ранняя Намазга VI, поздняя Намазга VI, Яз I, Яз II. Данные стратиграфии подкреплены аналогиями изделиям из металла среди материалов других территорий. Круг их охватывает Гиссар, Сиалк, Гиан, Сумбар, памятники андроновской общности, а также находки в Румынии и Восточной Венгрии.

Н. В. Полосьмак и Е. В. Шумакова публикуют свидетельства некийского происхождения шелковой женской рубахи из одного из пазырыкских курганов. Низкая плотность нитей, большая ширина ткани и факт изготовления нитей из коконов неодомащенного шелкопряда указывают на южные оазисы Восточного Туркестана как на наиболее вероятный источник.

К. Абдуллаев выявляет различные антропологические типы в скульптуре Халчаяна (европеоидные с незначительной монголоидной примесью при, возможно, искусственной деформацией головы; монголоидный; европеоидный). Его выводы противоречат мнению В. П. Алексеева и В. Я. Зезенковой о практическом отсутствии монголоидов в Бактрии в кушанское время.

Статья В. П. Никонорова содержит обзор важнейших находок (монеты, терракота, костяной гребень с рисунками), обнаруженных при раскопках Кампыр-тепе — эталонного памятника античной эпохи (от Антиоха I до Хувишки) в северной Бактрии.

Ю. А. Заднепровский, рассматривая варианты отождествления Оша с одним из даваньских городищ Ферганы, пришел к выводу, что вопрос остается открытым.

И. В. Пьянков доказывает, что авестийское “Семиречье” охватывало бассейн Аму-Дарьи выше Термеза и лишь позже стало считаться областью в Индии.

Ю. А. Виноградов публикует предметы искусства, обнаруженные при раскопках городища Кана (I—VI вв. н. э.) в Хадрамауте, оценивая соотношение местных и античных мотивов в доисламской йеменской традиции.

К. М. Байпаков, Н. М. Зиняков и Т. В. Савельева сообщают об открытии изделий из булатной (тигельной) стали на средневековом городище Талгар в районе Алматы.

Б. Б. Овчинникова, основываясь на типологии разнообразных категорий вещей, разделяет тюркские древности саяно-алтайского ареала на три хронологические группы, соответствующие тюркскому, уйгурскому и кыргызскому (древнехакасскому) этапам.

А. А. Раимкулов сообщает об исследовании полуподземного христианского храма на территории Южного Согда. Храм прекратил функционировать в начале VII в.

В. Б. Зернов сводит вместе сделанные им ранее архитектурные реконструкции для памятников юга Туркменистана и Узбекистана от неолита до парфянского и кушанского времени. Некоторые из них более, другие менее удачны. Сомнения, например, вызывает реконструкция энеолитического “святилища” на Илгынлы-депе.

В сборник включены также две теоретические статьи. Автор этих строк рассматривает взгляды В. М. Массона на исторический процесс в свете смены концепций в социальной антропологии.

Ж.-К. Гарден анализирует познавательные процессы в археологии, и полагает, что формально-логический подход не может вытеснить интуитивный. Они попеременно приходят друг другу на смену в качестве преобладающих, скрываясь за все новыми декларируемыми парадигмами.

Завершает сборник статья В. Д. и С. В. Белецких, в которой анализируются “плюсы” и “минусы” новостроечных раскопок средневековых городов России.

д. и. н. Ю. Е. Березкин

РЫЦАРЬ НАУКИ

В мае 1999 г. исполняется 70 лет крупнейшему археологу, члену Академии наук Туркменистана Вадиму Михайловичу МАССОНУ.

В. М. Массон родился в 1929 году в Самарканде. В 1951 году окончил Ташкентский госуниверситет по специальности археология. Еще студентом он участвовал в раскопках крепости Старая Ниса. В далеком 1946 году, когда Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция Академии наук Туркменистана проводила раскопки нисийских храмов под руководством отца Вадима Михайловича — Михаила Евгеньевича Массона, молодой археолог был непосредственным участником и свидетелем сенсационных находок открытия парадного комплекса парфянского времени. Среди многочисленных находок, обнаруженных в царских апартаментах, были и знаменитые ритоны, украшающие теперь залы Национального музея Туркменистана. Практически вся жизнь ученого тесно связана с изучением древней истории Туркменистана.

Начиная с 1951 года В. М. Массон проводит полевые археологические изыскания на территории нашей страны. За прошедшие десятилетия им были исследованы десятки археологических памятников в различных уголках страны, которые относятся к различным историческим периодам. Можно перечислить только основные археологические объекты, которые ученый раскапывал по несколько полевых сезонов: памятники архаического Дахистана, Джейтун, Кара-Депе, памятники Геокюрского оазиса, Яз-Депе, Алтын-Депе, Ыылгынлы-Депе и многие другие. В последние годы Вадим Михайлович проводит раскопки древнего поселения эпохи меди — Ыылгынлы-Депе. Все раскопанные памятники были глубоко исследованы ученым, сведения о них опубликованы в различных изданиях и получили мировую известность. Они являются своеобразными справочниками для определенной эпохи среди памятников Центральной Азии. Высокий профессионализм, оригинальное научное направление, которым обладает археолог-востоковед В. М. Массон, ставят его на степень всеобщего признания как у нас в стране, так и на широком пространстве СНГ и далеко за рубежом.

Среди исследований В. М. Массона особенно большое значение приобрели проведенные в 70-х и 80-х годах раскопки крупного поселения эпохи бронзы Алтын-депе, находящегося вблизи селения Меана Каахкинского этрапа Туркменистана. Систематические раскопки Алтын-депе, которые велись им около двадцати лет, завершились грандиозными результатами.

Удалось выявить отдельные кварталы, заселенные людьми бронзового века: ремесленников-гончаров, металлургов, квартал знати, культовый комплекс. Археологи раскопали засыпанные землей тысячелетий ворота в Алтын-депе и вскрыли на одном из участков памятника башнеобразную ступенчатую пирамиду, близко напоминающую в месопотамских городах-государствах башни-зиккураты. Из предметов материальной культуры на Алтын-депе было обнаружено большое количество произведений искусств, терракотовые статуэтки, каменные орудия, металл. Суммировав всю информацию, полученную в результате раскопок — наличие социальной дифференциации, учитывая большую площадь поселения (около 26 гектаров), наличие развитых земледелия, скотоводства, ремесленного производства, подсчитав количество жителей, которое достигало пяти тысяч человек, наличие обособившегося духовенства, обнаружение пиктографических знаков — первых признаков появления письменности — В. М. Массон научно доказал, что 4 тысячи лет назад на территории Туркменистана возникла и существовала раннегородская цивилизация, которая являлась ровесницей великих цивилизаций Месопотамии и Индии.

Все эти положения изложены В. М. Массоном в книге “Алтын-депе”, которая опубликована в 1981 году в Ленинграде с грифом Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Издание книги о цивилизации Алтын-депе явилось неоспоримым свидетельством обнаружения древнейшей цивилизации древневосточного типа на территории СНГ. Теперь бесспорно, что цивилизация Алтын-депе примерно на тысячу лет старше цивилизации Урарту, ранее обнаруженной на Кавказе. Материалы Алтын-депе прочно заняли свое место в справочных и учебных изданиях по древней истории, например, в “Истории Древнего Востока”, допущенной в качестве учебника для студентов университетов.

В 1988 году монография “Алтын-депе” была издана на английском языке в издательстве Пенсильванского университета в Филадельфии (США). В предисловии к этой книге, написанном известными американскими археологами Грегори Поселлом и Робертом Брейдвудом, прямо сказано, что “издание материалов Алтын-депе является величайшим открытием в восточной археологии XX века”.

В эти же годы В. М. Массон опубликовал книгу “Экономика и социальный строй древних обществ”, где, базируясь в основном на материалах из Алтын-депе, изложил некоторые теоретические концепции реконструкции общественно-экономических отношений на пути к цивилизации.

Характерной особенностью деятельности В. М. Массона как крупного археолога-практика является оперативная и широкая публикация полученных при раскопках материалов. Всего перу В. М. Массона принадлежит несколько сотен работ в области археологии, нумизматики, всеобщей истории и т. п. В их число входит более десятка крупных монографических исследований, таких как “Древнеземледельческая культура Маргианы”, в которой он прозорливо предвосхитил открытие Страны Маргуш; “Средняя Азия и Древний Восток”, где еще в 1964 г. включил регион Туркменистана как часть большой центральноазиатской общности древневосточных культур; “Поселение Джейтун”, в которой убедительно доказано, что Туркменистан является одним из древнейших центров производящего хозяйства, где возникли оседлый образ жизни людей, земледелие и скотоводство в далеком VI тысячелетии до н. э.; в работе “Кара-депе у Артыка” В. М. Массон широко осветил уровень поступательного развития общества в медном веке (IV тысячелетие до н. э.) на пороге цивилизации, а также тонко определил древние корни туркменского ковроткачества, орнамент которого берет свое начало из расписной керамики, произведенной и украшенной мастерами шесть тысяч лет назад. Перу В. М. Массона принадлежит по сей день актуальная монография “История Афганистана” (в двух томах, в соавторстве с В. А. Ромодины, в которой первый том, посвященный древнему периоду, написан В. М. Массоном). Много книг В. М. Массона посвящено популяризации древностей нашего края, таких как “Страна тысячи городов”, “Каракумы — заря цивилизации”, “Старая Ниса — сокровища парфянских царей” и другие.

Многие монографии В. М. Массона изданы в Венгрии, Англии, Японии, Германии и США. К нашей общей гордости, все они посвящены древнейшей истории Туркменистана. Помимо собственных монографий, В. М. Массон является инициатором и редактором многих сводных публикаций, а также организатором серийных изданий. Публикация археологических материалов, добытых в Туркменистане, способствует признанию большого значения туркменской истории в мировом историческом процессе. В настоящее время В. М. Массон является активным участником разрабатываемой новой редакции “Истории Туркменистана”.

В. М. Массон на протяжении многих лет являлся научным руководителем по изучению отдельных направлений.

Наряду с научно-исследовательской деятельностью В. М. Массон проводит большую педагогическую работу, регулярно читая лекции по археологии и востоковедению на исторических факультетах Ашхабада, Санкт-Петербурга и других городов.

В. М. Массон живет и работает в Санкт-Петербурге. Уже много лет он является директором Института истории материальной культуры РАН (ранее ЛО Института археологии) и заведующим отделом Средней Азии и Кавказа. Практически не было года, чтобы В. М. Массон не посетил Туркменистан. Под руководством В. М. Массона проходило обучение значительного числа стажеров и аспирантов из Туркменистана. Ученики В. М. Массона, успешно защитившие кандидатские и докторские диссертации, работают в научных и учебных заведениях Ашхабада.

Неутомимый рыцарь науки Вадим Михайлович Массон является почетным членом многих европейских академий и университетов. Он академик Туркменистана и сейчас полон творческих сил. Мы не сомневаемся, что им будут сделаны еще новые научные открытия на богатой древними памятниками туркменской земле.

Какамурад Курбансохатов.

Заведующий отделом археологии Института истории
при Кабинете Министров Туркменистана,
кандидат исторических наук.

Печатается по: "Нейтральный Туркменистан", 17 мая 1999 г.

В. М. МАССОН. БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Массон Вадим Михайлович родился 3 мая 1929 года в Самарканде — историк и археолог, изучающий древние культуры и цивилизации, главным образом Востока. По отзыву видного отечественного ученого И. М. Дьяконова, В. М. Массон является одним из наиболее выдающихся историков и археологов России. В. М. Массон в 1950 году окончил Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте, в 1954 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1963 году — диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук. С 1950 года работает в Санкт-Петербурге в Институте истории материальной культуры РАН, с 1968 года в качестве заведующего отделом Центральной Азии и Кавказа, в 1981—1998 гг. возглавлял это учреждение.

Проводил экспедиционные исследования в Южном Туркменистане и на юге Узбекистана, где под его руководством были раскопаны эталонные памятники восточной археологии — неолитическое поселение Джейтун, раннеземледельческое поселение Кара-депе, город бронзового века Алтын-депе, центр Маргианы эпохи раннего железного века Яздепе и в Северной Бактрии кушанский город Зар-тепе. По результатам этих раскопок изданы итоговые книги и сводные публикации (“Средняя Азия и Древний Восток”, Л., 1964; “Поселение Джейтун”, Л., 1971; “Алтын-депе”, Л., 1981; американское издание — 1988). Тематике всемирной истории посвящена книга “Первые цивилизации” (Л., 1981), истории Востока — труд “История Афганистана” (в соавторстве с В. А. Ромодины, тт. I—II, М., 1964—1965). Значительное внимание уделяет изучению проблем социогенеза и культурогенеза (“Экономика и социальный строй древних обществ”, Л., 1976; “Исторические реконструкции в археологии”, Фрунзе, 1990, Самара, 1996). Важным развитием методологических проблем исторической науки постсоветского периода является предложенная В. М. Массоном концепция о ритмах культурогенеза в противоположность формационному эволюционизму и разработка концепции ранние комплексных обществ на материалах Восточной Европы и Кавказа (сборники: “Древние общества Кавказа в эпоху палеометалла”, СПб., 1997; “Древние общества юга Восточной Европы в эпоху палеометалла”, СПб., 2000). В. М. Массон является одним из авторов региональных историй (“История Туркменской ССР”, Ашхабад, 1957; “История Киргизской ССР”, Фрунзе, 1984)

В.М.Массон ведет активную работу как научный организатор. В 70—80-х годах, будучи председателем Научного Совета по археологии Средней Азии и Казахстана, он проводил ряд проблемно-тематических региональных совещаний, во второй половине 80-х годов — 90-х годах

он организовал и руководил осуществлением программ международного научного сотрудничества по археологии и культурогенезу с Англией, США, Данией, Польшей. В 1998—2000 гг. был научным координатором кыргызстанской программы “Ош-3000”. В.М.Массон является основателем и первым редактором серийных изданий и ежегодников (“Успехи среднеазиатской археологии” вып. I—IV, Л., 1972—1979; “Каракумские древности”, вып. I—VIII, Ашхабад, 1968—1979; “Археологические вести”, выш. I—VI, СПб, 1992—1999). В 1991 году В. М. Массон организовал восстановление Ленинградского отделения института археологии как самостоятельного учреждения с возвращением прежнего наименования — Институт истории материальной культуры. С 90-х годов активно занимается вопросами сохранения и упрочения научного пространства СНГ и организацией изучения блоков культурного наследия древних и средневековых народов этого макрорегиона.

В. М. Массон ведет активную преподавательскую деятельность, читая курсы и циклы лекций в университетах Москвы, Ленинграда-Санкт-Петербурга, в столицах всех республик СНГ, в Англии, Швеции, Норвегии, Польши, Чехословакии, Вьетнама и Тайваня. Он является одним из авторов вузовского учебника “История Древнего Востока”, вышедшего в 1999 году третьим изданием, и учебных пособий для высших учебных заведений (“Зарубежная археология”, М., 1986; “Первые цивилизации и всемирная история”, Уфа, 1999).

Среди учеников В. М. Массона 38 кандидатов наук и 9 докторов наук. Он автор около 550 публикаций, в том числе, 29 монографий, изданных в России, США, Японии, Англии, Германии, Венгрии и других странах.

В. М. Массон — член и почетный член многих научных учреждений — Российской академии естественных наук, Российской народной Академии, Академии наук Туркменистана, Королевской Датской Академии наук и литературы, Королевского Общества древностей Лондона, Германского археологического института. Института Ближнего и Дальнего Востока (Рим), почетным доктор, Института археологии (Румыния).

Вадим Михайлович Массон. Библиографический указатель. 1999. — Институт истории материальной культуры РАН. СПб, 43 с.

УЧЕНИКИ В. М. МАССОНА — КАНДИДАТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

1. Щетенко Анатолий Яковлевич, 1965, ЛОИА, Ленинград.
2. Губаев Аннагельды Губаевич, 1967, ЛОИА, Ленинград.
3. Сафронов Владимир Александрович, 1970, ИА, Москва.
4. Пилипко Виктор Николаевич, 1971, ЛОИА, Ленинград.
5. Масимов Иминжан Сулеманович, 1973, ЛОИА, Ленинград.
6. Берёзкин Юрий Евгеньевич, 1975, ЛОИЭ, Ленинград.
7. Кадыров Эгамкул Базарович, 1975, ИИ АНУзб., Ташкент.
8. Пидаев Шакирджон Расульевич, 1975, ЛОИА, Ленинград.
9. Алёшкин Вадим Андреевич, 1977, ИА, Москва.
10. Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич, 1978, ЛОИА, Ленинград.
11. Хлопина Людмила Ивановна, 1978, ЛОИА, Ленинград.
12. Сабиров Курбан, 1979, МГУ, Москва.
13. Кирчо Любовь Борисовна, 1980, ЛОИА, Ленинград.
14. Курбансохатов Какамурад Курбандурдыевич, 1983, ЛОИА, Ленинград.
15. Трифонов Виктор Анатольевич, 1983, ЛОИА, Ленинград.
16. Аннаев Тухташ Джураевич, 1984, ЛОИА, Ленинград.
17. Симонян Акоп Ервандович, 1984, ЛОИА, Ленинград.
18. Полосьмак Наталья Викторовна, 1985, ЛОИА, Ленинград.
19. Мурадова Эджигуль Атаевна, 1986, ЛОИА, Ленинград.
20. Вострецов Юрий Евгеньевич, 1987, ЛОИА, Ленинград.
21. Никоноров Валерий Павлович, 1987, ЛОИА, Ленинград.
22. Ташбаева Кадыча Искандеровна, 1987, ЛОИА, Ленинград.
23. Курочкин Геннадий Николаевич, 1988, ЛОИА, Ленинград.
24. Абдукаримохунова Райхонгул, 1989, КемГУ, Кемерово.
25. Резепкин Алексей Дмитриевич, 1989, ЛОИА, Ленинград.
26. Савва Евгений Николаевич, 1989, ЛОИА, Ленинград.
27. Савельева Тамара Владимировна, 1989, ЛОИА, Ленинград.
28. Удеумурадов Берды Нефесович, 1989, ЛОИА, Ленинград.
29. Кияшко Алексей Владимирович, 1990, ЛОИА, Ленинград.
30. Манзура Игорь Васильевич, 1990, ЛОИА, Ленинград.
31. Смагулов Ербулат Акижанович, 1990, ИА, Самарканд.
32. Логинов Сергей Дмитриевич, 1991, ЛОИА, Ленинград.
33. Фам Дык Мань, 1991, ЛОИА, Ленинград.
34. Хан Николай Александрович, 1991, ЛОИА, Ленинград.
35. Аманбаева Бакыт Элтындиевна, 1993, ИИМК, Санкт-Петербург.
36. Фаузи Мустафа, 1993, ИИМК, Санкт-Петербург.
37. Фам Куанг Шон, 1995, ИИМК, Санкт-Петербург.
38. Чжан Со Хо, 1999, ИИМК, Санкт-Петербург.

**УЧЕНИКИ В. М. МАССОНА —
ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК**

1. Губаев Аннагельды Губаевич, 1982, МГУ, Москва.
2. Байпаков Карл Молдахметович, 1985, ИА, Москва.
3. Пилипко Виктор Николаевич, 1989, ИА, Москва.
4. Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич, 1989, МГУ, Москва.
5. Берёзкин Юрий Евгеньевич, 1990, ИЭ, Москва.
6. Исаков Абдулло Исакович, 1991, ИИМК, Санкт-Петербург.
7. Полосьмак Наталья Викторовна, 1995, ИАЭ, Новосибирск.
8. Жушиховская Ирина Сергеевна, 1996, ИИМК, Санкт-Петербург.
9. Савельева Тамара Владимировна, 1999, ИА, Алматы.

TRADITION AND INNOVATION IN MODERN ARCHAEOLOGY

The title of this paper should be read in a playful spirit. There is nothing very serious in an attempt to bring out the coexistence of traditional and innovative forces in historical processes, nor much originality in the analyses that substantiate that claim: the game is simply too easy. As for the modernity of archaeology, it merely refers to a time property of the thoughts published in the archaeological literature of the last fifty years; I do not take side in the matter of their place in the pre- or post- (post-modern) sequence according to anyone's judgement. Why then such a non-committal title? The reason lies in the works and life of Professor V. M. Masson, to whom this volume is dedicated. His impressive list of publications extends over the whole second half of the present century; it includes a book that explicitly refers to the traditions of Russian archaeology and their part in its achievements, to this day (Masson 1996b). At the same time, it shows a lasting concern for innovations in archaeological practice and theory. The growing reliance on archaeometrical techniques is a case in point, despite financial limitations that are all too familiar in archaeology everywhere. So is the place given to theoretical explorations that had been hitherto somewhat neglected. The book published by V. M. Masson ten years ago on "Historical Reconstructions in Archaeology" (1990) is a distinguished manifestation of that trend. It benefited from the findings of several seminars devoted to specific classes of such constructs (e.g. domestic production, urbanisation, etc.), on the basis of actual fieldwork. This intermingling of concrete and abstract research is a noteworthy feature of Prof. Masson's activities, in the same spirit as the conjunction of traditional and innovative practices underlined above. The purpose of the present paper is to bring forward a few arguments in favour of that approach in archaeology, away from the successive revolutions reported in the Western literature on the subject since 1950.

1. Our knowledge of the history of Central Asia has increased tremendously during the same period. We owe that progress to a number of major archaeological programs conducted by scholars from Russia and Central Asia, as well as from other countries interested in the past of Afghanistan. Many of those scholars had been trained in pre-war years; they probably saw little novelty in the kind of archaeology reactivated in Central Asia after 1945. Excavations and surveys took place on a larger scale but along the same lines as in previous decades (Staviskij 1996: 46). The more urgent task was to establish or refine the time co-ordinates of sets of artefacts and monuments re-

garded as distinctive of specific cultures in various parts of Central Asia, from the Caspian sea to the Pamir mountains. Typo-chronologies were devised for the purpose, following the traditional ways (analogies, associations, classifications). Most of them were of course subject to revision as new findings accumulated — a “traditional” requirement of science if there ever was one. As for the historical constructs built upon this continually expanding data base, they naturally displayed the same plasticity, amplified by their authors’ allegiance to various creeds that guided the interpretation process — again a familiar circumstance in traditional archaeology, but just as present in the “new” archaeology of the ‘50^s or in the “post-processual” archaeology of the ‘80^s. To sum up, the content of present and future books on the prehistory and history of Central Asia is bound to rest for the most part on facts and theories produced by archaeologists who have worked within the intellectual framework of traditional archaeology, regardless of their interests in new ways of reconstructing the past, under any angle (technical, methodological, philosophical). This assertion, incidentally, applies to my own case: limited as it is, my contribution to the archaeology of Central Asia is definitely “traditional”, although my Russian colleagues would probably expect it to bear the mark of my meddling with theoretical matters of a more “modern” sort. This form of split personality calls for some comments; I submit them to Professor Masson’s 70 years wisdom.

2. In the second edition of his book on historical constructs in archaeology, V. M. Masson has added a diagram (1996a: 14) that illustrates his vision of the building process from field observations to their interpretation in “cultural” or “sociological” terms (see fig.1).

I propose to examine a few segments of that flow-chart in order to bring out the reasons of the split just mentioned, at each stage of the process.

(A) The right branch of the diagram concerns the archaeological part of the process, from the collecting of material remains to their arrangement in classes or types, chronologically ordered. Thousands of pages have been written on the type concept and its function in archaeological research. The subject of classification and seriation has received as much attention in connection with the design of formal methods recommended as an alternative to the traditional approach by rule of thumb (intuitive, impressionistic, subjective, etc.). The underlying postulate is that the classes and chronologies grounded on mathematics or computers gain an “objective” status that extends to the historical constructs of which they form a part. This assumption, however, is ill-founded. The concept of objectivity in modern science is inseparable from empirical considerations that are most of the time left out in formal studies. A well-formed arrangement, in mathematical terms, may fail to support any tenable interpretation; conversely, an intuitive typo-chronology is justified as

long as it fits with observed distributions, notwithstanding the formal weakness of its roots. This banal reminder is not meant to discredit numerical taxonomy and its heuristic strategy; but it does vindicate the rule of thumb approach, provided we accept to submit its findings to constant revisions in the light of new data. An additional argument to the same effect is the amount of time and money that an exclusively formal handling of the comparative method would imply, when building typo-chronologies. Many experts in computational techniques have been honest enough to stress that the human mind is a machine that can still grace us with remarkable gains in productivity.

(B) The right branch in fig.1 is rooted in a block “Critical examination of Sources” that calls to mind a somewhat similar situation, as archaeologists have to assess the potential value of given sets of archaeological remains for building up sound historical constructs. A number of questions arise then, centring on the matter of Selection: which categories of artefacts, ecofacts and monuments should we observe? How many of them? Which kinds of distinctive features should we take into consideration? To which length or depth should we go to capture them, using archaeometrical techniques as an extension of the eye? Etc. The traditional response to such questions consists in evading them. Choices are made on each level, necessarily, but without much or any discussion of the underlying rationale. Yet, there exist modern approaches of the subject, using such tools as decision theory, economic models, sampling techniques, etc. Let us consider that last case, for instance, and raise the following question: how can we explain the contrast between the sizeable literature on sampling in archaeology, as a theoretical and methodological issue, and the relative scarcity of its applications in the field? Or, to put it more sharply, how is it that most historical constructs in archaeology rest upon selections of data that are not the product of sampling procedures, yet regarded by many as a necessary component of a scientific archaeology? An easy answer consists in calling upon arguments of time and money, or ignorance: sampling techniques are not altogether familiar, while our limited resources do not always permit that part of them be spent on mapping and counting operations that would set us back in our primary mission. But this not the whole story. There are good reasons to question the scientificity claimed by the advocates of sampling in archaeology. One of them is that we generally know precious little about the representativeness of any set of observable remains with respect to the parent population, as understood in statistics. The inferences related to such sets are therefore a priori questionable, for that reason alone; and the problem obviously remains the same when the inferential game is played on a reduced data base, resulting from the applica-

tion of sampling techniques to those sets. Against that argument, one might object that it ruins any hope of producing reliable accounts of past societies

HISTORICO-CULTURAL INTERPRETATION

ARCHAEOLOGICAL INTERPRETATION

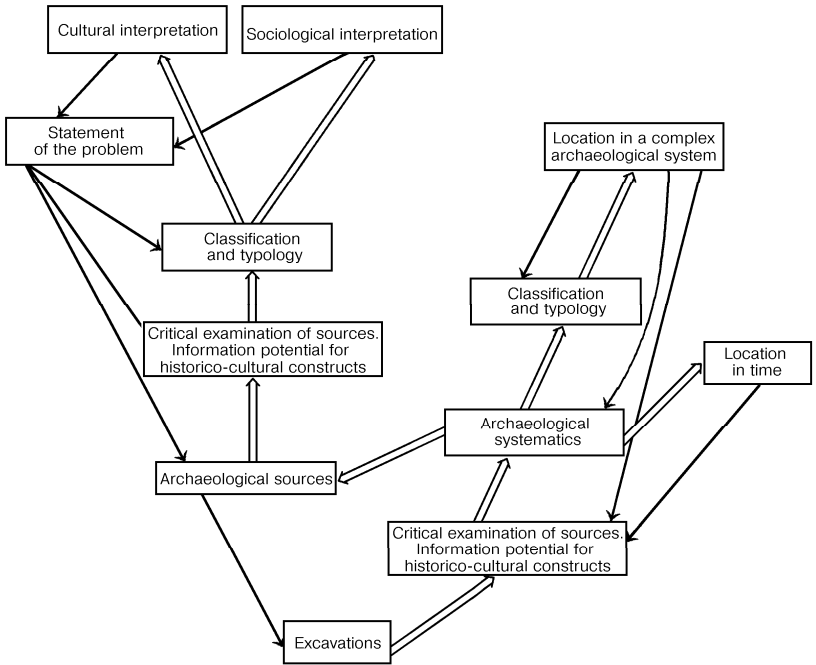


Fig 1. Research procedure for the study of archaeological material (translated from Russian: Masson 1996a: 14, fig. 1).

on the basis of archaeological remains. This is not so if we care to keep in mind, once more, the process of empirical validation. We must most of the times do as if the available archaeological evidence in a given context allowed us to build up hypothetical constructs, subject to revision, despite the obvious weakness of the data base from a statistical viewpoint. A standing example is the behaviour of our colleagues in paleontology, quick to propose a new picture of the hominisation process whenever a few more fossils are found anywhere in the world, ranging over millions of years. Sampling concerns are obviously untimely in this case; the argument behind this well-advised opinion justifies the behaviour of traditional archaeology in matters of sampling and selection, whatever modern critiques may claim against it.

(C) Turning to the left branch of V. M. Masson's diagram (fig.1), we come to the higher segments of Interpretation, "cultural" and "sociological". They are rightly presented as a follow-up of Classification, it being understood, I trust, that the establishment of analogies is a form of classification. The inferences derived from the comparative method are indeed nothing but interpretations of classes in this broad sense. The diagram also brings out the interdependence of the two blocks, Interpretation and Classification, by means of feedback arrows going through the Problem to which the construct is addressed. Let us now go back to the subject of this paper: where does the contrast lie between traditional and innovative ways of interpreting archaeological remains? I can think of two different answers, depending on whether we consider the substance of our interpretations or their formal architecture. By "substance", I mean the broad, in fact open-ended range of viewpoints from which past societies and their evolution are envisaged by historians and archaeologists alike. The word "paradigm" has often been used in the past decades to designate this variety of perspectives, e. g. technological, symbolic, ecological, feminist, demographical, economic, cognitive, etc. A feature of the successive revolutions proclaimed by Western archaeologists in the last fifty years was the promotion of particular paradigms of that sort, regarded as innovative in contrast with former visions of past cultures. An honest look at the products of traditional archaeology embracing all its branches (classical studies, egyptology, oriental archaeology, etc.) over a sufficiently long period (e. g. the 20th century) is enough to bear out that most of the "new" viewpoints had been considered before, in publications whose difference with their modern rivals turns out on close examination to be more rhetorical than substantial.

Let us now turn to the formal aspect of interpretative constructs, old and new. A careful analysis of the archaeological literature suggests that they are amenable to a reformulation as a kind of calculus, in the computational sense. A large number of propositions are stated as primary data (descriptions, analogies, reference knowledge), without explicit antecedents in the text, and an argument is built upon them, made up of successive rewrite steps "IF p THEN q " leading to the conclusions or hypotheses that the author wishes to present as a contribution to the knowledge of past societies (Gardin 1983: 166—207). Mathematical operations may occur at various stages of the process, to ground the selection of objects (sampling), the handling of analogies (classification), the ranking of sites (spatial analysis), etc. In the same way, laboratory measurements are currently part of our constructs, as a source of additional data. The development of such tools is certainly a welcome innovation in the archaeology of the present century; yet, I would not take it as a sufficient criterion to dismiss as traditional, in a negative sense, historical con-

structs that do not resort to them. In other words, the positive value of an interpretation, to me, does not lie in the novelty of its tools or paradigms; it is first and foremost a function of its goodness of fit (i. e. the correspondence with empirical data), irrespective of the label that anyone may wish to stick to it in ideological or methodological terms. Does this mean that no changes are perceptible in the evolution of archaeology? I shall conclude with a few words on that question.

3. The pre-eminence of empirical validation has been by and large the driving force in traditional archaeology, over and above the sociological factors that had an occasional influence on its interests and ways of thought. Admittedly, not much attention was being paid meanwhile to the mechanisms and foundations of our reasoning processes. The tacit assumption was that “natural” language and “natural” logic took care of the matter — a position that was recently made explicit by the French sociologist J.-C. Passeron in his defence of “le raisonnement naturel” in the human sciences (1991: 357—395). However, a twofold pendulum movement is taking place in archaeology today which is worth noting, relevant as it is to the present discussion.

(A) The requirement of empirical validation has gone through an amazing cycle in the archaeological literature of the post-war period. Acknowledged by the processual school of the ‘50s, it was downgraded by post-processual archaeologists of the ‘80s (Hodder 1986: 93—94), then reinstated lately by two leading scholars opposed to the latter. Colin Renfrew now recalls that “validation rests not upon authority but on testability” (1994a), while James Bell states bluntly that “the degree to which a theory is testable is the most important single indication of its potential to contribute to the advance of archaeological theory” (1994: 97). A return to traditional archaeology? C. Renfrew seems to prefer the more glamorous auspices of “cognitive archaeology”, the latest newcomer in our lineage; I would not quibble over a matter of name.

(B) Another swing of the pendulum is gaining strength in the field of theoretical archaeology. The approach which I once presented in the book that bears this title (1983) gave rise to disparaging reviews in the Western literature. The formal analysis of archaeological constructs was regarded as a vain exercise, of no avail in matters of interpretation and, worse still, an obstacle to the production of ever more imaginative ways of reading the past. A more cautious view emerged, however, as similar concerns became manifest in the broader universe of the humanities (Ennals & Gardin 1990). It was eventually found possible to bring together anthropologists of different creeds from both sides of the Atlantic, who were invited to discuss their respective positions regarding interpretative processes (Gardin & Peebles 1992). The expected outcome of this ongoing debate, in the long run, is a move away

from the loose inferential practices found in both traditional and post-modern constructs, towards more carefully controlled interpretation relying on ethnoarchaeological research (Gallay 1986) — a course again supported by Colin Renfrew in the name of his cognitive archaeology to come (1994: 5). But do we need this reference to yet another school apropos of a trend that has been with us for generations in the humanities as in the natural sciences? I have taken elsewhere a different stand, illustrated by an example of the kind of evolution I have in mind, from traditional to modern discourse (1998a: 86—108). By a happy circumstance, this example is taken from a book that falls within Professor Masson's domain, the archaeology of Central Asia (Gardin 1998b); he may thus be able to criticise it on both formal and empirical grounds, taking the most of his twofold capacities, for my benefit.

- Bell J.* 1994. *Reconstructing Prehistory. Scientific Method in Archaeology.* Temple University Press.
- Ennals R., Gardin J.-C. (eds.)*. 1990. *Interpretation in the Humanities: Perspectives from Artificial Intelligence.* The British Library.
- Gallay A.* 1986. *L'archéologie demain.* Belfond, Paris
- Gardin J.-C.* 1983. *Teoreticheskaja Arkhaeologija.* — Moscow: Progress. Translated from: *Une archéologie théorique.* 1979. — Paris: Hachette. French adaptation of the original edition: *Archaeological Constructs, an Aspect of Theoretical Archaeology.* 1980. Cambridge University Press.
- 1998a. Cognitive issues and problems of publication in archaeology // *S. Tabaczynski (ed.) Theory and Practice of Archaeological Research 3: Dialogue with the Data: the Archaeology of Complex Societies and its Context in the '90s:* 65—113. Warsaw.
- 1998b. *Prospections archéologiques en Bactriane orientale (1974—1978) 3: Description des sites et notes de synthèse.* — Paris: Recherche sur les Civilisations.
- Gardin J.-C., Peebles C. S. (eds.)*. 1992. *Representations in Archaeology.* — Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press.
- Hodder I.* 1986. *Reading the Past. Current Approaches to Interpretation in Archaeology.* Cambridge University Press.
- Masson V. M.* 1990. *Istoricheskie rekonstrukcii v arkheologii.* — Frunze: Ilim..
- 1996a Same title, 2nd edition, augmented. Samara Institute of History and Archaeology.
- Masson V. M. (ed.)*. 1996b. *Tradicii Rossijskoj arkheologii.* — SPb: IIMK RAN.
- Passeron J.-C.* 1991. *Le raisonnement sociologique. L'espace non-poppérien du raisonnement naturel.* — Paris: Nathan.
- Staviskij B. Ja.* 1996. *Osnovnye etapy arkheologicheskogo izuchenija Srednej Azii* // *Masson V. M. (ed.)* 1996b: 43—47.

В. М. МАССОН И СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

I

Ранний и яркий взлет профессиональной деятельности В. М. Массона, надолго обеспечивший ему выдающееся положение в научном сообществе, пришелся на годы хрущевской оттепели, когда гуманитарная наука в СССР освободилась из-под наиболее гнетущих форм идеологического контроля и при этом имела устойчивое финансирование, доставшееся гуманитариям заодно с физиками и ракетостроителями. Если говорить о направлениях, объединяемых понятием “социальной антропологии”, то особо заметный след в 60-х годах оставили “московско-тартусская” школа семиотики культуры и “нео-эволюционистское” направление в изучении ранних цивилизаций. Имя В. М. Массона связано прежде всего с этим последним.

В 30—40-х годах в структуре мировой социальной антропологии произошли важные изменения, обусловленные расширением ее фактологической базы и появлением новых теоретических установок. Со времен Моргана, Тайлора и Дюркгейма эта наука идентифицировала себя главным образом с этнографией/этнологией/социологией. В обобщающие труды археологические материалы включались вперемешку с этнографическими и самостоятельного значения не имели (напр., Voas 1928; Lowie 1934). Археология развивалась, со своей стороны, в рамках общей эволюционистской концепции (каменный, бронзовый, железный века). Реакцией на антиматериализм и антиэволюционизм социо-антропологических школ, господствовавших в 20-х годах (Боас, Лоуи, Кребер, Радин, Мид, Малиновский, Редклиф-Браун, Мосс и др.) стала провозглашенная Лесли Уайтом “стратегия культурного материализма, выраженная в энергетических терминах” (Harris 1968: 636).

Главный тезис Уайта состоял в том, что “при прочих равных условиях культура развивается в той мере, в какой увеличивается количество энергии, задействованной на душу населения, либо растет эффективность использования этой энергии”, и что культура есть прежде всего механизм задействования и использования энергии для производства работы и лишь во вторую очередь — для регулирования поведения, прямо не связанного со средствами существования, нападением и обороной (White 1943: 368—369; 1949: 141). Однако антропология Лесли Уайта была заслуженно названа “парадоксальной” (Barrett 1989), ибо он оказался удивительным образом неспособен разглядеть ту сферу иссле-

дования, где его идеи могли бы найти реальное применение. Приводимые Уайтом примеры всегда бывали взяты из этнографии, и даже вышедший в 1960 г. сборник в честь Уайта оказался посвящен исключительно социолого-этнологической проблематике (Dole, Carneiro 1960). Его авторы и сами чувствовали, что в рассматриваемом этнографии временном масштабе энергетический подход к культуре неадекватен. Занимаясь полевой этнографией среди индейцев пуэбло, Уайт оставался в рамках школы Боаса. Археологию же Уайт знал слабо и единственным заметным рубежом эволюции считал появление земледелия и скотоводства.

Современником Л. Уайта был Г. Чайлд, также старавшийся вернуть в социальную антропологию материалистические и эволюционистские установки. Осознание Г. Чайлдом неолитической и городской революций как решающих рубежей в развитии человечества приходится на 40-е годы (Childe 1934; 1951). Его книга 1929 г. (Childe 1929) еще диффузианистская, с реверансами в сторону Эллиота Перри и Менгина, с признанием совершенной недостаточности наших знаний и проигрыванием фантастических, по нынешним меркам, сценариев появления земледелия и скотоводства. Несмотря на обращение к материалам археологии, мир автора этой книги есть во многом еще отголосок тех исторических миражей, которые заменяли отсутствие информации европейским (но, надо сказать, не американским) антропологам рубежа веков.

Как Уайт, так и Чайлд взяли свой материализм от Маркса, но в остальном между обоими исследователями мало общего. Уайт — гораздо более изощренный теоретик, знакомый со всеми социантропологическими концепциями своего времени и проявивший себя не только как апологет второго закона термодинамики, но и как проникательный исследователь механизма самокопирования и развития элементов культуры (White 1949). Чайлд — непровзойденный знаток европейских и ближневосточных археологических материалов, но в вопросах теории оставшийся на достаточно примитивном уровне. Основа для него — Морган, дальше по значимости идут Эллиот Смит, Малиновский, Фрэнк, и это все. Не следует также забывать, что Чайлд работал в дорадиougлеродную эру и не мог знать многое из того, что сейчас известно даже начитанным старшеклассникам (он считал, что в голоцене происходит аридизация, что и царские могилы Ура, и Хараппа относятся к концу IV тыс. до н. э., что скотоводство предшествует земледелию или по крайней мере одновременно ему, что появляются они в V тыс. до н. э., и т. п.). Однако при всем искаженном представлении Чайлда о хронологии и всей незамысловатости его схемы (неолитическая и городская революции как этапы переходов от дикости к варварству и от варварства к цивилизации) его идеи оказались для своего времени (50—60-е годы) и

своего региона (Ближний Восток) плодотворны примерно в той же мере, в какой для американской археологии 70-х годов оказались полезны идеи Уайта в сочетании со схемой политогенеза школы Стьюарда.

Чайлд придал новый смысл раскопкам доисторических памятников на Ближнем Востоке, но особенно повлиял на советских исследователей. Для них концепция двух доисторических революций стала вполне ортодоксальным развитием марксистской мысли. Следуя ей, можно было не только избежать конфликта с официальной идеологией, но и, что важнее, с тем материализмом и эволюционизмом, которые к 60-м годам определяли мировоззрение подавляющего большинства советских историков всех поколений. В то же время чайлдовская теория действительно была живой и недогматичной, передовым направлением научного поиска. Существенной оказалась и возможность подключить к ней идеи Н. И. Вавилова по поводу земледельческих очагов.

Все это — Чайлд, Вавилов, городская революция, земледельческие очаги — оказалось сконцентрировано в книге В. М. Массона (1964) и в его курсе, читавшемся в середине 60-х годов на кафедре археологии ЛГУ. Чтобы оценить произведенное впечатление, надо представить себе всю глубину контраста между тем сумеречным образом “первобытного” прошлого, который предлагали студентам остальные доступные им источники (один Косвен чего стоил), и нарисованной Массоном блистательной картиной восхождения человечества по ступеням прогресса от натуфа к хассуне и от убейда к уруку. Но едва ли не самым поразительным было то, что прогресс этот осуществлялся на территории не только Ирака, но и южного Туркменистана — законной и полноценной части как древневосточного культурного пространства, так и Союза ССР.

Раскопки В. М. Массона сперва на Джейтуне, а затем на Алтын-депе представляют собой редкий в гуманитарной науке пример успешного “лабораторного эксперимента”, когда сделанные на основе гипотезы предсказания подтверждаются опытом. Конечно, с позиций сегодняшнего дня и среднеазиатский земледельческий неолит, и города бронзового века в Иране и Туркменистане выглядят иначе, чем они виделись тридцать лет назад, однако для своего времени идеи Чайлда были интересны и плодотворны. Поддержав их, Массон сыграл чрезвычайно позитивную роль в истории науки о прошлом.

II

Социальная антропология в тех аспектах, которые могут заинтересовать археологов, развивалась по-преимуществу в Соединенных Штатах. Англичанин Чайлд составляет здесь исключение. О Уайте уже было сказано. Джулиан Стьюард, современник Уайта, споривший с ним по

второстепенным поводам, но в целом мысливший в тех же эволюционистско-материалистических категориях, с конца 30-х годов стал продвигаться по пути создания собственной эволюционной схемы. Полем для ее разработки была Южная Америка. Стюард писал о пяти сходных стадиях (от появления земледелия до циклических имперских завоеваний) в политическом и культурном развитии евразийских и американских центров ранних цивилизаций (Steward 1948; 1949). У советских гуманитариев 60—70-х годов подобный параллелизм (в немалой мере благодаря работам Массона) сомнений не вызывал, но не стоит забывать, что еще в 30-х годах он был вовсе не очевиден. Боас до самой своей смерти в 1943 г. отказывался его признавать (Harris 1968: 280—289).

Но хотя после Боаса принципиальное (на уровне уайтовского возрастания потока энергии) типологическое сходство эволюции культуры в Старом и Новом Свете стало действительно аксиомой, чайлдовские революции в Америке не прижились. Их здесь постигла судьба периодизации К. Ю. Томсена: называть строителей Тикаля и Теотиуакана людьми каменного века формально правильно, но нелепо. Городская революция оказалась не более универсальным понятием, чем энеолит. Разработанные на материалах определенных регионов, эти термины невозможно было сделать универсальными, не выхолостив их содержания. Так мы можем договориться называть городами определенные археологические объекты, появляющиеся в определенный период в Перу, в Египте, в Нигерии или на Миссисипи, но все эти объекты будут столь сильно отличаться как друг от друга, так и от городов южной Месопотамии, что единое для всех них определение окажется либо бессодержательным, либо неточным. В Перу в III—I тыс. до н. э. наблюдаются рост населения, усложнение социальных структур, усовершенствование технологии, но все это в очень отличных от Месопотамии в VI—IV тыс. до н. э. формах. Перуанским монументальным постройкам II тыс. до н. э. нет убейдских аналогий, а урукскую урбанизацию ни по масштабам, ни по ее социальному содержанию не с чем сопоставить в Центральных Андах. В Мезоамерике монументальную скульптуру ольмеков отделяет от первых оседлых деревень менее тысячи лет; урук от позднего натуфа — пять тысячелетий. Мутации в теосинте, приведшие к появлению кукурузы, произошли где-то в VII, если не в VIII тыс. до н. э., но лишь в III, скорее к его концу, этот злак стал достаточно урожаен, чтобы обеспечить оседлость. В Леванте оседлость предшествовала земледелию, а окультуривание ячменя означало не столько повышение урожайности, сколько развитие устойчивости к слишком быстрому осыпанию колосьев. Таких примеров немало.

Даже не обращаясь к Месопотамии, Стьюард видел разнообразие конкретных путей развития на примере одного лишь Нового Света и, работая над “Справочником по индейцам Южной Америки”, развивал концепцию многолинейной эволюции. Массон пришел к принципиально сходной идее в конце 60-х, когда стал писать о нескольких различных путях неолитической и городской революции. Подробно он изложил свои взгляды в книгах, посвященных Джейтуну и Алтын-депе (Массон 1971; 1981). Массон нигде не цитировал Стьюарда и, по-видимому, мало знал о нем, однако косвенное воздействие американской науки (через знакомых с соответствующими публикациями В. А. Башилова и В. И. Гуляева) все же не исключено.

Переход на позиции многолинейного эволюционизма является не столько уточнением теории Чайлда, сколько разрывом с ней, ибо универсальность и диффузионизм лежат в самой основе чайлдовской картины мира. Концепция многолинейной эволюции описывает реальность гораздо лучше, но одновременно приближает исследователя к тому логическому тупику, в который эволюционизм ведет изначально. Выделение отдельных путей эволюции приводит к нескончаемым спорам об их таксономии и числе, причем по мере накопления наших знаний, число это все растет. Выход за пределы переднеазиатского ареала ставит под сомнение и приложимость термина “революция” к процессам становления производящей экономики и цивилизации. Массон и Башилов попытались доказать, что в сравнении с длительностью палеолита, даже и затянувшийся переход к производящему хозяйству должен рассматриваться как скачок. Вопрос этот, что называется, философский: оперируя одними и теми же фактами, легко прийти к прямо противоположным выводам в зависимости от изначально принятых постулатов. Факты же очевидны: трансформация не только форм хозяйства, но и всех сторон жизни людей (размеры интегрированных коллективов, типы поселений и жилищ, разнообразие и характер типов предметов материальной культуры) были действительно революционны в докерамическом неолите Леванта и в позднем убейде — уруке, но в доколумбовой Америке прямых соответствий подобным переворотам подобрать невозможно.

В качестве “многолинейных эволюционистов” оба, Массон и Стьюард, противоположны Чайлду. В то же время Стьюард и его последователи шли по принципиально иному пути, чем как Чайлд, так и Массон. Опираясь преимущественно на этно-исторические и этнографические, а не на археологические источники, пользуясь америндейскими и океанийскими, а не переднеазиатскими данными, американские антропологи создали не социо-культурную, а социо-политическую периодизацию доистории, знаменитую band — tribe — chiefdom — state.

Как возникала и уточнялась эта периодизация, многократно описано (Carneiro 1981; Earle 1987; Service 1962; Spencer 1987). Главным в ней стала концепция вождества, “протогосударства-чифдом”. Сложившись в рамках школы Стьюарда, она окончательно сформилась в работах Салинса, Сервиса, немного позже Карнейро, еще позже Эрла и др. Вооруженные данной концепцией, Фленнери, Маркус, Дреннан, Сендерс, Уэбстер, Спенсер, Редмонд и другие американские археологи исследовали становление сложных обществ сперва в Мезоамерике, а затем и в других областях Нового Света, без лишнего шума похоронив ольмекскую и прочие “загадки” и публикуя вместо статуй и росписей выкладки с оценками плотности населения и урожайности кукурузы для разных периодов и долин. Что касается Уайта, то его идеи сделались настолько общепринятыми среди американских археологов, что на их автора почти перестали ссылаться.

После Чайлда концепция вождества явилась одним из важнейших достижений социальной антропологии. Однако проникновение этой американской концепции на европейскую почву натолкнулось на те же непреодолимые трудности, что и проникновение идей Чайлда в Новый Свет. Правда сопоставив океанийские вождества с данными по археологии доисторической Европы, К. Ренфрю сделал крупный шаг к достижению целостной картины истории, к интеграции ее ранее несопоставимых фрагментов (Renfrew 1973; 1974), тем более, что в чайлдовские революции Европа как раз не вписывалась. По крайней мере часть европейских археологов, прежде всего скандинавских, превратила вождество в работающий термин. Однако попытки Фленнери и Уилли переосмыслить по той же схеме ближневосточную доисторию оказались неубедительными и далее не повторялись (Flannery 1972: 401—403; Willey 1979: 129—130). Большое влияние оказали исследования Г. Джонсона, Г. Райта и Ф. Хоула в Сузиане, проведенные по методике, отработанной в Мексике (оценки демографической плотности и ступеней в иерархии поселений; Hole 1987; Johnson 1980; Wright, Johnson 1975; и др.), однако Р. М. Адамс, внесший наибольший вклад в изучение южномесопотамской урбанизации, от социополитических реконструкций воздержался (Adams 1981). В целом становилось все более ясно, что вождество потому и было открыто американскими, а не европейскими специалистами, что это понятие плохо применимо по крайней мере к части догосударственных обществ Старого Света.

Рядовой советский историк узнал о вождестве от Л. С. Васильева (1983) на примере Китая. А. М. Хазанов (1979: 161), хоть и был по времени первым, повлиял слабее. Будучи и материалистическими, и эволюционистскими, идеи Стьюарда, Салинса и Сервиса могли быть, казалось,

освоены марксизмом, а книга Васильева статья для советской науки 80-х годов тем же, чем для 60-х стала “Средняя Азия и Древний Восток”. Но ситуация оказалась иной. Вождество хуже вписывалось в моргановскую схему, нежели городская революция, т. к. слишком уж мало напоминало военную демократию, которую должно было вроде бы заменить. Взятые у К. Поланьи редистрибуция и реципрокность, органически ни с вождеством, ни вообще с какой-либо стадиальностью не связанные, преподавателям обществоведения “эпохи застоя” были бы попросту непонятны. Но главное препятствие для проникновения концепции вождества в советскую археологию заключалось в том, что в 80-х годах сама эта концепция утратила свою эвристическую ценность. Васильев поторопился, назвав *вождествами* шумерские города-государства. Массоновский *период ремесел* с большим основанием, чем *вождество*, мог претендовать на универсальность.

Интуиция подсказала Массону, что в конце 70-х — начале 80-х гг. ставка на вождество не оправдывает себя и что под рукой просто нет перспективного варианта эволюционистского подхода к истории. Какой-то же принципиально иной платформы он, видимо, не находил. Массон не пошел во всяком случае по пути Л. Е. Куббеля (1988), все еще старавшегося развивать ортодоксальный марксизм и попытавшегося с подобных позиций переварить и одновременно отвергнуть вождество. Здесь Куббель опирался как на Маркса с его классами и формациями, так и на английскую традицию в африканистике (Редклиф-Браун — Эванс-Причард) с ее приоритетным вниманием к социальной структуре, а не к технологии и демографии и презрительным отношением к эволюционистским схемам американцев.

90-е годы стали временем поиска альтернативных вождеству форм политической организации до- и раннегосударственных обществ, прежде всего основанных на горизонтальных связях между структурными единицами, а не на их вертикальном соподчинении (Березкин 1987; Коротаев 1995). Нейтральные термины *среднемасштабное общество* и *сложное общество* вытесняли *вождество*. В российской науке именно Массон сделался главным пропагандистом *сложного общества*. За всеми поисками приемлемых терминов следует, однако, видеть главное: потенциал эволюционизма оказался исчерпан.

III

Эволюционизм есть вера в наличие определенного пути или путей, по которым развивается общество. Если таковые существуют, то в идеале они могут быть просчитаны и описаны, подобно физическим явлениям. Что это вовсе не так, Боасу было ясно еще сто лет назад, но единств-

венной альтернативой ему виделся партикуляризм, признание уникальности каждой культуры и отказ от обобщений. Уайт, как известно, ошибся, ощущая себя наследником Моргана и обрушившись на Боаса за антиэволюционизм (Harris 1968: 291). Суть их разногласий состояла не в возможности или невозможности уподобления истории точным наукам, а в признании или непризнании культурного материализма.

Главыми защитниками культурного материализма во второй половине XX в. стали Марвин Харрис (Harris 1968; 1979) и Барбара Прайс (Price 1982). Для Прайс культурный материализм есть “синтез марксистского примата инфраструктуры в причинно-следственных отношениях и дарвиновских механизмов естественного отбора”. Это означает, что хотя культура системна и все ее части взаимозависимы, превалирует в ней конечном итоге то, что Маркс называл базисом. Поставленный в подобной форме, вопрос не имеет решения, ибо бесконечная сложность любого социума и заведомая невозможность знать все обстоятельства, влиявшие на процесс развития, выводят такие дискуссии за пределы науки. Два десятилетия назад на этой проблеме подробно остановился Ричард Н. Адамс (не путать с Робертом М. Адамсом). Близкие мысли на протяжении более чем столетия высказывали многие исследователи, но лишь Адамс, как нам представляется, сумел четко и концентрированно сформулировать их (Adams 1981). Следуя за Уайтом, он полагал, что деятельность общества оказывается тем успешнее, чем более обширные и доступные источники энергии ему удастся найти и освоить. К этому результату могут привести *любые* особенности социальной организации или идеологии, которые в этом случае станут с большей вероятностью сохраняться и воспроизводиться, но никакой универсальной зависимости между воспринятыми обществом идеями, его структурой и размерами, с одной стороны, и его материальным благополучием и технологической оснащенностью, с другой, не существует. Здесь можно обнаружить тенденции, но не законы. Мало сказать, что разнообразие социокультурных и социо-политических проявлений ограничено условиями материального существования. С этим редко, кто спорит, но интересно не то, почему эскимосы не имели государственности, а почему она появилась у шумеров. Гораздо важнее, что *любые случайные* факторы, которые почему-либо способствуют технологическому прогрессу, имеют более высокие шансы на выживание, нежели те, которые такой прогресс тормозят. При этом существуют также нейтральные культурные формы (например, сюжеты мифологии), способные вступать в самые причудливые сочетания и друг с другом, и с типами общественной организации.

Сходство, существующее между принципом естественного отбора в биологии и в культуре, не метафорическое, а существенное, ибо культу-

ру можно в равной мере рассматривать и как набор знаков, и как совокупность самокопирующихся элементов, бессознательно воспроизводимых людьми (Dawkins 1976: 203—215; Geertz 1973: 92—94). Соответственно как в биологии, так и в истории нельзя предсказать еще неизвестные формы, но можно постараться понять, почему известные оказались жизнеспособны или, напротив, вымерли. Одну из наиболее интересных проблем подобного рода предлагает нам история южного Туркменистана и северо-восточного Ирана в период между концом IV-го и началом II-го тыс. до н. э. Исторический переворот, произошедший в этом ареале в конце данного отрезка времени, замечателен тем, что не может быть охарактеризован в терминах “прогресса/регресса”, демонстрируя пример того, насколько разные типы обществ способны существовать в сходных природных условиях и на примерно одинаковом уровне развития технологии.

Начатые В. М. Массоном в 1985 г. раскопки поселения Илгынлы-депе, покинутого жителями где-то в начале III тыс. до н. э., показывают, что к этому времени местная община численностью 1000—1500 чел. скорее всего не имела организационного центра, а состояла из независимых домохозяйств — как более, так и менее влиятельных и богатых. На это указывает наличие в большинстве жилищно-хозяйственных комплексов парадного помещения, явно предназначенного для приема гостей и совершения каких-то обрядов, и отсутствие на поселении сколько-нибудь крупного (а потому заметного в современном рельефе) объекта, который мог бы рассматриваться как общинный храм. О том же свидетельствует и отсутствие погребений, которые выделялись бы над общим уровнем. Лишь в одном позднем захоронении найдена крупная медная булавка (Solovyova а. о. 1994, fig. 2, 1). В остальных обнаружены керамическая чашка (редко две), иногда каменная бусинка, либо инвентаря нет вообще.

В поздний период существования памятника (два верхних строительных горизонта и, может быть, еще один, архитектура которого не сохранилась, а материал оказался на поверхности) в культуре Илгынлы-депе появляются черты, связанные с так называемым геоксюрским комплексом. Для него характерно: 1) использование песка, а не органики в качестве отощителя при изготовлении небольших тонкостенных открытых сосудов (чаш); 2) новый тип орнаментации керамики с включением таких элементов как мальтийский крест, ступенчатая пирамидка, лесенка, сетка; 3) изменения в иконографии женских статуэток (прежде всего глаз — теперь не круглых, а удлинённых). Время, на протяжении которого эти изменения внедрялись, измерить точно невозможно, но это явно не был моментальный акт, а скорее период жизни двух-четырёх поколений людей. Ни на Илгынлы-депе, ни на других памятниках Средней Азии и Ирана, где

геоксюрская керамика зафиксирована (Алтын-депе и поселения Геоксюрского оазиса, Шахри-Сохте в Систане, Саразм на Зеравшане) проследить генезис новой керамики не удастся. Возможно, что стиль был сознательно выработан в течение короткого времени как выражение неких новых (нам, естественно, не известных) религиозных идей. Нельзя полностью исключать, что конечным источником для геоксюрской иконографии были росписи на посуде джемдет-настр. Ничего более близкого, ни по форме, ни территориально, отыскать во всяком случае не удастся.

За пределами Илгынлы-депе наиболее характерной особенностью геоксюрского комплекса являются круглые в плане погребальные камеры с коллективными захоронениями, однако ни на одном из соответствующих памятников слои, соответствующие самому началу распространения геоксура, не исследованы сколько-нибудь достаточно. На Илгынлы-депе камер во всяком случае нет. Близ поверхности здесь обнаружено одно коллективное захоронение (Курбансахатов 1990), но это не камера, а неглубокая круглая в плане яма с перемешанными останками семи человек. При этом ни в ней, ни в других (одиночных и парных) захоронениях ни разу не найдено геоксюрских чаш, а лишь только традиционные ялангачские (с параллельными полосками вдоль венчика) и красноощенные. Само отсутствие новой керамики в погребениях служит дополнительным подтверждением того, что геоксюрский комплекс был связан с религиозными представлениями и поэтому не мог не вступить в определенный конфликт с новыми верованиями.

На протяжении почти всего III тыс. до н. э. геоксюрский комплекс на востоке подгорной полосы Копет-Дага в Южном Туркменистане эволюционировал медленно. Судя по материалам Алтын-депе, все это время, вплоть до периода Намазга V, в иконографии сохранялись изобразительные элементы геоксюрского происхождения, представленные сперва на расписной керамике, затем на бронзовых или медных печатях-амулетах (Массон 1981; Кирчо 1991; Kircho 1988; 1989). Существовала (и возрастала?) имущественная дифференциация погребений, коллективных и индивидуальных (Алексин 1986: 55, 64—75; Березкин 1994: 29—31), но при этом различия в составе и ценности инвентаря оставались умеренными, не свидетельствуя ни о четком обособлении каких-либо групп, ни о существовании действительно непреодолимых имущественных различий между ними. Парадные помещения домохозяйств выделялись в основном наличием очага-подиума, но не имели тех элементов декора, которые были характерны для Илгынлы-депе. Характерно, что даже самые крупные, уникальные помещения периода Намазга V (25.5 и 18 м²) были в несколько раз меньше соответствующих парадных комнат на Илгынлы-депе (80—90 м²). В рядовых домохозяйствах эта разница была еще больше — 40—60 м²

против 5—8 м² (Березкин 1994: 29; Березкин, Соловьева 1998: табл. 1). Факты подобного рода можно расценить следующим образом.

В III тыс. до н. э. в Южной Туркмении (так же как, судя по материалам Шахри-Сохте, и в Систане) единство общества продолжало основываться на горизонтальных связях, а не на вертикальной иерархии, но механизм этих связей несколько изменился. Те социально-имущественные различия между домохозяйствами, которые ранее находили свое оформление в размерах и декоре парадных помещений, теперь оказались выражены прежде всего в различиях в погребальном инвентаре. Что за этим стоит конкретно, сказать пока трудно. Данные изменения совпадают во всяком случае с ростом численности общин (от 1—1.5 тыс. на Илгынлы-депе до 5—7 тыс. на Алтын-депе и, возможно, до 20 тыс. на Шахри-Сохте), прогрессом технологии (бронза, гончарный круг, двухъярусная обжигательная печь) и расширением ремесленного производства.

Дальнейшие события рубежа III/II тыс. до н. э. в чем-то напоминают распространение геоксюрского комплекса, а в чем-то и резко отличны. В это время, по-видимому, опять распространяется новый культ, о чем свидетельствуют находки в захоронениях трех не известных ранее типов явно ритуальных предметов (так называемых жезлов, колонок и дисков). Они обнаружены на Алтын-депе и на иранском Тепе-Гиссаре в слоях, предшествующих уходу с этих поселений их жителей. Считается общепризнанным, что из подгорной полосы Копет-дага люди ушли в основном на Мургаб. Подобно геоксюру, Бактрийско-Маргианский Археологический Комплекс (БМАК) возникает по историческим меркам мгновенно, по-видимому, заимствуя элементы из столь отдаленных областей, как Сирия или Сузиана, но не восходя прямо ни к одной из предшествующих или соседних культур (Сарианиди 1976; 1982; 1990; Hiebert, Lamberg-Karlovsky 1992: 3). В обоих случаях (геоксюр и БМАК) мы имеем, видимо, дело с так называемыми “кризисными культурами”, или “движениями обновления” (La Vigne 1971; Wallace 1956), за короткий период разрушающими традицию и позволяющими возникнуть новым структурам. Особенностью БМАК является полный разрыв с предшествующими формами социальной организации. Монументальные дворцово-культовые комплексы в сочетании с небольшими рассеянными земледельческими поселениями приходят на место крупных поселений типа Алтын-депе и Шахри-Сохте, лишенных значительной общественной архитектуры. Судя по по тем сокровищам, которые оказались в разграбленных захоронениях и попали в музеи (Amiet 1986; Pottier 1984; Tosi, Wadrak 1972), в БМАК формируются резкие, подавляющие различия в погребальном инвентаре. Если в III тыс. до н. э. к социальным верхам относились квалифицированные ремесленники (Березкин 1994: 34; Piperno 1979), то бактрийско-маргианская

элита наверняка была связана с войной и отправлением культа. Этот новый тип социальной организации оказался в условиях региона настолько устойчивым, что в основе своей сохранился до современности. К. Ламберг-Карловский сопоставляет политические образования периода поздней бронзы с туркменскими ханствами XIX в. (Lamberg-Karklovsky 1994).

Два возможных объяснения исчезновения в регионе горизонтально организованных социальных структур и смены их вертикальными иерархическими кажутся достойными наибольшего внимания. Одно связано с внешними обстоятельствами — ростом военной активности из-за появления в ареале индоевропейских племен (кафиров по языку?). Второе касается хозяйства и даже быта: сосредоточение большинства населения на огромных поселениях имеет очевидные неудобства и объяснялось скорее всего неумением организовать управление в отсутствие непосредственного контакта между членами коллектива (Березкин 1997). Наличие властной элиты неизбежно стимулирует производство престижных ценностей, совокупность которых создает то, что мы именуем “цивилизацией”. Но означает ли это, что на предшествовавшие БМАК общества могут быть наклеены ярлыки типа “первобытность”, “вождество”, “союз племен”, “военная демократия”, или даже “мультиполития” и “прото-город”? По разным причинам все они либо явно ошибочны, либо просто не передают исторической специфики. По-видимому, единая линейная классификация социумов в принципе невозможна и их следует сопоставлять лишь по конкретным параметрам — технологическим, демографическим, организационным и пр.

Алекшин В. А. 1986. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ (по археологическим материалам Средней Азии и Ближнего Востока). — Л.: Наука.

Березкин Ю. Е. 1994. “Город мастеров” на древневосточной периферии. Планировка поселения и социальная структура Алтын-депе в III тыс. до н. э. // ВДИ 3: 14—27.

1997. Америка и Ближний Восток: формы социополитической организации в догосударственную эпоху // ВДИ 2: 3—24.

Березкин Ю. Е., Соловьева Н. Ф. 1998. Парадные архитектурные комплексы Илгынлы-депе // АВ 5: 86—123.

Васильев Л. С. 1983. Генезис китайского государства. — М.: Наука.

Кирчо Л. Б. 1991. Изучение слоев эпохи позднего неолита на Алтын-депе в 1984—1989 гг. — СПб: ИИМК РАН.

Коротаев А. В. 1995. “Апология трайбализма”: племя как форма социально-политической организации сложных непервобытных обществ // Социологический журнал 4: 68—86.

Куббель Л. Е. 1988. Очерки потестарно-политической этнографии. — М.: Наука.

- Курбансахатов К.* 1990. Изучение энеолитических слоев на западной окраине Илгынылы-депе // ИАН ТуркмССР, СОН 6: 34—38.
- Массон В. М.* 1964. Средняя Азия и Древний Восток. — М.; Л.: Наука.
1971. Поселение Джейтун / МИА 180. — Л.: Наука.
1981. Алтын-депе / ПЮТАКЭ 18. — Л.: Наука.
- Сарианиди В. И.* 1976. Печати-амулеты мургабского стиля // СА 1: 42—86.
1982. Новый центр древневосточного искусства // Археология Старого и Нового Света: 68—88. — М.: Наука.
1990. Древности страны Маргуш. — Ашхабад: Ылым.
- Хазанов А. М.* 1979. Классообразование: факторы и механизмы. Исследования по общей этнографии. — М.: Наука.
- Adams R. N.* 1975. Energy and Structure. A Theory of Social Power. — Austin; London: University of Texas Press.
1981. Natural selection, energetics, and “Cultural materialism” with CA comment // Current Anthropology 22 (6): 603—624.
- Adams R. M.* 1981. Heartland of Cities. — Chicago; London: University of Chicago Press.
- Amiet P.* 1986. L'Age des Echanges Inter-iraniens. 3500—1700 avant J.-C. — Paris: Musee du Louvre.
- Barrett R. A.* 1989. The paradoxical anthropology of Leslie White // American Anthropologist 91(4): 986—999.
- Boas F.* 1928. Anthropology and Modern Life. — New York: Norton.
- Carneiro R. L.* 1981. The chiefdom: precursor of the state // The Transition to Statehood in the New World: 37—79. — New York: Cambridge University Press.
- Childe V. G.* 1928. The Most Ancient East (the Oriental prelude to European prehistory). — London: Kegan Paul, Trench & Trubner.
1934. New Light on the Most Ancient East. — London: Routledge & Kegan.
1951. Social Evolution. — New York: Henry Shuman.
- Dawkins R.* 1976. The Selfish Gene. — New York; London: Oxford University Press.
- Dole G., R. L. Carneiro, eds.* 1960. Essays in the Science of Culture, Festschrift for White. — New York: Crowell.
- Earle T. K.* 1987. Chiefdoms in archaeological and ethnohistorical perspective // Annual Review of Anthropology 16: 279—308.
- Flannery K. V.* 1972. The cultural evolution of civilizations // Annual Review of Ecology and Systematics 3: 401—403.
- Geertz C.* 1973. Religion as a cultural system // The Interpretation of Cultures. Selected Essays by Clifford Geertz: 87—125. — New York: Basic Books.
- Harris M.* 1968. The Rise of Anthropological Theory. A history of theories of culture. New York: Crowell.
1979. Cultural Materialism: the Struggle for the Science of Culture. — New York: Random House.
- Hiebert F. T., C. C. Lamberg-Karlovsky.* 1992. Central Asia and the Indo-Iranian borderlands // Iran 30: 1—15.
- Hole F., ed.* 1987. The Archaeology of Western Iran. — Washington D. C., London: Smithsonian Institution Press.

- Johnson G. A.* 1980. Rank size complexity and system integration: a view from archaeology // *Economic Geography* 56 (3): 234—247.
- Kircho L. B.* 1988. The beginning of the Early Bronze Age in Southern Turkmenia on the basis of Altyn-depe materials // *East and West* 38 (1—4): 33—64.
1989. Seals and their imprints in the early agriculture assemblages (new materials from Southern Turkmenia) // *Varia Archaeologica Hungarica* II: 123—129.
- La Barre W.* 1971. Materials for a history of studies of crisis cults: a bibliographic essay // *Current Anthropology* 12 (1): 3—27.
- Lamberg-Karklovsky C. C.* 1994. The Bronze Age Khanates of Central Asia // *Antiquity* 68: 398—405.
- Lowie R. H.* 1934. *An Introduction to Cultural Anthropology*. — New York: Farrar & Rinehart.
- Piperno M.* 1979. Socio-economic implications from the graveyard of Shahr-i Sokhta // *South Asian Archaeology 1977* 1: 123—139. — Naples: Istituto Universitario Orientale.
- Price B.* 1982. Cultural materialism: a theoretical overview // *American Antiquity* 47 (4): 709—741.
- Pottier M.-H.* 1984. *Materiel funeraire de la Bactriane Meridionale de l'Age du Bronze*. — Paris: Editions recherche sur les civilisations.
- Renfrew C.* 1973. *Before Civilization: A Pelican Book*.
1974. Beyond a subsistence economy // *Reconstructing Complex Societies / American School of Oriental Research. Bull.* 20. Supplement: 69—85. Cambridge.
- Service E. R.* 1962. *Primitive Social Organization*. — New York: Random House.
- Solovyova N. F., Yegor'kov A. N., Galibin V. A., Berezkin Yu. E.* 1994. Metal objects from Ilgynly-depe // *New Archaeological Discoveries in Asiatic Russia and Central Asia*: 31—35. — SPb: IIMK RAN.
- Spencer Ch. S.* 1987. *Rethinking the chiefdom // Chiefdoms in the Americas*. — Lanham, New York, London: University Press of America.
- Steward J.* 1948. A functional developmental classification of American High Cultures // *W. Bennett (ed.). A Reappraisal of Peruvian Archaeology / Memoirs of the Society for American Archaeology // American Antiquity* 13 (4), part 2: 103—104.
1949. Cultural causality and law; a trial formulation of early civilization // *American Anthropologist* 51: 1—27.
- Tosi M., F. Wardak.* 1972. The Fullol hoard // *East and West* 22 (1—2): 9—17.
- Wallace A. F.* 1956. Revitalization movements // *American Anthropologist* 58: 264—281.
- White L.* 1949. *The Science of Culture*. — New York: Farrar & Straus.
1959. *The Evolution of Culture. The Development of Civilization to the Fall of Rome*. — New York a. o.: McGraw-Hill.
- Willey G. R.* 1979. The concept of the “disembedded capital” in comparative perspective // *Journal of Anthropological Research* 35 (2).
- Wright H. J., G. A. Johnson.* 1975. Population exchange and early state formation in Southwestern Iran // *American Anthropologist* 77: 267—289.

К ВОПРОСУ О ЛОКАЛЬНЫХ ВАРИАНТАХ ШУЛАВЕРИ-ШОМУТЕПИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ VI—IV тыс. до н. э.

В Центральном Закавказье в среднем течении р. Куры зафиксировано около 40 древнейших раннеземледельческих поселений. Почти половина поселений расположена на территории восточной Грузии (Арухло I—III, Шулаверис-гора, Амирис-гора, Цопи и др.). С ними соседствуют более 20 раннеземледельческих поселений Западного Азербайджана (Шому-тепе, Гаргалар-тепеси, Тойре-тепе, Рустепеси и др.). Все они характеризуются, в основном, одинаковыми культурными традициями, находились на одном довольно высоком уровне развития оседлой жизни и относятся к шулавери-шомутепинской культуре VI—IV тыс. до н. э.

Анализ каменных орудий труда из раннеземледельческих поселений этой культуры (Аразова 1974; Челидзе 1984) позволяет говорить о возможности выделения двух локальных групп поселений — восточногрузинского и западноазербайджанского.

Основным материалом для изготовления орудий шулавери-шомутепинской культуры являлся обсидиан. Кремень использовали мало, но в западноазербайджанской группе поселений его употребляли все же гораздо чаще. На всех поселениях представлена высокоразвитая пластинчатая индустрия, где в качестве заготовок преобладают пластины шириной 1.5—2.5 см. На западноазербайджанских поселениях в большей степени, чем на восточногрузинских, использовали узкие пластины шириной 1—1.4 см; а на последних гораздо чаще употребляли пластины шириной более 2.5 см. Нуклеусы везде, в основном, конусовидные и призматические, крупных экземпляров мало.

Для техники вторичной обработки орудий в восточногрузинских памятниках характерна, преимущественно, мелкая затупливающая и, реже, мелкая заостряющая ретушь. Для орудий западноазербайджанской группы поселений характерна, в основном, крупная затупливающая и, реже, крупная заостряющая ретушь. Способ нанесения ретуши сходен в обоих случаях — односторонняя краевая и противоположащая. Приемы резцового скола и плоской подтески в технике вторичной обработки орудий широко использовали на всех поселениях.

Основные типы орудий — ретушированные пластины и отщепы, выемчатые изделия, изделия с подтеской, резцы, скребки, острия — представлены в инвентаре обеих групп памятников (рис. 1—2). Близко и процентное соотношение типов орудий в инвентаре. Однако среди вкладышей серпов из восточногрузинских поселений имеется небольшое

количество вкладышей серпов так называемого шомутепинского типа (с характерной заполированностью на одном углу), типичных для инвентаря западноазербайджанских поселений. На этих поселениях чаще встречаются скребки боковой и концевой-боковой формы, а на восточногрузинских памятниках — концевые скребки. В инвентаре восточногрузинской группы поселений превалирует асимметричная форма острий, а в западноазербайджанских — симметричная форма. Подавляющее большинство резцов сделано на углу слома пластин, но в инвентаре западноазербайджанских памятников имеется значительное количество срединных резцов, а в инвентаре грузинских памятников их мало.

Среди орудий труда западноазербайджанских поселений отсутствуют отщепы, выемки которых образованы крупными сколами со спинки, нуклеидные скребла и скребловидные орудия на крупных отщепах, а также геометрические микролиты, в небольшом количестве представленные в восточногрузинской группе (Челидзе 1979: 21, 24—25, табл. 7, 1—4, 7; табл. 9, 11—12; Челидзе 1984: 78, табл. XXIII—XXIV, 2, 16).

Все это позволяет нам предположить существование двух локальных вариантов шулавери-шомутепинской раннеземледельческой культуры.

Арабова Р. Б. 1974. Каменные орудия эпохи энеолита Азербайджана. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Баку.

Челидзе Л. М. 1979. Орудия труда энеолитического поселения Арухло I // Материалы по археологии Грузии и Кавказа VII: 19—31. Тбилиси.

1984. Развитие каменной индустрии в эпоху энеолита на территории Восточной Грузии // Человек и окружающая его среда. Материалы по археологии Грузии и Кавказа IX: 67—85. Тбилиси.

List of illustrations

Fig. 1. Stone tools from the East Georgian group of settlements of the Early Husbandry culture (1—3, 9, 14 — Shulaveris-gora; 4—6, 11, 13, 15, 16, 19, 20 — Arukhlō I; 18 — Arukhlō II; 7, 12, 21 — Arukhlō III; 10, 17 — Tsopi).

Fig. 2. Stone tools from the West Azerbaijanian group of settlements of the Early Husbandry culture (1, 2, 12, 20—22, 26 — Toire-Tepe; 3, 6, 10, 11, 13—15, 18, 24 — Shomu-Tepe; 4, 5, 8, 9, 16, 19, 23, 27 — Gargalartepesi; 7, 17, 25 — Rustepesi).

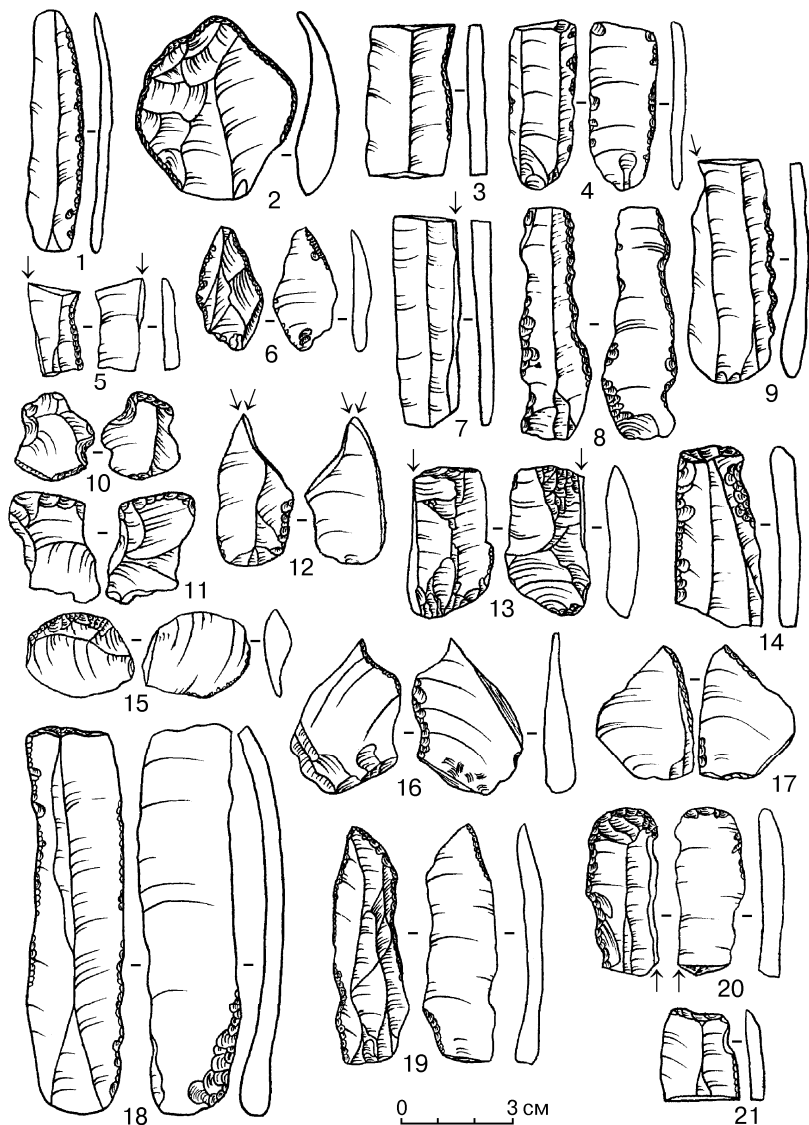


Рис. 1. Каменные орудия труда восточногрузинской группы раннеземледельческих поселений (1—3, 9, 14 — Шулаверис-гора; 4—6, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 20 — Арухло I; 18 — Арухло II; 7, 12, 21 — Арухло III; 10, 17 — Цопи): 1—4, 6 — ретушированные пластины и отщепы; 5, 7, 9, 12 — резцы; 8, 9 — выемчатые изделия; 11, 13 — изделия с подгеской; 14, 15, 18, 20, 21 — скребки; 17, 19 — острия.

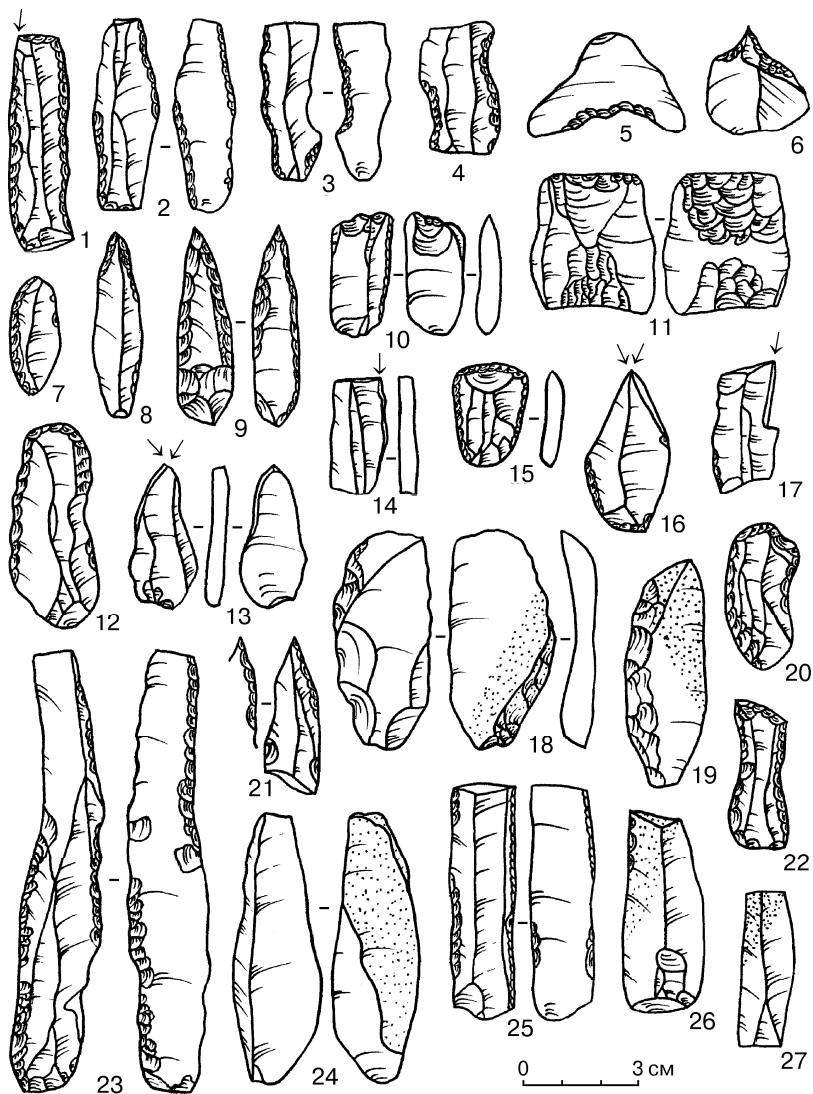


Рис. 2. Каменные орудия труда западноазербайджанской группы раннеземледельческих поселений (1, 2, 12, 20—22, 26 — Тойре-тепе; 3, 6, 10, 11, 13—15, 18, 24 — Шому-тепе; 4, 5, 8, 9, 16, 19, 23, 27 — Гаргалартепеси; 7, 17, 25 — Рустепеси): 1, 2, 23, 25 — ретушированные пластины; 3—5, 22 — выемчатые изделия; 6, 8, 9, 21, 22 — острия; 7, 12, 15, 20 — скребки; 10, 11 — изделия с подтеской; 13, 14, 16, 17 — резцы; 18, 19, 24, 26, 27 — вкладыши серпов шумутепинского типа.

ВОСТОЧНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IV — III тыс. до н. э. (к проблеме культурных контактов)

Систематические исследования на территории Западного Закавказья выявили множество памятников эпохи палеометалла, которые дают возможность по новому поставить ряд вопросов древнейшей истории этого региона. Было установлено, что высокоразвитые культуры IV—III тыс. до н. э. являлись в основном преемниками местных традиций, но, вместе с тем, имели тесные взаимосвязи с сопредельными культурами Северного Кавказа и Передней Азии. Культурные контакты особенно интенсифицируются во второй половине IV тыс. до н. э., то есть, в период позднего энеолита. Наглядное тому доказательство — появление в Западном Закавказье мотыг “сочи-адлерского” типа, каменных полированных браслетов и некоторых типов наконечников стрел. В это же время происходит передвижение с юга переднеазиатских керамических форм и производственных навыков, зафиксированных в Тепе Гавра 12—8, Амуке F, Хаме M, Тепеджике, Геой-тепе, Телль Хуейре, Дежерментепе и др. (Мунчаев 1975: 334—345; Андреева 1977: 41; Трифонов 1987: 19—20) через Южный Кавказ (Бериклдееби, Абастумани, Самерцхле клде, Дарквети, Дзудзуана, Воронцовская пещера) на север в Прикубанье, где они, наряду с местным субстратом, участвуют в формировании майкопской культуры (Пхакадзе 1985: 16—33). С учетом некоторых общих признаков (однородность керамики, каменных, костяных, роговых изделия, пряслиц и др.) в становлении майкопской культуры, по видимому, определенную роль сыграли и энеолитические племена западного Кавказа (Джавахишвили 1968: 15—17).

В конце IV — начале III тыс. до н. э. вокруг Черного моря формируются культуры, тесно связанные между собой. Это Балканы и Егейя — на западе, Анатолия — на юге, Кавказ — на востоке и степные культуры — на севере. Обозначенную огромную территорию, кроме металлургических навыков, объединяли те культурные трансформации и динамические процессы, которые привели к определенным интеграционным явлениям во всем ареале. Частично этим объясняется сходство отдельных категорий материальной культуры и целых их серий, как из близлежащих, так и достаточно удаленных друг от друга областей (Мерперт 1987: 89—97; Черных 1987: 98—106).

Для III тыс. до н. э. на Кавказе обычно упоминаются две большие культуры: майкопская и куро-аракская. Вместе с тем на всем восточном

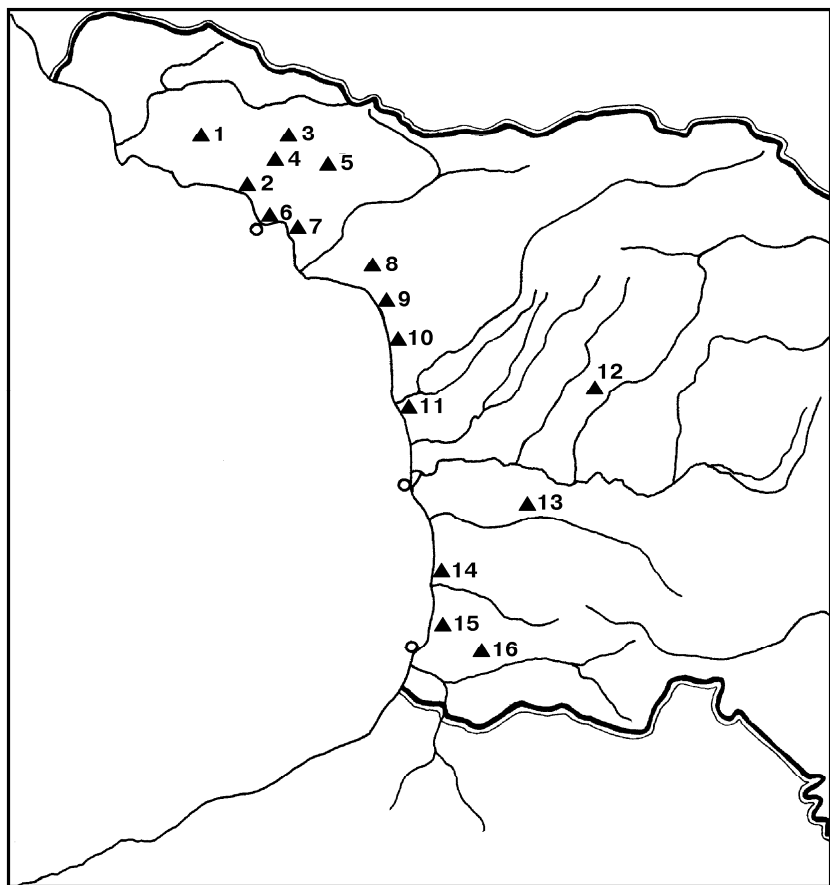


Рис. 1. Карта распространения раннебронзовых памятников Колхидской низменности: 1 — Отхара; 2 — Гуандра; 3 — Эшера; 4 — Азанта; 5 — Шрома; 6 — Гумиста; 7 — Мачара; 8 — Хуан; 9 — Очамчире; 10 — Пичори; П — Анаклиа (Диха-Гудзуба); 12 — Саелиао; 13 — Шемокмеди; 14 — Испани; 15 — Чакви; 16 — Колотаури.

побережье Черного моря (рис. 1) в низменной полосе Колхети и прилегающих предгорьях фиксируется еще одна большая самобытная раннебронзовая культура с высокоразвитой металлургией, земледельческо-скотоводческой экономикой и весьма специфической керамической продукцией. Она не относится ни к куро-аракской, ни к майкопской культурам и резко отличается от них. Эта культура выделена нами под

названием “раннебронзовая культура Колхидской низменности”¹. Она еще находится в процессе изучения, но уже сейчас можно определить ее некоторые характерные черты: 1 — единая линия развития традиций предшествующих эпох; 2 — “хуторный” тип поселения, плетеные помещения на деревянных сваях и площадках, утрамбованных глиной; 3 — консервативность каменной индустрии; 4 — неорошаемое земледелие с применением дренажной системы; 5 — преобладание хозяйственных орудий в наборе металлического инвентаря; 6 — своеобразная керамическая продукция; 7 — дольмены и обряд вторичного захоронения; 8 — культовые обряды без применения очагов, подиумов, подставок и др. (Пхакадзе 1993: 119—121).

Раннебронзовая культура Колхидской низменности охватывает все III тыс. до н. э. Самые ранние памятники обнаружены в Северо-Западной (Воронцовская пещера) и Юго-Западной части Колхиды (Чакви) и относятся к концу IV тыс. до н. э. К памятникам развитого этапа относятся следующие поселения: Очамчире, Испани (нижний горизонт), Гумиста-Ачандара, Диха-Гудзуба (1 слой), Пичори (8 слой), Колотаури и малые дольмены. Из них более архаичными являются Очамчире и Испани (нижний слой), который датируется по ¹⁴C 2640 и 2540 гг. до н. э. Возраст Пичорского поселения (8 слой) — 2290 ± 60 гг. до н. э. Следовательно 26—23 вв. до н. э. являются хронологическими рамками развитого этапа этой культуры (рис. 2). К финальному этапу относятся памятники: Мачара (III), Гуандра (Б), Испани (верхний горизонт), Саелиао, Пичори (7 и 6 слои), средние дольмены. Их возраст по ¹⁴C: Испани — 2060 ± 50 г. до н. э., Пичори (6 слой) — 1965 г. до н. э. (рис. 3; Пхакадзе 1998: 33).

Высокий уровень экономики документируется двумя уникальными деревянными сохами разного типа из поселения Пичори, развитым металлургическим производством и гончарным делом.

По материалам дольменов (топоры, кинжалы, крюки), Испани (модели вислообушных топоров) и, особенно, Пичорского поселения (двухстворчатые формы для отливки трубчатообушных топоров, формы для отливки подтреугольных мотыг и сама мотыга, уникальные четырехсторонние формы для 4 разных предметов, чаши, ковши, поддувала, шлак и др.), можно утверждать, что производство металлических предметов происходило на месте (рис. 4). Ковка и литье с применением способа

¹ Термин вносится с учетом расположения памятников и ареала распространения этой культуры, так как термин “очамчирская культура” является слишком узким, не отражает реальной действительности и не содержит возможности выделения её локальных вариантов и этапов ее развития.

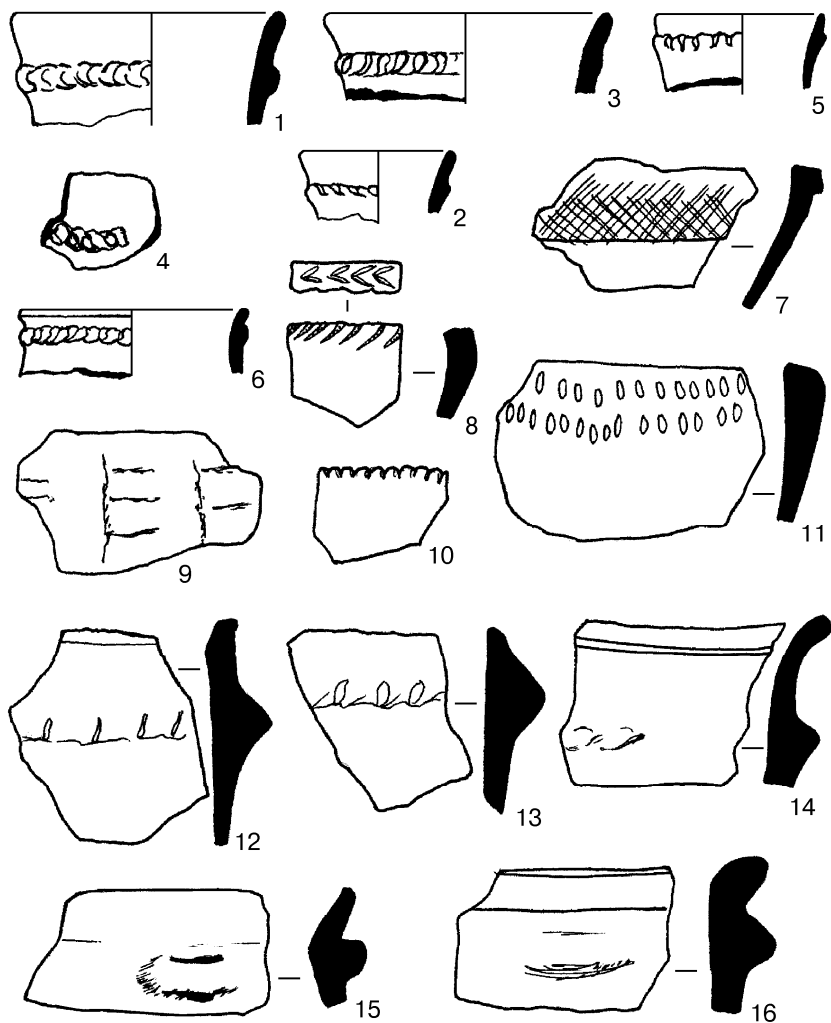


Рис. 2. Образцы типичной керамики развитого этапа ранней бронзы:
1—6 — Пичори; 7—10 — Гумиста; 11—16 — Очамчире.

утери восковой модели, использование мышьяковистых бронз (2—8 %) или сплава сурьмы указывают на существование в Закавказье еще одного важного (вторичного) металлургического очага. Отдельные металлические предметы (топоры, крюки) демонстрируют тесные связи с Северным Кавказом (Новосвободная, Бамут, Новый Аршти; Джапаридзе 1976:

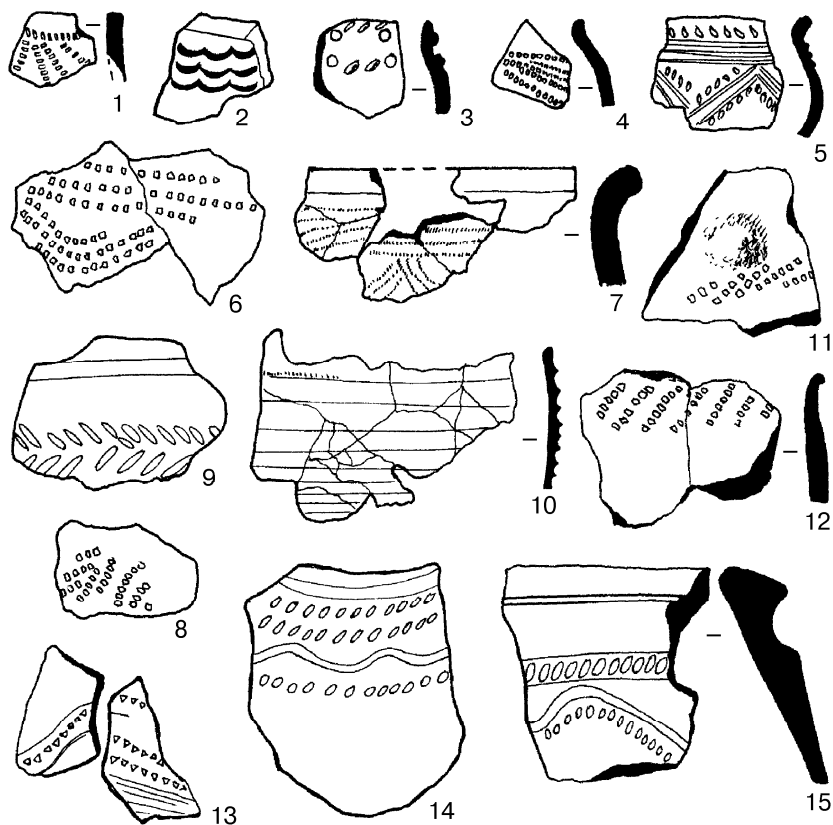


Рис. 3. Фрагменты керамики финального этапа ранней бронзы:
 1—4 — Гуандра (Б); 6—9 — Мачара (Ш); 10—12 — Саелиао;
 5, 13—15 — Испани (верхний горизонт).

189—190). Общей является и идея дольменов, хотя закавказские и северокавказские дольмены значительно отличаются друг от друга как по форме, так и по инвентарю.

Колхидская раннебронзовая керамика ручной лепки, грубая, твердо обжига, розовато-бурого или черноватого цвета. Ведущие формы: горшки, миски, банки, карасообразные и прямостенные сосуды с плоским дном, толстым венчиком и ленточными, вертикальными или горизонтальными ручками. Распространенный орнамент — рельефный валик вокруг корпуса с насечками, защипами, отпечатками пальцев, зернообразные и ёлочные узоры и всевозможные налепы (рис. 2—3). Наряду с

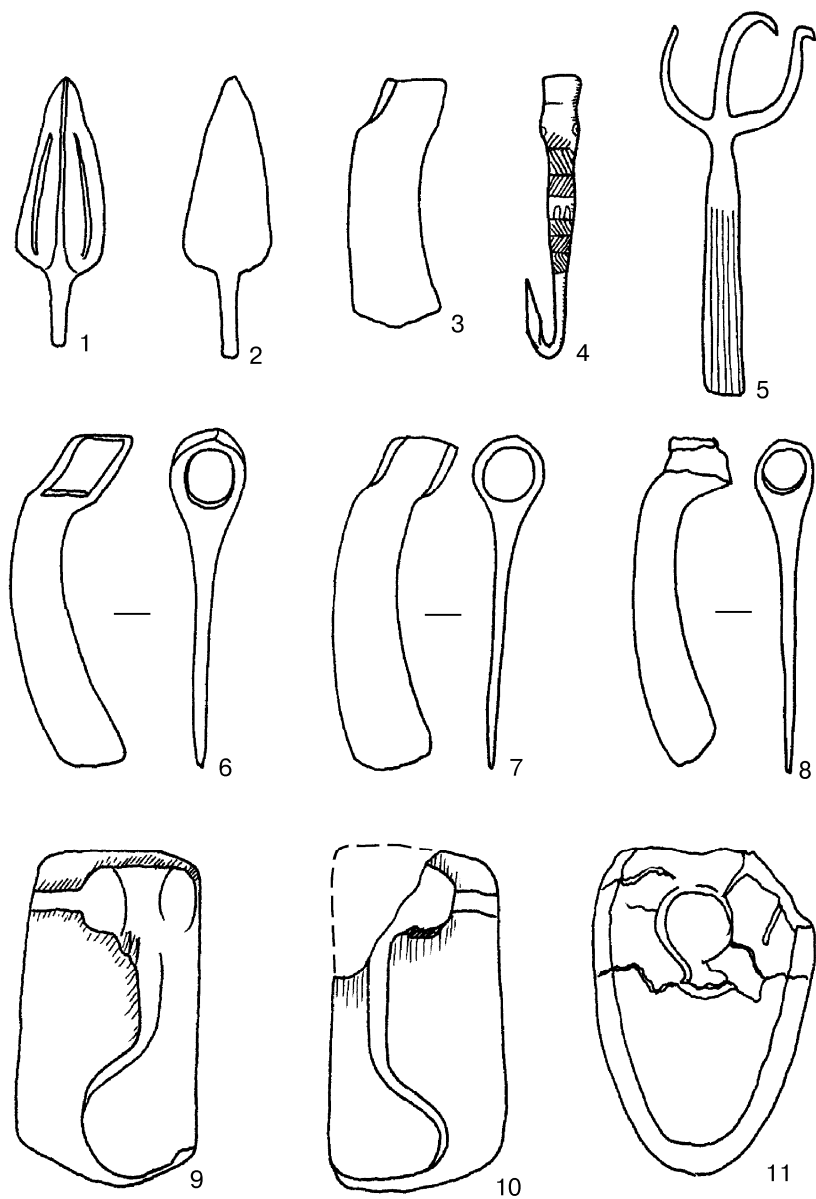


Рис. 4. Металлический инвентарь из дольменов Северо-Западного Кавказа (1—8) и формы для отливки топоров и мотыги из Пичори (9—11).

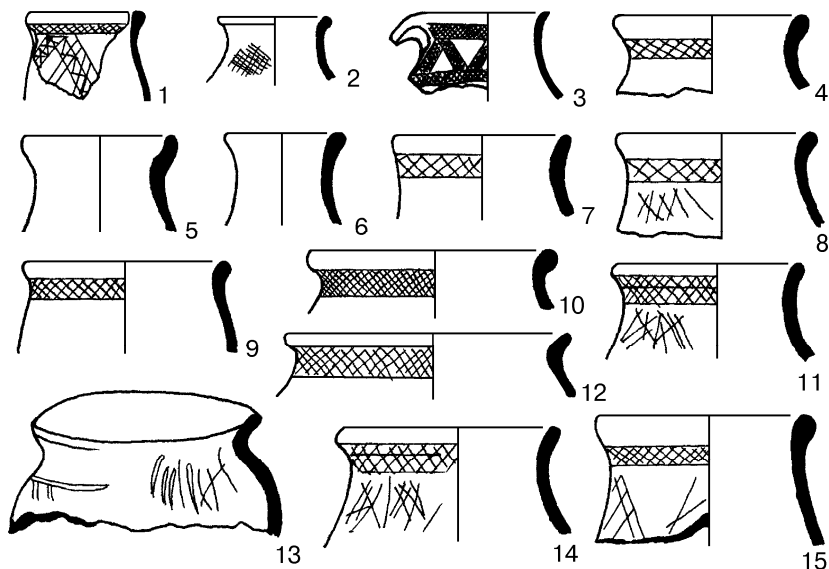


Рис. 5. Темнолощенная керамика из поселений Пичори (1—7, 9—10, 12) и Испани (8, 11, 13—15).

основной массой традиционной керамики на некоторых памятниках (Очамчире, Испани, Пичори) обнаружена маленькая группа черно- и коричневолощенных сосудов с резным геометрическим орнаментом, часто переходящим и на ручки; они указывают на тесные взаимосвязи с культурой ранних триалетских беденских курганов (рис. 5). Обе керамические группы находят аналогии в материалах Анатолии, Балкан и восточной Европы (рис. 6—7).

Знаменательно, что в Анатолии и Сирии схожая по форме и орнаменту с колхидской посуда известна уже с халколита (Амук А—13, Тепеджик, Тюлин-тепе I—IV) и продолжает существовать до эпохи железа (Esin 1982: рис. 94—96). Такая же картина наблюдается и в прибрежной полосе Колхидской низменности. Раннебронзовая культура Колхидской низменности имела тесные контакты с южной дугой “циркумпонтийской зоны” (Мерперт 1987: 21). Аналогии в керамике мы находим в памятниках южной полосы побережья Черного моря — Дюндар-тепе, Демирчихуюк, Икизтепе (Alkim 1988, рис. XI—XVI), западной Анатолии — Кумтепе (B2), Троя I (Korfmann 1993: 29, tab. III), внутренней Анатолии — Аладжа, Кюрдере, Хорозтепе, Пилирхуюк, Буюк-Гулуджек, Ескипар и др. (Ortmann 1963: 163—189, рис. X, XII, XIV—XX).

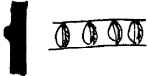
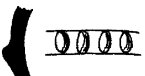
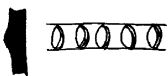
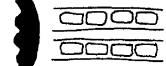
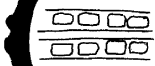



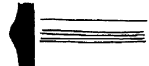
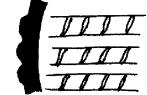
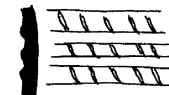
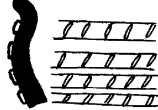
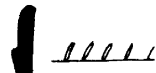
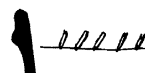
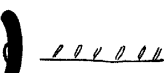
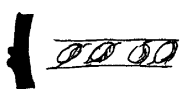
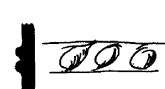
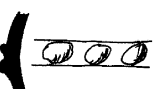
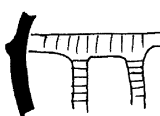
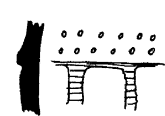


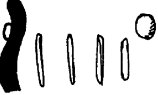




МАКЕДОНИЯ ЭЗЕРО	ВОСТОЧНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ	АНАТОЛИЯ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Рис. 6. Сравнительная таблица рельефных орнаментов.


















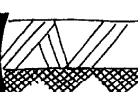



МАКЕДОНИЯ ЭЗЕРО	ВОСТОЧНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ	АНАТОЛИЯ
		
		
		
		
		
		
		

Рис. 7. Сравнительная таблица резных орнаментов.

Особое сходство фиксируется с материалами поселения Езеро (III тыс. до н. э.) во фракийской долине. Близость наблюдается как в формах сосудов, так и в орнаментации (валик с насечками, разнообразные налпы, резные узоры). Аналогичен каменный и роговой инвентарь,

пряслица, украшения, модели колес и др. (Георгиев, Мерперт и др. 1979: 491—496, рис. 225—230). Такая же керамика известна и в Болгарии (Караново VII), Придунавье (Черновода), Сербии (Бубани-Хум II) и др., резной узор здесь заполнен белой массой.

Параллели и сходства материалов отдаленных друг от друга регионов рассматриваются как результат длительных процессов культурных диалогов, взаимосвязей, диффузии и передвижения групп людей. В раннебронзовой культуре Колхидской низменности уже сегодня можно выделить три локальных региона: северо-западный, центральный и юго-западный. Дальнейшие исследования дадут возможность более полно осветить многие вопросы, связанные с древнейшей историей Колхиды.

Андреева М. В. 1977. К вопросу о южных связях Майкопской культуры // СА 1: 39—56.

Георгиев Г. И., Мерперт Н. Я., Димитров Д. Д., Катингаров Р. В. 1979. Езеро. Раннебронзовое селище. София.

Джавахишвили А. И., Глонти Л. И., Киквидзе Я. М. 1968. Результаты работ археологической экспедиции 1964 года в Урбниси и Квирила // Труды Гос. музея Грузии XXV: 15—21. Тбилиси. (На груз. языке).

Джанапаридзе О. М. 1976. К этнической истории грузинских племен по данным археологии. Тбилиси.

Мунчаев Р. М. 1975. Кавказ на заре бронзового века. М.

Мерперт Н. Я. 1987. Циркумпонтийская зона в раннебронзовом веке: вопросы культурных контактов // Кавказ и Юго-восточная Европа в эпоху раннего металла: 89—98. Тбилиси.

Пхакадзе Г. Г. 1985. К вопросу о взаимосвязи Западно-Грузинской раннебронзовой и Майкопской культур // Вопросы археологии Грузии III: 22—36. Тбилиси. (На груз. языке).

1988. К изучению памятников Рион-Квирильского бассейна (IV — сер. III тыс. до н. э.) // СА 2: 43—57.

1993. Западное Закавказье в III тыс. до н. э. Тбилиси.

1998. Некоторые аспекты изучения раннебронзовой культуры Колхидской низменности // Дзиебани: 32—37. — Тбилиси: Центр археологических исследований АН Грузии.

Трифонов В. А. 1987. Некоторые вопросы переднеазиатских связей Майкопской культуры // КСИА 192: 18—25.

Черных Е. И. 1987. Культурные контакты Циркумпонтийской области // Кавказ в системе палеометаллических культур Евразии: 98—106. Тбилиси.

Alkim B. 1988. İkiztepe I. Excavations 1974—75. Ankara.

Barnabo R. 1964. Poliochni. Roma.

Esin U. 1982. Tepecik excavations. Keban project 1974—75: 71—118. Ankara.

1982a. Tulintepe excavations 1979—1980: 119—135. Ankara.

Orthmann W. 1963. Die Keramik des Früher Bronzezeit aus Innerunatalien. Berlin.

Korfmann M., Kromer B. 1993. Demirchihuyuk, Besik-Tepe, Troia — eine Zwischenbilanz zur Chronologie dieser Orte in Westanatolien / Studien Troica III. Mainz am Rein.

**БЕДЕНО-АЛАЗАНСКАЯ ГРУППА
ПАМЯТНИКОВ КАВКАЗА
(к пересмотру хронологии, периодизации
и культурно-экономических связей)¹**

Крайне редкое обращение археологов-кавказоведов к общекавказской проблематике способствовало образованию значительных лагун в решении некоторых проблем, касающихся Кавказа как единого региона. Их нерешенность объясняется, прежде всего, локальным характером исследований, который традиционно существует в среде археологов работающих на Кавказе на протяжении многих десятилетий. Нередки случаи, когда исследования замыкаются рамками административных границ небольших государств, через которые “перешагивают” древние культуры Кавказа.

Между тем природные особенности Кавказа (преобладание горных массивов с истоками крупных водных артерий, орошающих межгорные плодородные равнины и степные пространства), его расположение на стыке двух культурных миров — Европы и Азии и, наконец, историческая роль Кавказа как одного из первичных очагов зарождения и развития производящего хозяйства требуют рассмотрения прошлого Кавказа не как средоточия памятников или отдельных культур, а как множественное целое, единый и неделимый регион, один из центров развития земледелия и скотоводства, очаг блестящего и самобытного металлопроизводства, прошедший сложный и своеобразный путь развития в тесном взаимодействии с окружающим миром. Попытка представить древний Кавказ именно в таком аспекте недавно была предпринята одним из авторов настоящей работы (Кушнарева 1993; Kushnareva 1997).

Особенно остро назрела проблема типологической систематизации и стратиграфической реконструкции огромной массы материала, накопившегося в регионе к концу 90-х годов. Конечная цель такого исследования сводится к решению проблемы периодизации и хронологии археологических культур в общекавказском масштабе, в увязке последних с культурами соседних стран. Известно, что хронологические разработки являются основополагающей базой при систематизации материала и объединяют его в устойчивые культурные блоки. Нам представляется, что, прежде всего, следует базироваться на реконструкции относитель-

¹ Настоящая статья является первым этапом предполагаемого исследования, посвященного типологической систематизации, хронологии и периодизации памятников среднебронзового века Кавказа.

ной хронологии. Абсолютные же датировки базового материала должны определяться сопоставлениями с точно датированными переднеазиатскими реалиями, либо физическими методами датирования, выходящими за рамки археологического анализа.

Учитывая значение новейших материалов, наиболее слабо разработанным звеном в периодизационной схеме бронзового века Кавказа сегодня является эпоха средней бронзы, в пределах которой бытовало несколько культур и однотипных групп памятников, а также проблемы их соотношения с предшествующими и последующими культурно-хронологическими объединениями. Накопившиеся к настоящему времени материалы сигнализируют о несостоятельности прежних представлений о последовательности среднебронзовых культур Кавказа и побуждают к пересмотру бытовавших точек зрения. Учитывая теснейшую связь Кавказа с переднеазиатскими странами, где существуют твердо датированные комплексы, возникла необходимость при пересмотре кавказской периодизационной схемы опираться в первую очередь на новые, не привлекавшиеся ранее материалы Передней Азии.

Из всех среднебронзовых культур Кавказа наиболее яркой, обильной по материалу и “контактной” в плане разнонаправленных межрегиональных связей является триалетская культура, известная преимущественно по погребальным памятникам кавказской элиты. Ведущими их признаками являются крупные курганные насыпи, обширные грунтовые могилы или огромные наземные залы, индивидуальные захоронения, обряд кремации, наличие погребальных повозок и лож, жертвоприношения животных, парадное оружие и посуда, изысканные ювелирные изделия. Б. А. Куфтин — первооткрыватель триалетских курганов, будучи ученым широчайшей эрудиции, явился в определенной мере провидцем многих исторических явлений прошлого. Однако в своей замечательной книге “Археологические раскопки в Триалети” (1941), он не опубликовал полностью десятки открытых им комплексов и не осуществил, таким образом, типологический анализ обнаруженного им материала. Фактически он “снял сливки” с уникального реквизита погребений, обставленных с варварским великолепием и показал общий контекст нового для Кавказа феномена. И сделал это, надо сказать, блестяще и убедительно.

Опираясь на известные к тому времени переднеазиатские и эгейские параллели, Б. А. Куфтин датировал богатые триалетские курганы серединой II тыс. до н. э., к опережающему их времени он отнес курганы с более бедным и архаичным инвентарем. Позднее в разных местах региона была открыта серия подобных триалетским богатым погребений: в Месхети, в Зуртакети, в Аруче, Кировакане, Карашамбе и др. (Пиотровский 1949; Джапаридзе и др. 1985; Арешян 1979; Оганесян 1988).

Ситуация несколько прояснилась после осуществленной Э. М. Гогадзе полной публикации триалетских комплексов, когда было предложено считать, что элитные погребения представлены тремя хронологическими группами, создававшимися на протяжении первой половины II тыс. до н. э., а более скромные и архаичные по облику курганы сооружались в последней трети III тыс. до н. э. (Гогадзе 1970; 1972; Жоржикашвили, Гогадзе 1974). Так появилась “короткая” и “длинная” хронология триалетских курганов, каждая из которых имела своих сторонников и оппонентов.

Блестящие раскопки последних десятилетий привели к переосмыслению путей развития и временного пространства бытования триалетской культуры. С открытием грандиозных курганных погребений в Бедени, на Алазани, в Самгори, Марткопи, а также культового комплекса в Шида Картли Бериклдееби, синхронных самым ранним триалетским курганам, стало очевидным, что “новая эра” в истории древнего Кавказа, характеризующая курганной культурой, началась значительно раньше, чем это предполагалось. Сейчас известно около 100 погребений этого времени, среди которых имеются захоронения, отмеченные масштабностью самих сооружений и богатством инвентаря. Они, в свою очередь, делятся на две хронологические группы, старшей из которых принадлежат такие погребения как Марткопи, Самгори и др., отличающиеся сложными подкурганными конструкциями, но относительно скромным инвентарем; в комплексах младшей группы (Бедени, курганы Алазанской долины и др.) прослеживаются уже явные признаки инвентаря богатых “царских” погребений, а также деление захоронений по обряду, что скорее всего отражает процесс стратификации общества (чего не наблюдается в старшей группе).

С собственно “царскими” курганами Триалети эти новые памятники, названные “ранними курганами”, несмотря на ряд безусловных различий (для них характерны преимущественно деревянные срубы сложной конструкции, обряд трупоположения, отсутствие посуды из драгоценных металлов и парадного оружия, несколько иной керамический комплекс, более архаичный набор изделий из металла, сравнительно редкие ювелирные изделия, следы определенных связей с Севером), роднят такие признаки как грандиозные каменно-земляные насыпи, огромные камеры, деревянные лежа, повозки или колеса, имитирующие их присутствие, жертвоприношения животных, сложные конструкции могил, включающих немногочисленные, но уникальные ювелирные изделия. Черты же безусловной архаичности “ранних курганов” в Бедени и др. пунктах, а также бесспорная их синхронность с самыми ранними Триалетскими курганами дают основание объединить все эти памятники в

единую среднебронзовую курганную культуру Кавказа, первый этап которой по месту первоначального открытия памятников логично называть бедено-алазанским, второй же, названный Б. А. Куфтиным “цветущей порой” триалетской культуры — триалетско-кировкаканским. Учитывая генетическую связь этих двух последовательных групп памятников, о которой будет упомянуто ниже, а также растянутость их создания во времени, мы предлагаем исследуемую культуру называть в дальнейшем (по первому месту обнаружения памятников этих двух групп) бедено-триалетской (БТК). Это наименование в первую очередь подчеркивает ее целостность. Вместе с тем за каждой хронологической группой мы сохраняем принятые в литературе первоначальные наименования — бедено-алазанская группа и триалетско-кировкаканская группа (либо бедено-алазанский и триалетско-кировкаканский этап).

В последние годы наметились определенные коррективы в периодизации археологических культур среднебронзового века Кавказа и, в частности, хронологического места памятников позднего, триалетско-кировкаканского этапа. Речь идет о взаимодействии последних с памятниками родственной им по ряду признаков кармирбердской культуры. Вопрос этот возник, когда был установлен факт размещения комплексов этих двух культурных объединений на одной и той же территории — в южной зоне Закавказья (в Араратской долине и в Шираке). Распространение кармирбердской культуры на этой территории было обосновано многочисленными комплексами и ранее (Симонян 1982; 1984; Хачатрян 1975). Что же касается разрозненных, часто доследованных и неопубликованных триалетско-кировкаканских комплексов в этом пространстве, то они впервые были учтены лишь сравнительно недавно; их оказалось несколько десятков. Как выяснилось, особая их концентрация наблюдается в Араратской долине — в области Нахичевана и в среднем течении р. Раздан. Памятники триалетско-кировкаканского этапа “перешагнули” через р. Аракс и доходили до оз. Ван на юге, до Карсской области на юго-западе и до берегов оз. Урмия на юго-востоке (Кушнарева 1993; 1993б: 98, карта; Kushnareva 1997: map).

Объяснение факта совмещения памятников двух культур на одной территории дал анализ инвентаря серии погребений из Армении (Цахкаладж, Ширакаван, Карашамб, Шамирам и др.), в каждом из которых вместе с расписной посудой типично кармирбердского стиля находились во-первых экземпляры посуды, маркирующие переходный от средней к поздней бронзе период, во-вторых — типичные среднебронзовые сосуды (Арешян и др. 1990; Симонян 1984; Кушнарева 1995). В нескольких погребениях обнаружены хурри-митаннийские печати, распространенные в широком передневосточном ареале в XV — XIV вв. до н. э.

Важно подчеркнуть также, что ни в одном позднеэриалетском погребении упомянутые типы посуды и хурритские печати не встречены. Логично полагать, что время финала кармирбердской культуры непосредственно соприкасалось с упомянутой датой, тогда как период ее бытования должен быть отнесен к предшествующим столетиям (Кушнарева 1995). Напомним, что на необходимость пересмотра датировки позднеэриалетских комплексов указывает также выявление целого пласта памятников к северу от Аракатской долины — в Восточной Грузии (Пицхелаури 1990).

Приведенные доводы идут вразрез с господствовавшей в течение нескольких десятилетий точкой зрения, что кармирбердская культура являлась наиболее ранней из всех среднебронзовых культур Кавказа (Куфтин, Пиотровский, Мартиросян, Симонян, Кушнарева и др.). Ее датировали первой четвертью II тыс. до н. э.

Упомянутые факты, ставшие известными к началу 90-х годов, бесспорно говорили о необходимости удревления памятников “цветущей поры” эриалетской культуры и пересмотра в целом периодизации среднебронзовых культур Южного Кавказа. Поискам всесторонней аргументации для решения этой проблемы и посвящена настоящая работа.

По поводу хронологии и периодизации памятников СБВ Кавказа в литературе существуют разные точки зрения. Дискуссия развернулась главным образом вокруг даты “ранних курганов”, открывших, после заката куро-аракской культуры (КУАК), начало “новой эры”. Как было сказано, количество известных ранних курганов сейчас доходит до сотни: среди них есть как элитные захоронения, так и могилы, фиксирующие менее престижный прижизненный уровень похороненных в них лиц; иерархия создавшего их общества здесь безусловно уже налицо.

Вопросы хронологии “ранних курганов” дискутировались с момента их открытия. На первом этапе сопоставления велись с известными к тому времени кавказскими комплексами (Сачхере, Квацхела и др.). Считаем необходимым привести в данном контексте главные хронологические оценки памятников рассматриваемого круга. Напомним, что Б. А. Куфтин — первооткрыватель ранних эриалетских курганов (IV, XI, XII, XIII, XIX, XXIV, XXV, XL, XLVI) — сопоставил их материалы с известными к тому времени ключевыми комплексами, в том числе с погребениями могильников Сачхере. Опираясь на хорошо датированный металл сачхерских погребений, он отнес их к XXIV—XXII вв. до н. э. (Куфтин 1941: 13—15; 1949: 75). Напомним, что первые раскопки в Сачхере произвел тоже Б. А. Куфтин, а затем их продолжил О. М. Джапаридзе. О. М. Джапаридзе принадлежит подробная разработка хронологии сачхерских комплексов, которые, с его точки зрения, представлены тремя

хронологическими группами — 2400—2200, 2200—1900, 1900—1800 гг. до н. э. (1961: 194—195, 266). Несколько позднее, опираясь на явную архаичность керамики сачхерских погребений по сравнению с таковой из ранних курганов Триалети, а также на сходство первой с куро-аракской посудой, Э. М. Гогодзе датировал комплексы Сачхере 2300—2000 гг. до н. э. (1970: 221—251). Включившийся в дискуссию А. И. Джавахишвили полагал, что материалы как многочисленных сачхерских, так и одиннадцати ранне-триалетских курганов имеют разнохарактерный облик, что при дальнейшей скрупулезной разработке должно привести к их разбивке на хронологические группы (1973: 263). В частности он полагал, что керамика триалетских курганов связана, с одной стороны, с финалом КУАК, с другой — с началом периода “цветущей поры” (Джавахишвили 1973: 165).

В дальнейшем сопоставления с комплексами Сачхере проводились многими исследователями, часть из которых (Джапаридзе 1991; 1996; Кавтарадзе 1983; Махарадзе 1994; 1996; Ростунов 1985) синхронизировали ранние триалетские курганы со всеми сачхерскими погребениями, другая же часть (Гогодзе 1970; Джавахишвили 1973; Джавахишвили, Глonti 1962; Пхакадзе 1988) — только с поздними.

Дискуссии на протяжении десятилетий велись и по поводу соотношения “ранних курганов” с финалом КУАК. В этом контексте в первую очередь использовались материалы поселений; ключевым здесь стало поселение Квацхела. Мнения исследователей и здесь разошлись. Так, О. М. Джапаридзе синхронизировал ранние погребения Сачхере и курганы Марткопи со слоем “В” Квацхелы; а поздние сачхерские погребения и курганы Бедени — поместил вслед за финалом КУАК (Джапаридзе 1961; 1991; 1996). Позднее к этой точке зрения присоединились Г. Л. Кавтарадзе (1983) и З. Н. Махарадзе (1994; 1996). Иного мнения придерживался А. И. Джавахишвили. Он полагал, что ранние погребения Сачхере синхронны слою “С” Квацхелы, а поздние сачхерские, а также марткопские погребения одновременны слою “В”. Беденскую же группу курганов, он рассматривает как следующую за финалом КУАК (Джавахишвили 1973: 266). Это мнение разделяют Э. М. Гогодзе (1972: 101) и Г. Г. Пхакадзе (1988: 56).

Наконец, существует еще одно толкование взаимодействия “ранних курганов” с финалом КУАК. Так, В. Л. Ростунов все погребения Сачхере, а также курганы Марткопи и Бедени синхронизирует со слоем “В” Квацхелы (1985). Все перечисленные памятники он относит к посткуро-аракскому времени.

Ключом к разрешению проблемы соотношения КУАК с культурой “ранних курганов” послужили раскопки некоторых поселений, осуществ-

вленные и введенные в оборот в последнее время; само собой разумеется, что этими материалами не могли воспользоваться упомянутые авторы в своих ранних работах. Так, на Хашурской Нацаргора (Рамишвили 1991) и на Цихиагора у сел. Кавтисхеви (Махарадзе 1994; 1996) в одном и том же слое залежали материалы КУАК вместе с беденскими. Отсюда следует логический вывод, что памятники куро-аракской культуры на каком-то отрезке времени сосуществовали с “ранними курганами”.

К середине III тыс. до н. э. куро-аракская культура (скорее культурная общность), завоевавшая огромную территорию, достигла своего апогея. Тем более неожиданным представляется ее внезапный распад вскоре после пика расцвета. Вслед за этим появляется культура нового облика, главным признаком которой является курганный обряд погребений. Трактовка этого явления вызвала долгие дискуссии (см.: Кушнарева 1993: 92); а priori можно лишь сказать, что глобальной смены населения, как это предполагалось (Меликишвили 1965; Burney 1958; Mellaart 1958), в это время здесь не происходило. В среднебронзовый период наблюдается переориентация хозяйственной базы (забрасываются многие поселения в низинах и равнинах, осваиваются предгорья и горы, усиливается роль скотоводства и др.), свидетельствующая, в первую очередь, об исчерпании прежних ресурсов, поддерживающих стабильность экономики в течение почти тысячелетия. Утверждают, что кризис хозяйства был вызван экстенсивным характером земледелия, неспособного прокормить разросшуюся массу населения (Киквидзе 1975: 23). Это, безусловно, следует иметь в виду при трактовке обозначенного явления. Однако, при этом не учитывается фактор внешнего воздействия на общество Кавказа, тогда как археологически зафиксировано проникновение сюда с конца IV тыс. до н. э. инокультурных групп населения как с Юга, так и с Севера. Так, уже на рубеже IV—III тыс. с Севера через перевалы начинают проникать небольшие этнические группы, принесшие на юг Закавказья курганный обряд погребения (Маисян, Мохраблур: Арешян 1985). На протяжении III тыс. до н. э. процессы перемещения населения нарастают, что материально реализовалось в появлении в погребениях Южного Кавказа таких северных реалий, как кромлех, деревянный сруб, охра, подвески из клыков животных, молоточковидные булавки и др. В результате перенаселенности Южного Кавказа в первую половину III тыс. до н. э. часть куро-аракского населения через перевалы уходит на Север; следы этого передвижения прослеживаются вдоль северных предгорий всего Большого Кавказа; на Востоке они зафиксированы на территории Дагестана и Чечни (Мунчаев 1961; 1975; Гаджиев 1991). Затем выявлено пребывание южных переселенцев в Центральных районах Кавказа — в Северной Осетии и Кабардино-

Балкарии (Мунчаев 1975; 1980; Николаева, Сафронов 1980; Ростунов 1985; 1996). Наконец, большие волны избыточного населения к середине III тыс. до н. э. из Закавказья устремляются на Юг, — в Восточную Анатолию, Сирию, Палестину, Северо-Западный Иран (Sagona 1984). Все это следует рассматривать в контексте передвижения в это время крупных этнических массивов на территории Переднего Востока (История древнего Востока 1983. Ч. 1). Главной причиной инновационных проявлений, изменивших ход исторического процесса в кавказском и соседних регионах являются, с нашей точки зрения, климатические изменения — аридизация климата зафиксирована множеством специальных исследований климатологов, геологов, гидрологов, гляциологов, почвоведов, палеоботаников и др. На Армянском нагорье и в Закавказье этот процесс нашел отражение в геологических отложениях озер Ван и Севан (Бальян 1984). Такая же картина наблюдается и в бассейне Каспийского моря (Абрамова 1983; Варушенко и др. 1980; Гричук 1980; Рычагов 1993; Иванов, Васильев 1995; Dolukhanov 1994). О наступлении жары и засухи упоминается, в частности, в письменном источнике — шумерском гимне богу Нинурте, в котором сообщается о том, что воды полноводного Тигра не доходят до своего русла (Афанасьева 1997: 89). Экологический кризис затронул огромную территорию к югу от Кавказа. В Месопотамии, в частности, в результате засухи скотоводы из степных районов переместились в плодородные орошаемые оазисы, что в конечном итоге привело к разрушению раннединастических царств и установлению аккадской династии (История Древнего Востока 1983. Ч. 1) Нарастание потепления привело к переориентации хозяйственной базы — в этот период и на Кавказе резко расширяется скотоводческий сектор. Таяние же ледников, открывшее перевалы в горах Большого и Малого Кавказа способствовало проникновению на Кавказ мигрантов как с Севера, так и с Юга и оттоку населения из Закавказья в этих же направлениях.

Однако, это не означает, что наследие предшествующей эпохи было исторически перечеркнуто. Ее огромные достижения оказались безусловно воспринятыми и использованными носителями среднебронзовых культур Кавказа. Нельзя забывать, что последние развивались без временного разрыва с куро-аракской культурой и в тех же территориальных границах. Более того, археологические материалы свидетельствуют даже о временном сосуществовании этих двух (куро-аракской и беденоалазанской) культурных объединений. Преемственность также четко прослеживается в керамике и металлопроизводстве этих исторических периодов (Гогадзе 1972: 97—100; Джапаридзе 1991: 284). Именно в это время, когда куро-аракские традиции еще не потеряли своей силы, в

процесс культурогенеза новыми этническими группами внедряется ряд новаций, большая часть которых бытует на протяжении всего средне-бронзового периода.

В настоящей работе в качестве базового материала мы предпочли использовать главным образом изделия из металла — в первую очередь оружие, а также орудия труда и различные украшения. Как известно, производство оружия во все времена было носителем передовых технологий. Эволюция орудий труда свидетельствовала об эволюции производственной деятельности. Изменчивость же моды на различные украшения и символы показывала динамику эстетических и идеологических запросов общества. Общественный прогресс был связан теснейшим образом с прогрессом в металлургии, которая стимулировала познание окружающей среды, способствовала новым открытиям.

Из-за постоянной тенденции к совершенствованию металлических изделий, их образцы (особенно оружие) имеют особое значение при решении проблемы датировки и периодизации древних памятников. Следует также учесть, что при различных контактах и связях древних народов заимствования осуществлялись прежде всего в сфере металлопроизводства, анализ которого помогает реконструировать многосторонние связи Кавказа, в первую очередь связи со странами Древнего Востока, а также пути, ведущие на Север в Предкавказье и далее — в степи.

Касаясь рассматриваемого далее периода, следует указать прежде всего на набор металлических изделий, находимых в археологических комплексах этого времени. Это топоры, копья, кинжалы, тесла, долота, так называемые бритвы, булавки и различные украшения. Попытаемся перечисленные типы изделий рассмотреть с точки зрения поставленной в начале задачи (рис. 1).

Бронзовые топоры имели полифункциональное назначение, их использовали и как орудие, и в качестве оружия. Для проушных топоров известен типологический ряд, в котором на раннем этапе (ранний этап КУАК, майкопское время) бытовали клиновидные орудия трапециевидной формы. Позднее, для повышения надежности крепления топора к рукоятке (что было в первую очередь связано с усилением боевого применения орудий), края втулки опускаются (вислообушность) либо топор снабжается трубчатой втулкой. При совершенствовании специализированных боевых топоров клин становится уже и длиннее (для увеличения силы наносимого удара), а угол скоса лезвия увеличивается.

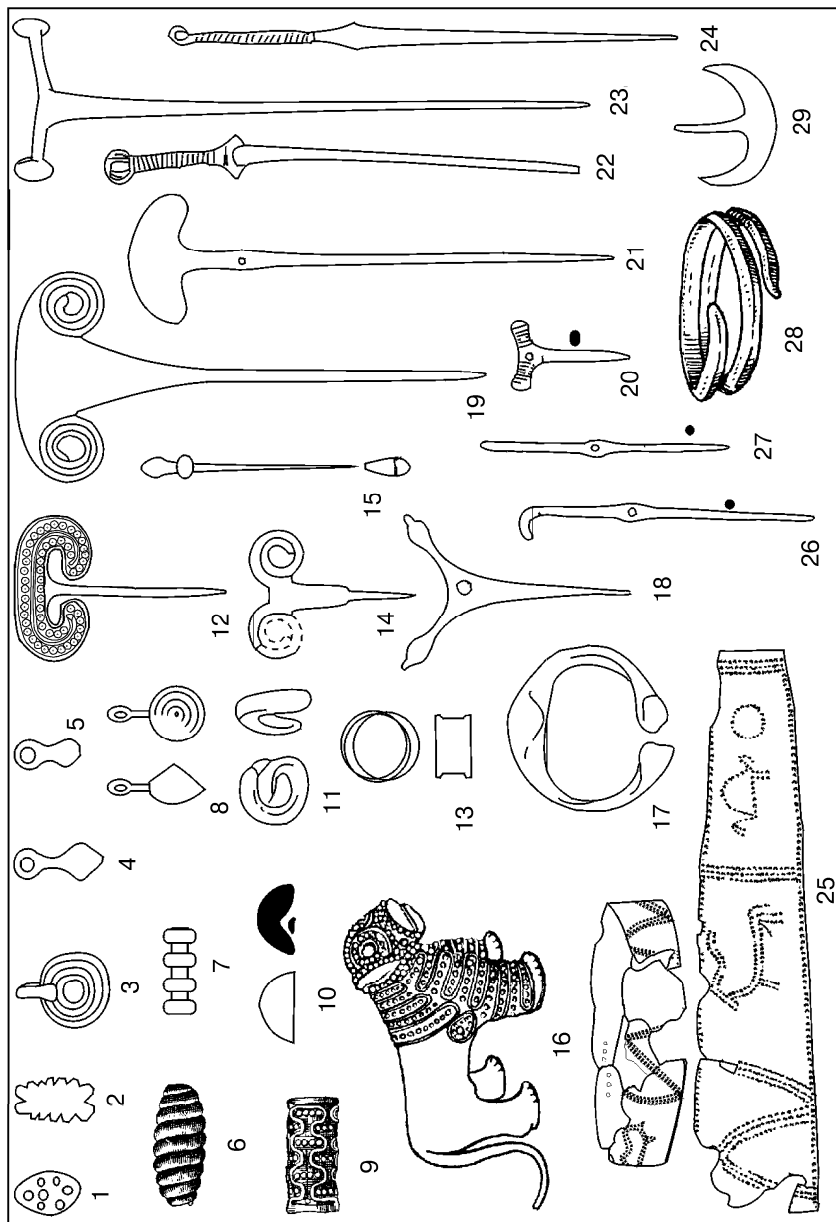
Появление вислообушных и трубчатообушных боевых топоров впервые зафиксировано в памятниках Шумера раннединастического периода. К северу от Шумера, в Северной Месопотамии, Сирии и на Армянском нагорье подобное оружие появилось в аккадский период.

Известно, что в войске аккадского правителя Саргона, в отличие от войска правителей раннединастического времени, состоявшем из ополченцев, была высока роль боевого топора (История Древнего Востока 1983. Ч. I: 235—236). Это могло послужить толчком к распространению подобного оружия в широком ареале, охватившем и Кавказ, в частности, поэтому, вслед за Б. А. Куфтиным, мы полагаем, что вислообушные и трубчатообушные топоры (сачхерский тип) являлись местной творческой переработкой передневосточных образцов аккадского времени. На первом этапе усовершенствования местных клиновидных топоров КУАК появились вислообушные экземпляры (Межджврисхеви, Тианети, Брдадзор, Эчмиадзин, Ленинанкан: Кушнарева, Чубинишвили 1970: рис. 4, 5, 6; Геворкян, Петросян 1979: рис. 1, 2; Picchelauri 1997: taf. 4, 30—33). Вислообушные топоры обнаружены также в поздних памятниках КУАК, в Приереванском кладе (Мартirosян, Мнацаканян, 1973) и в могильниках Сачхере (Picchelauri 1997: taf. 4, 5, 7—9). Сачхерские топоры с передневосточными экземплярами аккадского периода (Тиль Барсиб, Тепе Гавра, Амул, Луристан) сближает наличие литых валиков на их втулках.

Вислообушные топоры найдены в кургане № 4 у сел. Марткопи, принадлежащем к так называемой старшей (марткопской) группе (Джапаридзе 1993: abb. 8). В погребениях младшей (беденской) группы представлены экземпляры с удлиненной трубчатой втулкой и коротким трапециевидным клином с расширенным лезвием — возможно, местные прототипы, появившихся позднее секир. Подобное оружие найдено в нескольких памятниках: в Бедени, к. № 5 (Гобеджишвили 1980: рис. 7, 1); в Квемо Сарали, к. № 9 (Абесадзе 1974: табл. 1, 1); в Надарбазеви, к. № 2 (Абесадзе 1974: табл. 1, 8); в Марткопи, кк. №№ 3 и 5 (Джапаридзе и др. 1986: 33, рис.4; Авалишвили и др. 1994: табл. XI, 161). Наконец, случайные находки сделаны в Цители Сабатло и в Хындрьстане (Picchelauri 1997: taf. 4, 35; Нариманов, Ахундов 1999: 35, рис. 1).

Оружие сачхерского типа распространялось через перевалы на Север (Дзаурикау, Советское, Былым, Бамут, Миатлы); проникали на Север и топоры беденского типа (Гатын Кале). Под воздействием южных, закавказских центров металлообработки усовершенствуются местные северокавказские типы проушных топоров, в частности осваивается способ литья орудий в форму со стороны спинки (Кореневский 1981).

На Армянском нагорье вислообушные топоры найдены на поселениях Караз (вместе с булавкой toggle pin: Kosay, Turfan. 1959) и Норшунтепе в слоях, содержащих керамику кирбет-керакского типа (поздний период КУАК). На поселении Норшунтепе (слой VIII — РБВ-III) найдена двухстворчатая литейная форма для изготовления подобных изделий



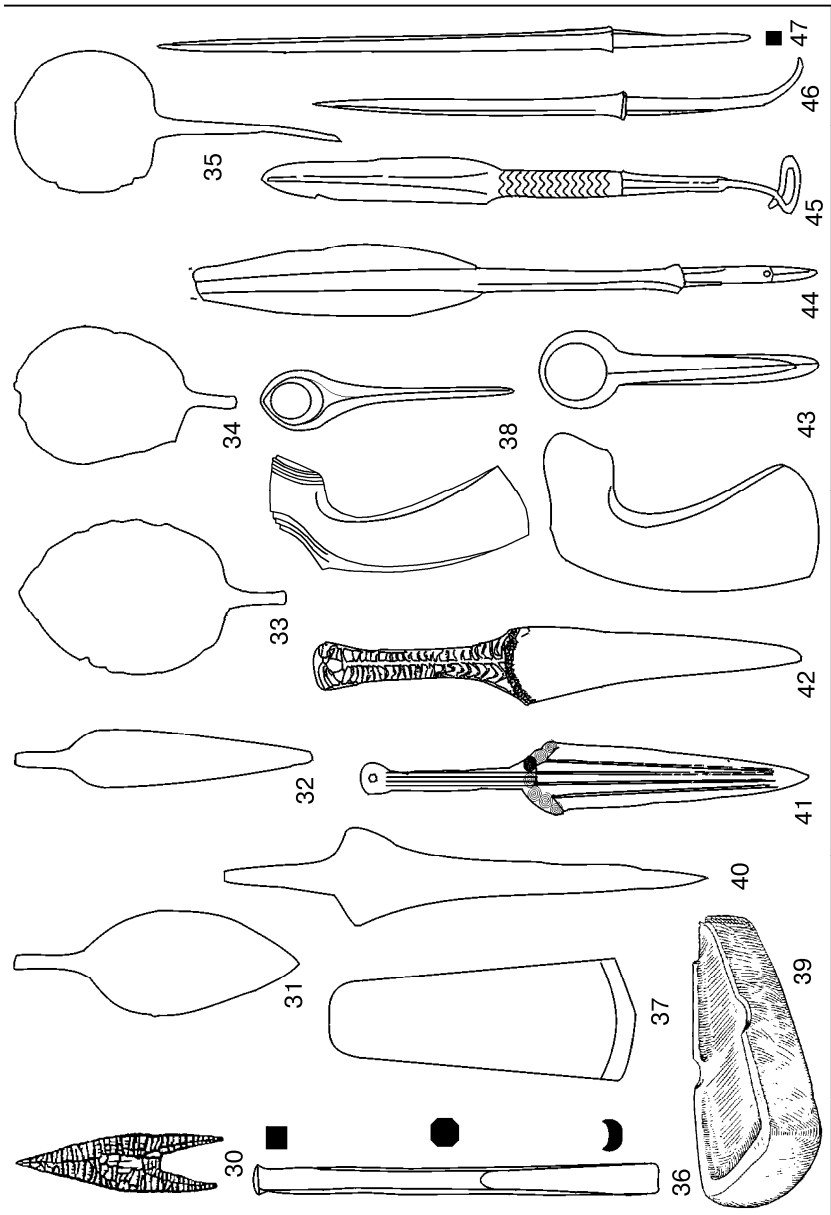


Рис. 1. Характерные изделия бедено-алазанской группы
и синхронных памятников Кавказа.

1, 2, 13, 31, 38 — Марткопи, к. № 4; 3 — Начеркезеви; 4, 5, 8, 29, 42 — Корети; 6, 9 — Хаченагет; 7, 19 — Урбниси; 10, 36, 37 — Бедени, к. № 5; 11, 25, 28, 39, 46 — Квацхелеби; 12, 15—17, 30 — Цнори, к. № 1; 14Д8 — Арич; 20 — Коринто; 21 — Амиранис гора; 22, 24, 40, 41, 44, 47 — Царцис гора; 23 — Хизанаант гора; 26, 27 — Великент; 32 — Качрети; 33 — Марткопи, к. № 3; 34, 35, 43 — Марткопи, к. № 5; 45 — Бакурцихе.

(Mellink 1975: pl. 39, 8). Обломок формы для отливки вислообушного топора найден и в беденском слое поселения Нацаргора (Махарадзе 1994: 78, табл. LX, 12).

Таким образом, сравнительный анализ этих типов оружия указывает на вероятность их проникновения на Кавказ с Юга, начиная с 2400—2300 гг. до н. э.

Плоский топор с боковыми выступами. Эти изделия в период КУАК на Кавказе ни разу не встречены. Однако литейная форма для отливки такого орудия обнаружена в нижнем культурном слое (“С-1”) поселения Квацхела (Джавахишвили, Глонти 1962: табл. IV, 289), следовательно, они производились здесь же на месте. Изделия этого типа недавно были изучены немецким археологом А. Вессе (Wesse 1990). Автор выделил три основные разновидности бронзовых топоров с выступами, установил их хронологию и ареал. Исходя из его классификации орудия отливавшиеся в литейной форме из Квацхелы относятся к типу ША 1 (Wesse 1990: 36). Топоры этого типа были распространены от Палестины до Центральной Анатолии (Wesse 1990: karte 3, 5). Этот тип имел также широкое временное бытование (Wesse 1990: karte 19). Для рассматриваемой нами темы особенно важно установление нижнего хронологического предела появления плоских топоров с выступами. Наиболее ранний из известных экземпляров происходит из клада в одиннадцатом слое Телль-Джудейде, относящегося к аккадскому времени (Wesse 1990: 224, N 452, Т. II; Braidwood R. J. & L. S. 1960: 373, fig. 293, 1). Остальные бронзовые орудия, вошедшие в сводку А. Вессе, относятся ко II тыс. до н. э.²

Для иранского региона первое появление плоских топоров с боковыми выступами (тип ША 3 по А. Вессе) зафиксировано также не ранее конца III тыс. до н. э.: экземпляр из Тюренг-Тепе датируется периодом Гиссар III-С, а топор из Алтын-Депе относится к фазе Намазга V (Wesse 1990: 38, N 469, N 531). Таким образом, появление плоских топоров с

² К концу III тыс. до н. э. относится, вероятно, экземпляр из Тейхос Димайон в Греции, не вошедший в сводку А. Вессе (Bucscholz, Karageorghis, 1971, № 553).

выступами фиксируется с аккадского времени, следовательно, этот период можно рассматривать в качестве *terminus post quem* для датировки литейной формы из нижнего слоя “С” в Квацхела.

Тесла или плоские топоры, представленные в памятниках беденоалазанского этапа, связаны с деревообработкой. А. А. Иессен отметил общую тенденцию в эволюции этой категории орудий, выражающуюся в их постепенном удлинении и сужении пятки по отношению к лезвию (1950: табл. I). Существование такой тенденции прослеживается в различных регионах (Черных 1978; Авилова, Черных 1989 и др.), что позволяет синхронизировать, в частности, памятники обеих склонов Кавказа.

Морфологические различия тесел выражены их основными пропорциями, для сопоставления которых предложена числовая индексация по соотношению трех параметров, определяющих два показателя: индекс И-1 — отношение длины орудия к ширине лезвия; индекс И-2 — отношение ширины лезвия к ширине пятки (Братченко 1976: 139, 143; 1996: 45; Черных 1997: 102). Индексы тесел “ранних” закавказских курганов (Бедени, к. № 5; Квемо-Сарали, к. № 9; Надарбазеви, к. № 2; Марткопи, кк. №№ 4, 5; Сачхере, Начеркезеви, Хындрыстан) варьируют в рамках: И-1 = 2.5—3.2; И-2 = 1.4—2.5. Для Северного Кавказа установлено, что индексы тесел РБВ (новосвободненские памятники) варьируют: И-1 = 1.5—1.96; И-2 = 1.2—1.56 (Северо-Западный Кавказ); И-1 = 2—2.15; И-2 = 1.25—1.6 и 2 (Центральное Предкавказье и Чечня; Резепкин 1989: 9; Черных 1997: 102). Очевидно, что закавказские орудия отличаются по своим параметрам от тесел новосвободненской группы, однако они полностью соответствуют орудиям начала СБВ Северного Кавказа и Предкавказья: И-1 = 2.6; И-2 = 1.8 (привольненский этап). В частности, близкие параметры демонстрируют орудия из так называемых северокавказских памятников — Абадзехская, Константиновская, Андреевская долина (И-1 = 2.9—3.2; И-2 = 2—2.3); из катакомбных погребений — Александровск, Зимогорье, Лола, Царицын (И-1 = 2.4—2.8; И-2 = 1.6—2.2); из позднемных и полтавкинских погребений — Кулешовка, Брюховецкая, Тамар-Уткуль, Утевка, Колтубанка (И-1 = 1.7—2.6; И-2 = 1.4—2).

Распространение тесел беденского и сачхерского типа через перевалы на Северный Кавказ фиксируется находками в могильниках Загли Барзонд, Андреевская долина и Орджоникидзеви, где представлены также топоры сачхерского типа.

Несколько отличаются по параметрам тесла из катакомбы № 1 Великентского могильника; один экземпляр здесь совпадает с новосвободненской группой (И-1 = 1.8; И-2 = 1.5), а другие отличаются несколько большей зауженностью пятки (И-1 = 2; И-2 = 1.8—2). Великентские тесла относятся к орудиям недавно выделенного нами успенского этапа,

предшествующего привольненскому и соответствующего самому началу СБВ на Северном Кавказе (Рысин 1996: 79, табл.). Нами установлено, что тесла успешного этапа по своим параметрам варьируют от новосвободненской группы до привольненской: И-1 = 1.5—3; И-2 = 1.5—1.85.

Таким образом, тесла бедено-алазанского этапа БТК по своим параметрам соответствуют орудиям успешного и привольненского этапов СБВ Северного Кавказа. К югу от Кавказа, на Переднем Востоке тесла с близкими пропорциями обнаружены в комплексах конца РБВ Сирии (Библ, Рас Шамра, Каркемиш), Малой Азии (Соли, Аладжа), Северной Месопотамии (Тепе Гавра) и Армянского нагорья (Караз).

На Армянском нагорье обнаружены тесла иных пропорций — с более вытянутым корпусом и узкой пяткой (Приереванский клад); боковые грани корпуса имеют “перелом” на середине длины, выше которого корпус сужается (Мартиросян, Мнацаканян 1973: рис. 47, 1—4). Параметры тесел следующие: И-1 = 4.3—4.6; И-2 = 2.2—2.8 и 4. Близкие по пропорциям и по форме корпуса тесла найдены в слоях РБВ-III поселения Икизтепе на севере Малой Азии (Bilgi 1990: fig. 16, 225—228).

Желобчатые долота. В памятниках раннего этапа БТК найдены желобчатые долота с выраженным подквадратным насадом, которые, как и тесла, являлись орудиями деревообработки. Долота из погребений кк. №№ 3 и 5 у сел. Марткопи (Джапаридзе и др. 1986: рис. 4; Авалишвили и др. 1994: табл. XI, 162) имело подовальный в сечении корпус, четырехгранный насад и удлиненный желобок; по своим параметрам они приближаются к постновосвободненским орудиям из ст. Келермесской в Закубанье (раскопки Н. И. Веселовского в 1904 г. и Ю. Ю. Пиотровского в 1984 г.). Долото из Сачхере (Джапаридзе 1961: рис. 35, 2) — узкое и длинное, с круглым в сечении корпусом; по пропорциям корпуса напоминает экземпляр из Хорозтепе на севере Анатолии. Долота из Бедени и Квемо-Сарали (Абесадзе 1974: рис. 1, 3, 10) имеют восьмигранный в сечении корпус, а экземпляры из Надарбазеви (Абесадзе 1974: рис. 1, 6) и из пос. Ахали-Жинвали (Рамишвили и др. 1984: 59, табл. LXXXIII) — квадратный в сечении корпус; они соответствуют по параметрам орудиям успешного этапа Северного Кавказа (Рысин 1996; Рысин 1996а: 79, 84, табл.). Для этого этапа характерно разнообразие форм и пропорций орудий. В Приазовье, в позднеямном комплексе у сел. Кулешовка (раскопки Е. В. Максименко в 1967 г.) обнаружено близкое по параметрам долото с восьмигранным сечением корпуса. Долота с выраженным четырехгранным насадом и подквадратным либо восьмигранным сечением корпуса найдены в позднеямных, новотитаровских и раннекатакомбных погребениях (Долинка, Алитуб, Первомайское, Пятилетка, Александровск, Луганск, Малаи и др.).

Таким образом, долота из памятников бедено-алазанского этапа можно по их параметрам соотнести с орудиями постновосвободненского, успенского этапа Северного Кавказа, что позволяет синхронизировать памятники, в которых они были найдены. Датирующее определение может иметь параллель в долотах с восьмигранным корпусом из клада “Д” в Библе и в контексте III династии Ура в Сузах, а также аналогии орудиям с подквадратным сечением корпуса в Аладже, Трое и в Каркемише (Kosay 1951: pl. CXXXV; Deshayes 1960, vol. 2: pl. XII, 14, 17; Dugand 1939, vol. 2: pl. LXIX, 2193).

Ножи и кинжалы. В памятниках бедено-алазанского этапа представлены три типа черенковых ножей и кинжалов. 1. С удлиненно-подтреугольным клинком; плечики вогнутые, лезвия вогнутые или прямые; конец клинка закруглен (Амиранис-гора, Начеркезеви, Элар, Эчмиадзин, Кармирванк). Среди орудий первого типа встречаются парадные экземпляры с орнаментированной литой рукояткой (Джапаридзе 1961: рис. 32, 1, 2); 2. С листовидным клинком; плечики и лезвия выгнуты; конец клинка острый (Марткопи, Удабно, Элар); 3. С подтреугольным клинком; плечики выгнуты (округлые), лезвия прямые; конец клинка закруглен (Бедени, Бакурцихе, Шулавери, Цнори, Дилича, Хаченагет, Степанакерт и др.).

Орудия с подтреугольным клинком характерны для кавказской металлообработки эпохи ранней бронзы. Многочисленные параллели кинжалам с вогнутыми лезвиями (тип 2с по Д. Стронаху) обнаруживаются в Малой Азии (Ахлатлибель, Текекей, Соли, Караташ, Икизтепе: Stronach 1957: fig. 2, 7; Mellink 1969: pl. 74, 22; Bilgi 1990: fig. 14, 185, 189). В Икизтепе, в слое РБВ-III также представлены кинжалы с литой металлической рукояткой, близкие по форме к сачхерским (Bilgi 1984: fig. 13, 45; 1990: fig. 14, 182, 183). Напротив, листовидные ножи и кинжалы, найденные только в трех курганах марткопской группы, неизвестны ни в более древних, ни в более поздних памятниках Южного Кавказа. Вопрос их происхождения остается пока открытым. Известно, что на Северном Кавказе листовидные ножи впервые появляются в постновосвободненских памятниках — на успенском этапе (Андрюковская, Келермесская, Фарс, Успенская, Нежинская, Константиновская, Бамут) и становятся характерными для инвентаря “северокавказских”, дольменных и катакомбных предкавказских погребений. Примечательно, что по своим параметрам (относительно широкий и короткий клинок с наибольшим расширением у середины его длины) часть ножей из Марткопи особенно близка к экземплярам предкавказской катакомбной культуры. Центры производства листовидных ножей СБВ располагались в Закубанье, Центральной части Северного Кавказа и в Центральном Предкавказье.

На Древнем Востоке черенковые ножи с клинком листовидной формы, с острым концом известны в памятниках аккадского времени — в Иране (Тепе Гиссар, Шахдад) и в Пакистане (Мохенджо-Даро, Чандху-Даро: Горелик 1993: табл. IV, 2, 4, 5; Schmidt 1933: pl. CXIX, H167; Nakemi 1997: 639, 1—3; 640, 8—10, 13—16, 18, 19). В пользу заимствования листовидных ножей бедено-алазанского этапа с Юга свидетельствует обнаружение такого ножа на промежуточной территории — в Эларе (Армения), а также изготовление марткопских экземпляров из оловянистой бронзы, поскольку появление в Закавказье (именно на этом этапе) сплавов с оловом связывается с Армянским нагорьем или с Ираном. Можно также рассматривать район Марткопи в качестве промежуточной территории при распространении листовидных ножей с Древнего Востока на Северный Кавказ. Это подтверждается обнаружением листовидного ножа в Бамуте, в инвентаре погребения, демонстрирующего признаки культур беденского круга (Мунчаев 1986: 27—39, рис. 3, 5).

Кинжалы первого типа с прямыми или вогнутыми лезвиями время от времени проникали через перевалы на Северный Кавказ. Находки их известны из Чечни (Орджоникидзево могилишник; раскопки С. Б. Буркова в 1989 г.), Северной Осетии (Загли; Ростунов 1986: рис. 31, 2), Закубанья (Клады; раскопки А. Д. Резепкина в 1990 г.; Большой Петропавловский могилишник; раскопки А. Н. Гея в 1984 г.). В качестве импорта из района Сачхере (либо подражания сачхерским образцам) можно рассматривать кинжал с литой металлической рукояткой из ст. Константиновской (Tallgren 1931: 139, abb. 50). Еще один сильно сточенный нож с литой орнаментированной рукояткой найден на Нижнем Дону (Братченко 1976: рис. 23, 4). Наконец, из позднейшего погребения в Поингулье (Старогорожено) происходит кинжал с литой металлической рукояткой, напоминающий сачхерские экземпляры (Шапошникова и др. 1986: рис. 16, 18). Несмотря на значительное расстояние, находку из Старогорожено сближает с кавказскими экземплярами не только внешнее сходство и технология изготовления, но и состав металла (мышьяковистая бронза), а также найденные в погребении серебряные спиральные пронизки (Шапошникова и др. 1986: рис. 16, 9, 11). Близость кинжалов из Сачхере и Поингулье позволяет синхронизировать названные памятники. А. Л. Нечитайло сопоставила кинжалы с литой рукояткой из Сачхере и Старогорожено с новосвободненским кинжалом из раскопок Н. И. Веселовского в могилишнике Клады (Нечитайло 1991: 38). На наш взгляд, это сопоставление ошибочно: во-первых, новосвободненские памятники относятся к более древней эпохе и хронологически предшествуют как памятникам бедено-алазанского этапа БТК, так и позднейшим памятникам Северного Причерноморья; а во-вторых, новосвободнен-

ский кинжал имеет рукоятку иной формы (круглое сечение и без отверстий). Можно предположить, что сближающий эти изделия признак (дуговидный “наплыв” рукоятки на клинок) свидетельствует о существовании общих прототипов таких кинжалов на Переднем Востоке. Как известно, кинжалы с подобной формой “наплыва” рукоятки на клинок изготавливались в III тыс. до н. э. в районе Армянского нагорья (Арслантепе, Аладжа, Икизтепе).

Единственным экземпляром (курган № 2 у сел. Ховле) представлен в рассматриваемых памятниках черенковый нож так называемой пиковидной или пламевидной формы: его клинок подпрямоугольный, боковые стороны вогнутые; лезвия располагаются в расширенной верхней части клинка, конец клинка острый. “Пиковидные” ножи характерны для памятников развитого этапа катакомбной культурной общности и, по мнению А. Л. Нечитайло, попадают на Северный Кавказ вместе с населением степной зоны (Нечитайло 1991: 93, рис. 38). Однако обнаружение “пиковидного” ножа в горах Кабардино-Балкарии (сел. Советское) вместе с “бритвой” беденского облика и топором сачхерского типа позволяет предполагать более раннее появление этих орудий на Кавказе, синхронное существованию бедено-алазанских памятников, что и подтверждает находка в сел. Ховле.

Черенковый наконечник копья. На раннем этапе такие наконечники имели прямой черенок. В поздних же памятниках КУАК и в “ранних курганах” представлены наконечники с изогнутым черенком (для более надежного крепления наконечника к древку). Таким образом, усовершенствование формы черенка играет роль в их датировке. Наиболее ранние экземпляры подобных усовершенствованных копий появились на Древнем Востоке во второй половине III тыс. до н. э.; эта же дата должна быть принята в качестве *terminus post quem* и для появления подобных копий на Южном Кавказе.

Локальным вариантом усовершенствования насада копий является прямой черенок с отверстием для штифта, известный из памятников аккадского периода в Сузах, Телль Джудейде, а также в Луристане³.

Отсюда такие наконечники, очевидно, попадали на Кавказ, где один экземпляр представлен в Кировакане (Мартирисян 1964: рис. 4, в), а другой — в погребении сачхерского могильника Царцис гора (Куфтин 1949: табл. LIX, 1). Копье из Царцис гора по форме пера, сечению черенка и наличию округлого ребра вдоль пера сближается с экземпляром

³ В аккадское время подобное штифтовое крепление применяется и для четырехгранных наконечников (Тепе Гавра, Мунбага, Ур, Сузы: М. Muller-Karpe 1996: 287, abb. 29, 7, 34).

из Суз аккадского времени. Поскольку применение штифта для крепления черенкового копья является признаком хронологически поздних изделий, не представляется типологически не оправданным сопоставление сачхерского копья с архаичными наконечниками из Арслантепе (без штифтового соединения: Кавтарадзе 1983: 112; Пхакадзе 1988: 56). Таким образом, как полагал Б. А. Куфтин (1949: 74), копьё из Царцис гора может быть датировано аккадским периодом. Эта датировка, вероятно, может быть перенесена на ранние погребения могильника, поскольку копьё происходит из насыпи кургана, куда, по мнению Б. А. Куфтина, могли попасть вещи из ранних могил, разрушенных при совершении впускных захоронений.

Другой вариант насада копий — с петлевидно-изогнутым черенком — представлен на Южном Кавказе двумя экземплярами из погребения беденского этапа в Бакурцихе (Пицхелаури 1982: 18, табл. XX, 1). Копья с подобным насадом известны из Сирии (клад на пос. Телль Джудейде: Braidwood R. & L. 1960: 376, fig. 293, 4) и Палестины (Гидеон, Мегиддо: Pritchard 1962: 16, lower row, right; Yadin 1963: 156, fig. left). Палестинские копия с петлевидно-изогнутым черенком относятся к концу РБВ, т. е. к 2300—2100 гг. до н. э.

Четырехгранный наконечник копья (“штык”). Подобные металлические наконечники с прямым черенком для насада на Южном Кавказе обнаружены в насыпи одного из сачхерских курганов в Царцис гора и в погребении слоя “С” на поселении Квацхела. В могильнике Квацхелы найден также один наконечник с изогнутым черенком, что позволяет, как и в случае с черенковыми листовидными наконечниками, относить его к типологически развитому варианту.

Недавно немецкий археолог М. Мюллер-Карпе заново проанализировал штыковидные наконечники, известные на Древнем Востоке (Muller-Karpe 1995: 279—290). Подобные наконечники впервые появились в памятниках раннединастического III периода в Месопотамии, а наиболее широкое их распространение зафиксировано в периоды от аккадского до староассирийского (2400—1800 гг. до н. э.). В этот период четырехгранные наконечники появляются в Северной Месопотамии, Сирии, Иране, на Армянском нагорье. М. Мюллер-Карпе выделяет две их разновидности (Muller-Karpe 1995: 284): более древние — с плавным переходом от клинка к черенку и более поздние — с резким уступом, отделяющим черенок от клинка. Кавказские экземпляры принадлежат ко второй разновидности, впервые появляющейся, судя по датированным передневосточным образцам, в аккадское время и существовавшей также в период третьей династии Ура.

Итак, типологический анализ кавказских штыковидных наконечников опровергает мнение Э. М. Гогодзе и Г. Л. Кавтарадзе, что их следует сопоставлять не с аккадскими (как предполагал Б. А. Куфтин), а с более древними месопотамскими наконечниками из могильника в Уре (Гогодзе 1972: 102; Кавтарадзе 1983: 110, табл. V, 14). К тому же, логично предположить, что четырехгранные наконечники были заимствованы кавказскими мастерами не из Южной Месопотамии, где они имели хождение в раннединастический III период, а в более позднее время, на которое приходится их наиболее широкое распространение — в расположенных к югу от Кавказа областях. М. Мюллер-Карпе (Muller-Karpe 1995: 287) отметил особенность кавказских наконечников (приостренный конец черенка, тогда как у передневозточных экземпляров конец черенка уплощенный), которая не позволяет считать их прямым импортом с Юга, а скорее творческой переработкой передневозточного оружия, как это произошло при создании сачхерских боевых топоров.

Таким образом, появление наконечников с резким уступом начиная с аккадского времени позволяет установить *terminus post quem* для кавказских четырехгранных копий из Сачхере и Квацхелы. Не может изменить ситуацию с их датировкой и обнаружение четырехгранного орудия на поселении Кюль-тепе II (судя по размерам, это не наконечник копья, а шило либо пробойник); мы не исключаем также возможность существования местных прототипов подобного оружия, изготовленных из рога и кости. Все эти наконечники имели плавный переход от клинка к черенку, следовательно, они, в отличие от экземпляров из Сачхере и Квацхелы, с резким уступом на корпусе, относятся к архаичному варианту.

“Бритвы”. Это условное название своеобразных черенковых орудий, рабочая часть которых представляет собой форму в разной степени расширенного овала. Такие изделия найдены в могилах беденалазанской группы — в курганах №№ 2 и 5 на Беденском плато, в кургане № 1 в Цнори, курганх №№ 3 и 5 в Марткопи, погребении № 1 в Храмеби и в погребении с беденской керамикой из сел. Беркабер в Армении (Гобеджишвили 1980: рис. 10, 11; Дедабришвили 1979: табл. XIV, 3; Абесадзе 1980: рис. 1, 3, 4, 10; Джапаридзе и др. 1986: рис. 3, 4; Авалишвили 1990: табл. XII, 165; Гаспарян 1987: 231, рис. 1). Назначение этих предметов трактуется по-разному. Иногда их называют штандартами. Однако откованные острые края-лезвия скорее свидетельствуют в пользу их применения как режущих орудий. Черенок с раскованным концом напоминает насад ножей из синхронных памятников Кавказа. Кроме того, расположение их в погребениях не дает оснований предполагать существование у этих изделий длинной рукоятки. Изделия подобной формы, являвшиеся скорее всего бритвами были широко рас-

пространены на Древнем Востоке. Наибольшую близость к кавказским экземплярам демонстрируют бритвы из могильника Караташ-Семайюк в Ликии (РБВ-III — 2400—2200 гг. до н. э.: Mellink 1969: pl. 74, 19, 20), а также из синхронных погребений в Тиль Барсобе в Сирии (Schaeffer 1948: 83, fig. 82, 1).

Присутствие такого изделия в инвентаре вождеского погребения на Южном Кавказе может отражать связь умершего с жреческой функцией; возможно, это результат заимствования местными вождями южных элементов культовой практики. Как известно, ритуальное сбривание волос занимало важное место в культовой практике Древнего Востока (История Древнего Востока 1983. Ч. I, гл. II: 121). Подобное заимствование может рассматриваться на фоне таких значимых заимствований как трупосожжение, размещение праха вождя на погребальной повозке или на носилках, погребения сопровождающих лиц и др. Подобные “переключки” предполагают определенную степень культурной близости элиты кавказского общества с передневосточной, а также их толерантность. Отметим, что одна подобная “бритва” через перевалы попала на север, в Кабардино-Балкарию, где она (вместе с топором сачхерского типа) обнаружена в подкурганном погребении у пос. Советский (Чеченов 1969: рис. 8).

В комплексах встречаются также серии металлических предметов, имеющих иное, менее утилитарное назначение. В определенной мере они связаны с искусством и духовной сферой. Это различные украшения, несущие символическую нагрузку (амулеты, обереги), часть из которых являлась принадлежностью погребального костюма умершего. Последние, безусловно, являются этнографическим признаком, что позволяет проследить наличие связей с другими этническими группами. Часть подобных предметов в СБВ появляется впервые, другая часть видоизменяется, трансформируется в изделия иного облика.

Эволюцию ювелирного дела на Переднем Востоке детально проанализировала К. Максвелл-Хислоп (Maxwell-Hyslop 1971), что дает возможность сопоставить кавказские украшения с древневосточными. Автор отмечает принципиальные перемены в развитии ювелирного дела Переднего Востока, произошедшие в аккадский период (Maxwell-Hyslop 1971: 17—19). С ее точки зрения, в этот период намечается трансформация ювелирного ремесла, которое в предшествующий период обслуживало прежде всего храмовые священнодействия. Роль ювелирного дела как в храмовых, так и в семейных ритуалах постепенно возрастает, что стимулировало при Саргоне и его преемниках поиски сырья за пределами Месопотамии.

Есть признаки того, что в аккадский период существовала серьезная нехватка в снабжении Месопотамии золотом и оловом. Это выразилось

в экономии золота при использовании его в ювелирном производстве: в частности, бусы из Ура имели медную или пастовую основу и лишь покрывались тонким листовым золотом (техника плакировки); серьги начали изготавливаться меньшей величины; стали популярными бусы и подвески миниатюрных размеров. При изготовлении украшений возросло использование серебра, заменившего золото. По-видимому, этот металл добывался легче, чем золото.

Особенностью аккадского периода было распространение месопотамского влияния (в частности, шумерских изделий и технологических приемов) на Анатолию, Иран, Сирию, Кавказ. По-видимому, это объясняется нехваткой сырья в Месопотамии и передвижением в эти области купцов, торговых агентов и ремесленников (в том числе и ювелиров) к местам его добычи. Анатолийские походы Саргона и кампании Нарам-Сина в горы Загроса были предприняты в целях открытия новых маршрутов для доставки сырья (в первую очередь металла и лазурита) в Месопотамию.

Новые центры ювелирного производства в Браке, анатолийском Кюльтепе, Трое и Гиссаре начинают использовать изобретенные шумерами приемы — зернь, филигрань, а также типы украшений, встречающиеся в могильниках Ура, Киша и Урука (Maxwell-Hyslop 1971: 36—37). Мастерство, с которым выполнены украшения из Брака и Кюльтепе, позволяет предположить, что здесь работали шумерские ювелиры, переселившиеся ближе к источникам сырья. Одновременно, в новых центрах ювелирного производства появились черты, отличавшие их продукцию от изделий шумерских мастеров. Так, если в Шумере филигрань и зернь использовались раздельно (а зернь применялась вообще очень редко), то на украшениях из новых центров эти два приема, как правило, совмещаются в одном изделии; использование же зерни становится одним из маркирующих признаков стиля их продукции.

Исторически важно, что многие новации ювелирного дела Кавказа в СБВ обнаруживают свои прототипы на Юге, в памятниках Анатолии, Северной Месопотамии, Сирии и Армянского нагорья аккадского периода. Это различные медальоны, подвески, серьги, булавки и пр. Так, кольцевидный или дисковидный медальон на металлической “ленте” относится к широко распространенному на Древнем Востоке типу украшений, символизирующих богиню любви и войны Инанну-Иштар-Шавушку. На староассирийском языке эти амулеты обозначались термином *dudittu[m]* (Дьяконов 1990: 47). Впервые кольцевидные кулоны появляются в аккадское время в Шумере и в Северной Месопотамии (Ур, Урук, Брак, Телль Асмар). Отсюда они попадают на Армянское нагорье (Кюльтепе, Аладжа, Хорозтепе, Титрисуюк). Кольцевидные куло-

ны из Брака и Кюльтепе, поразительно напоминающие кавказские экземпляры, датируются концом аккадского периода (XXII в. до н. э.: Maxwell-Hyslop 1971: 29). Кулоны из Брака спаяны из чередующихся гладких и перекрученных золотых проволочек (Maxwell-Hyslop 1971: 29, pl. 27); в кулоне из Кюльтепе использованы также змеевидно-изогнутая проволока и зернь (Maxwell-Hyslop 1971: 47, pl. 37b). К кулонам припаяна золотая “лента”, в петлевидный конец которой продевалась нить ожерелья.

Кавказские кулоны и амулеты, в отличие от древневосточных, отливались по утрачиваемой восковой модели (обычно из бронзы, редко из серебра), рельефный же декор копирует в деталях орнаментацию древневосточных изделий. Имитируется в литье даже полоска металла, припаянная к древневосточным украшениям. Отмеченные подробности показывают, что передневосточные изделия служили прототипами кавказским, а не являлись дериватами последних, как это трактуют некоторые исследователи (см.: Черных 1978; Авилова, Черных 1989 и др.). Последнее подтверждается двумя соображениями: во-первых тем, что кавказские мастера копировали в литье более совершенные технические приемы передневосточных ювелиров — зернь и филигрань; во-вторых, древневосточные амулеты являлись продукцией центров златокузнечества, в то время как на Кавказе их копии отливались в небольших общинных мастерских (Рысин 1997: 118).

Любопытно распределение подобных кулонов на Кавказе. На Северном Кавказе, где они являются одним из маркирующих признаков так называемой северокавказской общности СБВ, они распространены почти повсеместно, а на Южном Кавказе найдены только в инвентарях могильников Сачхерского района.

Рассматриваемые кулоны распространялись с Юга на Северный Кавказ через открывшиеся к тому времени перевалы: находки кольцевидных кулонов в Северной Осетии (Верхнекобанский могильник; раскопки В. Л. Ростунова в 1990 г.) и в Кабардино-Балкарии (Нальчик; Деген 1941: 258, рис. 35—36) — у Мамисонского и Крестового перевалов указывают на пути их перемещения. На Южном Кавказе пункты продвижения обозначены находками кулонов в сачхерских могильниках (Сачхере, раскопки Т. Такайшвили 1910 г.; Корети — курган в Пасиети, 1955 г.; Начеркезеви — курган № 2, 1955 г.; Джапаридзе 1961: 129, рис. 23, 3; табл. XII, 5; XIV, 3). Район Сачхере можно рассматривать как промежуточную территорию на пути из Армянского нагорья или Северной Месопотамии на Северный Кавказ. Таким образом, мы получаем еще одно подтверждение для синхронизации памятников СБВ Кавказа

(в том числе погребений сачхерских могильников) с комплексами акадского периода.

Кольцевидные кулоны также синхронизируются с бедено-алазанскими памятниками. Такая синхронизация обеспечивается их совместным присутствием с привнесенными из Закавказья беденскими сосудами в инвентаре катакомбы № 1 Великентского могильника (Гаджиев 1987: 11, рис. 3) и вместе с булавкой беденского облика с плоской головкой и роговидными выступами в склепе № 5 Гинчинского могильника (Гаджиев 1969: 42, рис. 18, 12—14, 22). В склепах Гинчинского могильника присутствует также керамика, подражающая беденской столовой посуде (Магомедов 1984: 36). Исследователи неоднократно упоминали о связях беденской и великентской культурных групп, прослеживаемых, в частности, по материалам из великентских катакомбных могильников (Гаджиев, Корневский 1984; Гаджиев 1991; Магомедов 1984; и др.). Однако при установлении синхронизации памятников Южного и Северного Кавказа по материалам склеповых могильников следует учитывать продолжительность бытования подобных комплексов, ибо в некоторых катакомбах содержалось до сотни погребенных.

Длительное функционирование склепов Великента подтверждается присутствием в их инвентаре изделий как раннего, так и среднего этапов металлообработки СБВ Северного Кавказа (Гаджиев, Корневский 1984: 26). При этом вопрос о соотношении беденских импортов в Дагестане с этапами северокавказской металлообработки остается открытым (до полной публикации великентских комплексов). О вероятном “переживании” беденских культурных традиций на Северном Кавказе свидетельствуют находки беденской посуды в Чечне и в Северной Осетии вместе с керамическими формами, характерными для предкавказской катакомбной культуры (реповидный горшок, курильница на крестовидной подставке; Зураев 1991: 8; Бурков 1991: 4, 5; Григорьева 1991: 6). Примечательно также наблюдение над технологией производства украшений из Великента: в катакомбе № 1 все украшения отлиты по восковой модели, а в катакомбе № 9 (раскопки Р. Г. Магомедова в 1983 г.) обнаружены кольцевидные медальоны и булавки, выполненные уже с применением техники филигрании, впервые освоенной на Южном Кавказе на триалетско-кировкаканском этапе БТК. Таким образом, часть великентских склепов использовалась, возможно, и на позднем этапе БТК. Нам неизвестно, существовала ли в Дагестане в это время “пережиточная” беденская группа; во всяком случае, нет данных о находках в катакомбе № 9 беденской столовой посуды.

Грибовидные или фаллические подвески. Другой тип украшения-амулета, распространившийся в СБВ на Северном Кав-

казе и также имеющий прототипы на Переднем Востоке — бронзовый фаллический стерженек с шариком на одном конце и с ушком для подвешивания — на другом (Деген 1941: 258, рис. 36; Корневский 1984: 261, рис. 141). Подобные фаллические подвески (из золота) представлены в составе ожерелий в кладе “А” в поздней Трое II (Schliemann 1881: 514, № 723, 738)⁴. Датировка этого клада помещается в пределы аккадского периода (Трейстер 1996б: 198—200). Аналогичные подвески найдены также в могилах Аладжи и в погребении РБВ могильника Титрисуюк на Верхнем Евфрате (Algaze et al 1995: fig. 33). Примечательно, что материалы из Титрисуюка демонстрируют разноплановые связи и контакты как с Закавказьем, так и с Центральной Анатолией и даже с Эгейским регионом (Algaze et al 1995: 39, fig. 35, 37). На промежуточной территории, на Южном Кавказе, такие подвески входят в состав инвентарей сачхерских и квацхельских могильников (Джапаридзе 1961: 180, рис. 36, табл. XX, 19; Джавахишвили, Глonti 1962: 62, табл. XXXVI), отнесенных нами к начальному этапу СБВ (бедено-алазанский этап БТК).

Якоревидные подвески. Эти изделия обнаружены на Южном Кавказе в Амиранис гора (Орджоникидзе 1983: табл. 24, 2), в погребении сачхерского могильника Корети и в могильнике Ахчис-вели (Джапаридзе 1961: табл. XX, 6, 7). На Северном Кавказе якоревидные подвески найдены в склепах Великента, в могильнике у сел. Миатлы и в “северокавказском” погребении Усть-Джегутинского могильника (Нечитайло 1978: рис. 39, 74). Прототипами кавказских якоревидных подвесок являются, вероятно, аналогичные украшения-амулеты из памятников эгейского региона, датируемые концом РБВ (Evans 1956: 100, fig. 7). Попасть на Кавказ они могли либо эстафетным путем через территорию Анатолии, либо по морю.

Конические подвески — колпачки с петелькой для подвешивания. Найдены в могильнике Сачхери. В качестве прототипов сачхерских подвесок можно рассматривать золотые экземпляры из могил Аладжи.

В погребении кургана № 3 на р. Хаченагет в Карабахе с типичной беденской посудой была найдена биконическая бусина, скрученная из медной проволоки, плакированной тонким листовым золотом (Кушнарева 1954: 168, рис. 1, 4). Аналогичные бусы из золотой проволоки из-

⁴ Сферо-коническая головка троянской грибовидной подвески состоит из надеты на конец стержня полой бляшки (Трейстер 1996б: 210). Кавказские же подвески — цельнолитые, что подтверждает их вторичность по отношению к троянским.

вестны из погребений в Уре (раннединастический III и аккадский периоды; Maxwell-Hyslop 1971: 11, pl. B). Подобные бусы из золотой проволоки, обнаруженные в погребении № 4 могильника Вадальжык в Талыше, на северо-западе Ирана были датированы К. Шеффером 2100—1900 гг. до н. э. (Schaeffer 1948: 424, pl. LXI), однако К. Максвелл-Хислоп с большим основанием датирует их аккадским периодом или III династией Ура (Maxwell-Hyslop 1971: 20, pl. 15a). Как упоминалось выше, техника плакировки листовым золотом стала характерной чертой ювелирного производства Переднего Востока именно в аккадскую эпоху; это подводит хронологическую базу под Хаченагетское погребение.

Золотые трубочки-пронизки с глубокими поперечными нарезками. Эти украшения представлены в инвентаре кургана № 4 в Марткопи (Djaparidze 1993: abb. 7) и в погребении могильника Урбниси (Чилашвили 1964: 20, рис. 4, 5). Бусы этого типа входят в ассортимент украшений, выпускавшихся анатолийским центром златокузнечества в Аладже и найдены в инвентаре погребений F и H (Kosay 1951: pl. CXXXII; CXIX, 2). Приведенная типологическая параллель позволяет золотые трубочки-пронизки из Марткопи и Урбниси датировать в пределах 2400—2200 гг. до н. э., что совпадает с общим обликом названных комплексов.

Большое место в инвентарях погребений занимают **булавки** различных типов, часть из которых предназначалась для застёжки одежды⁵.

Булавки с петлевидной головкой и проволочной обмоткой стержня (кипрский тип). Распространение булавок кипрского типа было изучено археологом П. Флоренцосом (Flourentzos 1978: 408—419). Подобные булавки имеют широкий ареал и продолжительное бытование. Впервые они появились в Египте в додинастический период. В III тыс. до н. э. такие булавки распространились в Сирии, Палестине, Месопотамии и Северном Иране. Из сиропалестинского региона они попадают на Кипр и в Анатолию (Flourentzos 1978: fig. 3), а из Анатолии — в Центральную и Восточную Европу, где их находят в памятниках начала II тыс. до н. э. (Flourentzos 1978: 410—416, fig. 2, 4).

На Кавказе булавки этого типа найдены в погребениях могильников Амиранис-гора, Дзагина, Сачхере, Коринто. Сачхерские экземпляры,

⁵ Чередующиеся валики и шишечки, а также характерные для декора металлических изделий СБВ Северного Кавказа “змейки” и шишечки или “веревочки” украшают также рукоятки кинжалов из царского могильника в Уре и навершия жезлов из Луристана (середина — вторая половина III тыс. до н. э.), что позволяет предполагать Южное происхождение и для этого, казалось бы, местного кавказского мотива.

как отмечают О. М. Джапаридзе и В. Л. Ростунов, отличаются от кипрских и европейских утолщением на стержне у нижнего конца проволоочной обмотки; иногда это утолщение выполнено в виде дисковидного выступа, отделяющего нижнюю часть стержня булавки (Кушнарера, Чубинишвили 1970: рис. 43, 10, 21). В. Л. Ростунов полагает, что такая особенность (как и сравнительно крупные размеры) сачхерских булавок отражают их локальное развитие и свидетельствуют о более позднем их возрасте по сравнению с ближневосточными булавками и с экземплярами из Дзагина и Амиранис-гора (Ростунов 1986: 30). Однако датирующие возможности сачхерских булавок с утолщением на стержне автором не были использованы в полной мере. Нами установлено, что среди многих десятков экземпляров подобных булавок из древневосточных комплексов, изделия с утолщением на верхней части стержня обнаружены только в восьмом и одиннадцатом слоях Телль Джудейде в Сирии⁶ и в шестом слое Тепе Гавра (Braidwood R. & L. 1960: 376, fig. 292, 14, 15; Schaeffer, 1948, fig. 90, 1). Эти образцы датируются аккадским временем; очевидно, такую датировку можно перенести и на сачхерские погребения с подобными булавками.

Т-образные булавки. Эти булавки недавно изучены С. Н. Корневским (1986: 12—24). Им была выделена ранняя группа — I. Ее отличают гладкий стержень, поднятые вверх перекладины и отверстие на верху стержня (Корневский 1986: 13, рис. 1, 1—4). Булавки первой группы сосредоточены в сачхерских могильниках Имеретии. Кроме того, одна булавка происходит из поселения Хизанаант-гора в Квемо-Картли; еще один экземпляр обнаружен в могильнике у сел. Кобан в Северной Осетии (Ростунов 1986: рис. 2, 3). Булавки первой группы существовали в ранних сачхерских погребениях и в поздних памятниках КУАК (III этап по периодизации К. Х. Кушнаревой).

В степном Предкавказье найдены роговые булавки с горизонтальной перекладиной и утолщенными концами, типологически близкие южнокавказским Т-образным булавкам, но традиционно именуемые молоточковидными. Мы склонны рассматривать роговые булавки как подражания кавказским металлическим прототипам⁷.

Анализ молоточковидных булавок, привлекших внимание многих исследователей (Б. А. Латынин, В. А. Сафронов, А. М. Смирнов, В. Я. и

⁶ На датирующее значение экземпляров из Телль Джудейде указал в свое время Э. М. Гогадзе, однако он привел ошибочную дату этого памятника — начало III тыс. до н. э. (1972: 102).

⁷ Уменьшение длины стержня и перекладин мы объясняем особенностями используемого материала — кость, рог.

А. В. Кияшко, А. Н. Гей, С. Н. Корневский), позволил установить, что ранняя их группа включает экземпляры с цилиндрическим стержнем, сравнительно широкими перекладинами и отверстием в верхней части стержня. Иногда встречается декор из поперечных кольцевых нарезок на стержне и на перекладинах.

Молоточковидные булавки ранней группы (с поднятыми вверх перекладинами) обнаруживаются в погребениях ямной (городцовской) культуры и новотитаровской группы (Большой Петропавловский могильник, к. № 1, п. 2; к. № 9, п. 9; Красногоровка III, к. № 5, п. 13; Маяк II, к. № 3, п. 4; Батуриная II, к. № 2, п. 12; ст. Переяславская, к. № 2, основное погребение; станция Минутка, к. № 1, п. 7). Однако наибольшую типологическую близость к сачхерским Т-образным булавкам обнаруживают экземпляры из позднеямного (или новотитаровского) погребения у хутора Дальнего в Прикубанье (к. № 2, п. 16, раскопки Н. Ю. Лимберис в 1984 г.). Булавки из хутора Дальнего сближаются с сачхерскими по пропорциям, в том числе по соотношению длины стержня и перекладин, а также поднятыми перекладинами.

На Южном Кавказе существовала также разновидность коротких булавок с поднятыми перекладинами (вероятный прототип У-образных булавок, распространенных в горной зоне центра Северного Кавказа). Подобные булавки с коротким стержнем обнаружены на поселении Арич в Армении (Хачатрян 1975: 57, рис. 15) и в горах Северной Осетии (погребение № 13 Кобанского могильника; раскопки В. Л. Ростунова в 1991 г.). Роговой экземпляр У-образной булавки с коротким стержнем найден в позднеямном погребении в Прикубанье — ст. Батуриная, к. № 3, п. 4 (Бочкарев и др., 1983, рис. 2, 19). Датировать эти булавки позволяют подобные по форме серебряные экземпляры, обнаруженные в составе клада в Библе и в поздней Трое II (Maxwell-Hyslop 1971: 55, fig. 40).

Распространение с Юга на Север через перевалы Т-образных булавок фиксируется по находкам в Нальчике, Чегеме и Кобани. В свою очередь, роговые молоточковидные булавки проникали с Севера на Южный Кавказ. Одна такая находка сделана у южного края перевальных троп в ущелье реки Ксани, у сел. Коринто (Djaparidze 1993: 489, abb. 12; Джапаридзе 1994: 181). Здесь, в подкурганной могиле были обнаружены останки двух погребенных. Возле женского костяка (положенного на спину с сильно подогнутыми ногами) находились три роговые молоточковидные булавки ранней группы, подвески из просверленных зубов собаки и булавка с петлевидной головкой, а около мужского (лежащего скорченно на правом боку) были положены глиняные сосуды и шаровидная каменная булава. Одна из возможных трактовок: это погребение семейной пары, в которой женщина, облаченная в местные украшения,

происходила из Предкавказья, тогда как мужчина был южнокавказского происхождения. Таким образом, погребение из Ксанского ущелья также служит примером взаимных контактов населения обеих склонов Кавказа и свидетельствует о синхронности позднеямных памятников с “ранними курганами” бедено-алазанского этапа БТК.

Для датировки Т-образных или молоточковидных булавок Кавказа существенное значение имеет обнаружение их серебряных и золотых прототипов в слоях поздней Трои II и III, а также в могилах Аладжи (Branigan 1974: cat. № 2057; Kosay 1951: pl. CXXVI; CXXXII). Роговая молоточковидная булавка найдена также в пятом городе Лерны в Греции (начало СБВ — 2200—2000 гг. до н. э.: Caskey 1956: 160: pl. 47b). Таким образом, как металлические Т-образные булавки, так и их роговые подражания бытовали в последней трети III тыс. до н. э.

Булавки с двухволютной головкой. Подобные булавки анализировали И. Н. и Л. И. Хлопины (Khlopin, Khlopina 1989: 99—111). Авторы пришли к выводу, что двухволютные булавки впервые появляются в юго-западной Туркмении в середине IV тыс. до н. э. (закаспийский тип). В III тыс. до н. э. такие булавки через районы Южного Прикаспия и Ирана попали на Южный Кавказ, где под влиянием булавок закаспийского типа появилась их местная модификация (закавказский тип). В упомянутой работе выделены 4 варианта двухволютных булавок закавказского типа, один из которых представлен экземплярами из драгоценных металлов, найденными в элитных погребениях бедено-алазанского этапа. Во второй половине III тыс. булавки этого типа проникли в Малую Азию и Сирию (Khlopin, Khlopina 1989: taf. 2). Авторы отмечают, что на Кавказе двухволютные булавки бытовали до начала I тыс. до н. э., тогда как их появление в Малой Азии и в Сирии представляет сравнительно короткий эпизод; в начале II тыс. до н. э. они здесь исчезают (Khlopin, Khlopina 1989: 113—114).

Попытку использовать датирующие возможности двухволютных булавок предпринял В. Л. Ростунов. В качестве типологической параллели булавке из погребения № 1 могильника Загли Барзонд в Северной Осетии (закаспийский тип) он приводит экземпляр из Трои, что дает датировку 2300—2100 гг. до н. э. (Ростунов 1986: 32, рис. 2, 4). Однако, учитывая длительность бытования булавок закаспийского типа и возможность их проникновения, минуя Кавказ, в Малую Азию через Иран, мы считаем их малопригодными для точного датирования кавказских памятников. Большую ценность для целей датирования представляют булавки закавказского типа. Так, экземпляры из Дзагины и Квасатали с ромбовидным щитком ниже волют (вариант 3 по Хлопиным) обнаруживают точное соответствие с булавами из Угарита (Угарит Древний II —

2200—2000 гг. до н. э.; Schaeffer 1962: 331, fig. 2) и из Икизтепе (2300—2100 гг. до н. э.; Bilgi 1984: fig. 16, 198). Булавки с плоской головкой и роговидными выступами на концах (вариант 2 по Хлопиным) из курганов беденской группы (Цнори, Бедени, Триалети) были изготовлены из золота и серебра, а их орнаментированные плоские головки спаяны из двух листов металла или цельнолитые (Джапаридзе 1988). Прямым прототипом этих булавок, скорее всего, является экземпляр из помещения XXI поселения Амиранис-гора (Чубинишвили 1963: рис. 14, 4). В качестве подражания булавам из элитных беденских курганов можно рассматривать бронзовые экземпляры из склепов Гинчинского могильника в горном Дагестане (Гаджиев 1969: рис. 14, 21, 18, 22).

Булавки с плоской подтреугольной головкой и спиральными роговидными выступами (вариант 1 по Хлопиным) найдены в поздних памятниках КУАК — Бешташени, Урбниси, Квацхела, Арич (Кушнарева, Чубинишвили, 1970: рис. 43, 2, 4; Хачатрян 1975: рис. 15). Проникновение их на Северный Кавказ фиксируется находками в могильниках Загли Барзонд I и II в Северной Осетии (Ростунов 1988: рис. 19, 2). Измененный вариант этих булавок (с вертикально вытянутой плоской подтреугольной головкой и роговидными спиральными волютами) известен из различных памятников горной зоны Северного Кавказа — Азанта, Нальчик, Малый Харсеной, Гатын-Кале, Гинчи.

Скорее всего, все эти булавки были связаны с культом барана, широко распространенным в это время на Кавказе в связи с усилением роли отгонного скотоводства (Хачатрян 1975; Кушнарева 1993). Возможно, к этому же разряду изделий относятся и булавки с Т-образным навершием (с дисковидными утолщениями на концах навершия). На распространение культа мелкого рогатого скота еще в период расцвета КУАК, помимо булавок, указывают маленькие глиняные фигурки животных, изображения бараньих рогов на сосудах, крупные глиняные скульптуры баранов с гипертрофированными рогами (Карнут, Арич), очажные подставки с бараньими головами и фигурка пастуха с посохом (Арич; Хачатрян 1975), наконец, жертвоприношения мелкого рогатого скота при погребениях.

Булавки типа *toggle pin* (с утолщением стержня вокруг отверстия и с невыделенной головкой). На Кавказе несколько десятков металлических булавок этого типа обнаружены в склепах Великентских могильников в Приморском Дагестане. Здесь присутствуют булавки с прямым и с посоховидно-изогнутым стержнем; верхняя часть некоторых экземпляров орнаментирована (Гаджиев, Кореневский 1984: 12—13, рис. 3, 4). Подражанием подобным булавам является роговой экземп-

ляр из куроаракского слоя пещеры Муштулагты-лагат в Северной Осетии (Ростунов 1986: рис. 2, 1).

Происхождение булавок этого типа связано с Сирией и Северной Месопотамией. Самые древние экземпляры обнаружены в слоях аккадского периода в Тепе Гавре, Амуке, Тиль Барсибе, Каркемише, Чогар Базаре, Титрисуюке, Библе, Тарсе. В конце III тыс. до н. э. такие булавки попадают на Кипр (Войнос), в Караташ, Трою, Караз, Каяпинар, Угарит и в Палестину. В начале II тыс. до н. э. фиксируется большая концентрация находок подобных булавок в памятниках Сирии (Библ, Угарит) и Палестины (Мегиддо, Газа, Фара, Гезер, Иерихон, Телль-Ас). Исчезновение их совпадает с окончанием правления гиксосов в Египте. Наиболее поздние образцы булавок *toggl pin* найдены в могильнике Телль Аджуль на юге Палестины (Maxwell-Hyslop 1971: 113: pl. 74). Короткая булавка с прямым стержнем из Муштулагты-лагат находит параллели среди наиболее древних экземпляров из Библа, Амука и Угарита (аккадское время).

Великентские булавки более крупные и по пропорциям близки к экземплярам из Сирии и Палестины конца III — начала II тыс. до н. э. (Рысин 1990: 23, рис. 2). В Великенте представлены как прямые, так и посоховидно-изогнутые разновидности таких булавок, что дает возможность уточнить район, откуда их прототипы могли попасть на Северо-Восточный Кавказ. Дело в том, что на Переднем Востоке булавки *toggle pin* с посоховидно-изогнутым стержнем и без выделенной головки представляют большую редкость, а их совместное бытование с прямыми экземплярами зафиксировано только на одном памятнике — в могильнике Каркемиша в Северной Сирии (Hogarth et al 1952: pl. 60c, 61a). Таким образом, устанавливается вероятный район бытования прототипов великентских булавок *toggl pin* — это, скорее всего, область Северной Сирии. Уточняется и время проникновения булавок в Приморский Дагестан — 2300—2100 гг. до н. э.

Булавки с грушевидной головкой. Известные экземпляры с горизонтально расположенной ниже головки трубочкой из Цюри, Бедени, Османбозу и Великента (Дедабришвили 1979: табл. LXVI; Кесаманлы и др. 1984: 12; раскопки Р. Г. Магомедова в 1983 г.) являются, вероятно, локальной кавказской разновидностью, во всяком случае, нам неизвестны их находки за пределами Кавказа.

Кольца (перстни). Два кольца из листового золота с отогнутыми наружу краями обнаружены в погребении кургана № 4 у сел. Марткопи (Djaparidze 1993: abb. 7). Типологически близкие кольца (из золотого листа с отогнутыми краями) найдены в погребениях периода РД-III в Уре и Лагаше (Телло). На поверхность месопотамских колец напаяны

проволочки, образующие ячейки, заполненные пластинками из лазурита и сердолика (Maxwell-Hyslop 1971: 14, pl. 11c; Margueron 1965: pl. 42), кавказские же кольца являются, по видимому, упрощенным вариантом месопотамских экземпляров середины III тыс. до н.э.

Браслеты. В памятниках рассматриваемого периода представлены различные браслеты — в один оборот и многовитковые. Последние известны из поздних южнокавказских памятников КУАК (Хизанаант-гора, Квацхела, Элар).

Многовитковые браслеты попадают на Северный Кавказ через перевалы — в Кабардино-Балкарию (Нальчик, Чегем, Лечинкай), Северную Осетию (Загли, Дзаурикау), Чечню (Гатын-Кале, Харсеной), Дагестан (Гинчинский могильник). На Древнем Востоке многовитковые браслеты известны в Малой Азии аккадского времени — в Трое (золотые) и в Икизтепе (бронзовые; Schliemann 1881: 512, № 689—691; Bilgi 1984: fig. 17, 245; 1990: fig. 19, 422).

Локальной кавказской формой являются браслеты в один оборот с утолщениями в центре и на концах. Подобные браслеты из элитного кургана в Цнори изготовлены из тонкого серебряного листа и были полые внутри (Дедабришвили 1979: табл. XIV, 7). Литой бронзовый браслет с такими же утолщениями обнаружен в насыпи кургана в Сачхере (Начеркезеви; Джапаридзе 1961: 131, табл. XIII, 5). По-видимому, подражаниями таким браслетам являются экземпляры из склепов Великентских могильников (Гаджиев, Корневский 1984: 17, рис. 8). За пределами Кавказа украшения подобного типа нам не известны. Для их датировки можно использовать лишь факт изготовления цнорских браслетов из листового серебра, поскольку подобная технология в ювелирном производстве Переднего Востока становится особенно популярной в конце аккадского периода (Maxwell-Hyslop 1971: 19).

Налобная лента-диадема. Бронзовая диадема из тонкого листа металла с пуансонным орнаментом и отверстиями для привязывания на концах найдена в погребении могильника Квацхела (Джавахишвили, Глонти 1962: табл. XXXVI). Из Закавказья украшения этого типа попадали на Север, где узкая бронзовая налобная лента обнаружена в подкурганном погребении в Кабардинском парке г. Нальчика (Деген 1941: рис. 34, 1). В качестве типологической параллели налобной ленте из Квацхелы Г. Л. Кавтарадзе привел серебряную диадему из Халандриани, датруемую серединой III тыс. до н. э. Нам известно множество подобных находок, относящихся к середине — второй половине III тыс. до н. э.: Ур, Мари, Ашшур, Тепе-Гиссар, Аладжауок, Демирчиуок, Кючюкюк, Троя, Троада, Мохлос, Платанос и др. Таким образом, прототипы кавказских налобных лент следует искать, скорее всего, в передневно-сточно-эгейском регионе.

Пуговицы с V-видным отверстием. Полусферическая пуговица с V-видным отверстием обнаружена на Южном Кавказе в погребении кургана № 5 на Беденском плато (Гобеджишвили 1980: рис. 29, 2). По мнению Г. Чайлда, подобные пуговицы распространялись в широком ареале носителями культуры колоколовидных кубков (Чайлд 1952: 303). Изучению этих изделий была посвящена работа Х. Барже и Ж. Арналь (Barge, Arnal 1984/1985: 63—99). Пуговицы полусферической формы, подобные беденской находке, распространены в широком ареале — от Западного Средиземноморья (Испания, Балеарские острова, Мальта, Корсика, Сардиния) до Центральной Европы (Чехия, Польша, Австрия, Швейцария) и в Северном Подунавье (Barge, Arnal 1984/1985: 68—72, fig. 2, 7, 9B, 10). Исследование Х. Барже и Ж. Арналь подтвердило предположение Г. Чайлда, что широкое распространение подобных пуговиц связано с миграцией (или с торговой активностью) носителей культуры колоколовидных кубков (Barge, Arnal 1984/1985: 90—91). Поэтому, находку такой пуговицы на Южном Кавказе, далеко от границ основного ареала распространения подобных изделий, логичнее связывать с периодом максимального их распространения, то есть с периодом расцвета и активизации носителей культуры колоколовидных кубков в Европе и Средиземноморье (последняя треть III тыс. до н. э.). Мы можем только догадываться какие реальные события стоят за появлением столь необычного предмета в погребении беденского вождя (торговая экспедиция, многоступенчатый обмен и пр.). В любом случае, обнаружение пуговицы с V-видным отверстием в значительном отрыве от их основного ареала служит свидетельством существования дальнедистанционных связей Кавказа в III тыс. до н. э. с Центральной Европой и Западным Средиземноморьем. В качестве подражания беденскому экземпляру можно рассматривать пуговицы из пасты, найденные в склепе № 5 Гинчинского могильника (Гаджиев 1969: 52, рис. 22, 11).

Височные кольца или серьги. Эти изделия являются наиболее распространенным типом металлических украшений в эпоху бронзы Кавказа. Смена типов височных колец особенно четко фиксируется на Северном Кавказе: в майкопских и новосвободненских погребениях они изготовлены из золотого прута в один оборот с несомкнутыми концами; иногда такие кольца соединены друг с другом и на них нанизаны бусины из полудрагоценных камней. В памятниках СБВ такие украшения сменяются экземплярами из проволоки в полтора и более оборота с округлыми, приостренными или раскованными концами; реже встречаются кольца в один оборот с несомкнутыми приостренными концами. В этот период они изготавливались из бронзы, реже из серебра. Кольца же из золотой или электровой проволоки на Северном Кавказе встречаются

очень редко. Вместе с тем известны экземпляры из бронзы, плакированные тонким листовым золотом (дольмен № 215 на реке Кизинка; Марковин 1997: рис. 37, 6).

На Южном Кавказе в ранних памятниках КУАК височные кольца не обнаружены. В поздних памятниках КУАК и в курганах бедено-алазанского этапа БТК представлены такие же типы височных колец, как в синхронных памятниках Северного Кавказа (Ростунов, Хашегульгов 1985: 42—45). Примечательно что, как и на Северном Кавказе, в Закавказье височные кольца изготовлены в основном из бронзы, реже из серебра; золотые же и электровые экземпляры встречаются крайне редко (Ростунов, Хашегульгов 1985: 45).

Подобная картина наблюдается и на промежуточной территории — в могильниках, расположенных у перевалов Большого Кавказа. Здесь, в Загли I и II и в Эгикальском могильниках обнаружены кольца в полтора и в 2.5 оборота из бронзовой и серебряной проволоки, имеющие параллели в серьгах из Амиранис-гора, Квацхелы, Тквиави и Гиоргицминда (Ростунов, Хашегульгов 1985: 46; 1990: 7; 1991: рис. 1, 4, 5; Ростунов 1991: 37).

Использовать эволюцию типов височных колец для синхронизации культур обеих склонов Кавказа предложил А. Н. Гей (1991: 33). По его наблюдениям, в поздних памятниках КУАК, в памятниках типа Сачхере, в ранних курганах алазано-беденского и марткопского круга присутствуют кольца, аналогичные выделяемым им типам 4 и 6, характеризующим финальные новотитаровские и раннекатакомбные памятники; это позволило автору синхронизировать процессы становления курганной культуры в Грузии и катакомбной общности в степной полосе Предкавказья.

Новые материалы и наши наблюдения дают возможность уточнить результаты сравнительного анализа, предпринятого А. Н. Геом. Так, в одном из курганов в Цнори обнаружены серьги из перекрученной проволоки (тип 5 по А. Н. Гею); кроме того, в поздних памятниках КУАК и в курганах бедено-алазанского этапа БТК встречаются височные кольца, аналогичные типам 2 и 3 по А. Н. Гею (Зиани, Марткопи, Дилича, Тианети; Пицхелаури, Варашвили 1988: т. LVI, 1, 2; Майсурадзе, Абдушелишвили 1991: табл. I, II; Джапаридзе и др. 1986: рис. 4; Djaparidze 1993: abb. 8); такие же украшения характерны для новотитаровских и позднейших погребений Предкавказья. Таким образом, сравнительный анализ височных колец служит аргументом в пользу синхронизации постновосвободненских памятников Северного Кавказа (включая позднейшие и новотитаровские памятники Предкавказья) с поздними памятниками КУАК (Амиранис-гора, Квацхела и др.) и с курганами бедено-алазанского этапа БТК. О продвижении на Север передневокавказских стандартов в ювелирном деле свидетельствуют находки литых височных

колец, украшенных рядами “шариков” копирующих зернь: серебряное кольцо обнаружено вместе с топором сачхерского типа в Орджоникидзевском могильнике на реке Фортанге (раскопки С. Б. Буркова в 1988 г.); пара золотых колец происходит из раннеполтавкинского погребения Утевского могильника в Поволжье (Васильев 1980: рис. 4, 8). Комплекс из Утевского могильника, в том числе и золотые височные кольца, сопоставляли с новосвободненскими материалами РБВ Кавказа (Васильев 1980: 49—54; Кореневский 1980: 61, 64). Мы полагаем, что рассматриваемое погребение относится к постновосвободненскому, успенскому этапу металлообработки СБВ, а типологическая близость височных колец позволяет синхронизировать рассматриваемые погребения с памятниками бедено-алазанского этапа в Закавказье. В качестве вероятных прототипов можно рассматривать серьги, украшенные продольными рядами зерни из памятников Переднего Востока второй половины III тыс. до н. э. (Троя, Кюльтепе, Тарс, Телль Брак, Ашшур, Сузы).

Для проблемы Южных связей и синхронизации памятников Кавказа и Древнего Востока особую ценность приобретает наблюдение К. Максвелл-Хислоп относительно того, что серьги в полтора оборота становятся популярным украшением и широко распространяются на Переднем Востоке начиная с аккадского периода (Maxwell-Hyslop, 1971: 28). В этот период здесь (как и на Кавказе) встречаются и массивные экземпляры с приостренными концами, и серьги из тонкой проволоки, и образцы с расплюснутыми концами (Maxwell-Hyslop, 1971: fig. 15; pl. 17—19, 24, 26). Подтверждается и отмечаемая автором тенденция вытеснения золотых височных колец серебряными и медными, плакированными золотом. Экономия золота проявляется здесь (как и на Кавказе в СБВ) в миниатюризации изделий (Maxwell-Hyslop, 1971: 19). Наконец, прототипами, появившихся в начале СБВ на Кавказе серег с раскованными концами, могли послужить популярные в аккадское время на Переднем Востоке серьги с концами откованными в виде полумесяца. Таким образом, эволюция височных колец, как и сравнительное исследование амулетов-украшений в целом, демонстрирует многочисленные параллели системного характера, что позволяет предположить интенсивность контактов между Кавказом и соседними регионами Юга, а также синхронизировать начало СБВ на Кавказе с наступлением аккадского периода на Древнем Востоке.

Золотая фигурка льва. Особо следует остановиться на этом уникальном изделии, отлитом по утрачиваемой модели, обнаруженном в самом богатом кургане № 1 в Цнори (Дедабришвили 1980: табл. LXVII). Животное передано в спокойной статичной позе; для фигурки характерна высокая степень художественного обобщения, типизации образа и де-

коративность. Утолщенные прямые лапы подчеркивают силу и мощь животного, а напряженно изогнутая линия спины и хвоста придает скульптурке экспрессию и динамизм. Голова, передняя часть туловища и передние лапы фигурки покрыты рельефным геометрическим узором. По стилю, способу моделировки, степени художественного обобщения, монументализации образа фигурка из Цнори близка к мелкой глиняной пластике из поселений КУАК в Армении (Шенгавит, Арич), хотя в последней нет той законченности и наличия характерных деталей (нет среди глиняных фигурок животных из поселений КУАК и изображений льва); за пределами же Южного Кавказа цнорский лев ближайšie аналогии обнаруживает в мелкой пластике хаттского круга (Хорозтепе, Аладжа) и в более поздних зооморфных керамических сосудах, также, вероятно, восходящих к дохеттской художественной традиции Малой Азии и Армянского нагорья (Кюльтепе, Богазкей).

Декор из изогнутых валиков и шишечек играл важную роль в системе образов раннего этапа БТК, поскольку этот мотив мы обнаруживаем по всему ареалу культуры как на золотых и серебряных изделиях (бусины или печати из Бакурцихе и Хаченагета, головки булавок из Триалети и Бедени), так и на керамических сосудах (вероятно, подражавших металлической посуде). Единственный известный нам аналог декора из чередующихся прямых валиков и шишечек представлен на серебряных височных подвесках из кладов Трои (Schliemann 1881: 554, № 881, 882). На Северном Кавказе декор из валиков и шишечек встречается на литых украшениях-амулетах, на бронзовом топорике (Тарабанов 1990: рис. 15, 1) и на имитирующей металлическую посуду столовой керамике из поселения Старчики в Закубанье (Рысин 1997: 97)⁸. Другой мотив декора на туловище цнорского льва — розетка, также выполненная из валиков и шишечек, на Переднем Востоке служил символом богини Инанны-Иштар-Шавушки. Ближайшую аналогию упомянутой розетке из Цнори представляют розетки на серьгах из погребений Ашшура и кладов Трои II (Maxwell-Hyslop 1971: fig. 32a, 46a).

Несмотря на уникальность, фигурка льва из Цнори с художественно-стилистической и функционально-семантической точек зрения позволяет соединить культурный контекст раннего этапа БТК с передневносточ-

⁸ Использование заколок для закрепления одежды относится к этноопределяющим признакам культуры. Заколки и булавки для одежды были широко распространены на Переднем Востоке с РБВ. На Кавказе они появились в элитных погребениях новосвободненской группы под влиянием Юга (престижный обмен). В СБВ булавки широко распространяются на Южном Кавказе, откуда через перевалы вместе с мигрантами попадают на Север. Их распространение подтверждает факт инфильтрации переднеазиатского населения на Южный Кавказ.

ным. Эта скульптурка была установлена на горизонтальной подставке, для соединения с которой служили отверстия в лапах животного. Учитывая обстоятельства обнаружения фигурки (на остатках церемониальной повозки), можно предположить, что она являлась штандартом, украшавшим так называемый седельный крюк (или кольцо) ритуальной повозки-катафалка. При такой трактовке фигурка из Цнори получает широкий круг аналогий в металлической пластике Кавказа (Лчашен, Арич и др.) и Переднего Востока (Ур, Тиль-Барсиб, Аладжа, Хорозтепе; Арутюнян 1982: 261: табл. V). Другая семантическая параллель заключается в известном на Древнем Востоке символическом замещении вола, онагра или лошади львом, грифоном, драконом, перевозящим в качестве упряжного животного в потусторонний мир экипаж божества или царской особы (Littauer, Grouwel 1970: 41, fig. 13, 17). На неслучайность последней параллели указывает “царский” характер погребения в Цнори: грандиозные масштабы надмогильного сооружения, поминальный комплекс, пышный инвентарь, погребения сопровождающих лиц и т. п. (Массон 1973).

Элементы и мотивы декора на художественных изделиях из беденалазанских погребений — плоские головки булавок из Триалети, Бедени и Цнори, бусины из Бакурцихе и Хаченагета, фигурка льва из Цнори — копируют в технике литья и чеканки декор, выполненный с использованием более сложных технических приемов — зерни и филиграни. Техника зерни и филиграни была изобретена в Шумере (раннединастический период). Однако вместе оба приема были впервые применены в аккадскую эпоху на продукции новых центров златокузнечества, за пределами Южной Месопотамии (в Трое, Кюльтепе, Ашшуре, Браке). Очевидно, благодаря контактам с этими новыми центрами возникли новации в ювелирном деле и на Кавказе. Это подтверждает также сравнение различных подвесок-кулонов (*dudittu[m]*). На Кавказе такие кулоны украшены шишечками (копирующими зернь), которых нет ни в Уре, ни в Уруке; зато они появляются на кулоне из анатолийского Кюльтепе. Кулоны из Ура и Чогар Базара украшены многолучевой розеткой (символ богини Инанны), искусно выполненной из изогнутой проволоки. На кулоне из Кюльтепе такая же розетка сделана более небрежно, а согнутая проволока скорее напоминает змеевидную фигуру. На кавказских же кулонах (и на других украшениях) часто встречаются литые зигзагообразно изогнутые валики, скорее всего изображающие змею. Таким образом, можно проследить трансформацию шумерской розетки в популярный на Кавказе образ змеи. Такая трансформация произошла при заимствовании некоторых амулетов-украшений не из самой Месопотамии, а из вторичных центров — Анатолии, Ирана, Армянского нагорья. Другой

характерный мотив декора кавказских металлических изделий — “веревочка” и “тесма”, также восходит к передневносточной ювелирной технологии — филигрании; таким способом кавказские мастера имитировали в литье и чеканке передневносточные украшения из перекрученной, а затем напаянной проволоки, как это было сделано на кулоне из Телль Брака. Для синхронизации кавказских культур СБВ представляет также интерес сходство стили и элементов декора некоторых металлических изделий Кавказа и Малой Азии: так, украшения и амулеты из Трои II и III и из памятников Кавказа начала СБВ сближает применение грибовидных шишечек (на височных кольцах, подвесках, браслетах и булавах), а также использование в качестве элементов декора двойных спиралей — очковидных и S-видных.

Таким образом, нами выявлены истоки различных типов ювелирных изделий из памятников бедено-алазанского круга, которые еще недавно исследователям казались неясными; последними делался акцент на их местное происхождение (см., например, О. М. Джапаридзе 1994: 81). Однако, эти изделия фабриковались в широком переднеазиатском ареале, где согласно письменным источникам в III тыс. до н. э. ювелирное дело достигло высокого уровня. В частности известно, что уже во второй его половине здесь существовал набор терминов, обозначающих чистое золото и золото с различными примесями, а также для обозначения ювелиров, специализирующихся на изготовлении золотых и серебряных украшений (Дедабришвили 1979: 67; Трейстер 1996а: 235; Дьяконов 1990: 120). При этом изделия из крупных ювелирных мастерских Переднего Востока, а также передовые технологии их изготовления трансформировались и передавались на большие расстояния скорее всего бродячими ремесленниками. Кавказ был одним из крупнейших и притягивающих регионов, куда достаточно быстро устремлялись все эти новации.

Изделия из кости. Среди инвентаря памятников бедено-алазанского этапа они встречаются достаточно редко. Появление подвесок-амулетов из просверленных зубов животных логично связывать с их проникновением из районов, расположенных к Северу от Кавказского хребта: здесь подобные украшения являлись частью погребального инвентаря могильников ямной культурной общности (вторая половина III тыс. до н. э.). Обычно зубы животных включались в состав ожерелий вместе с костяными бусами, трубочками и роговыми булавами. На Южном Кавказе амулеты из зубов животных обнаружены в составе инвентаря курганов № 1 и № 4 в Марткопи, в кургане сел. Коринто и в сачхерских могильниках. О. М. Джапаридзе справедливо связывает их происхождение с мигрантами с Северного Кавказа (Djaparidze 1993: 488, 489, abb. 2, 6).

Примечательно, что одна подобная подвеска обнаружена в нижнем слое “С-3” поселения Квацхела⁹ (Джавахишвили, Глonti 1962: табл. IV, 425). Эта находка в какой-то мере подтверждает предложенную нами синхронизацию слоя “С” Квацхелы с периодом возникновения курганов марткопской группы, характерной для раннего этапа БТК. Наконец, многочисленные украшения из кости и перламутра в марткопских курганах также находят параллели в инвентаре погребений ямной культурной общности. Плоские прямоугольные роговые бусины с зубчиками на длинных сторонах из кургана № 4 в Марткопи (Djaparidze 1993: abb. 6) обнаруживают единственную известную нам типологическую параллель в гипсовых бусах из могильников Шахдад и Тепе Гиссар а Иране (Nakemi 1997: 539, № 4284; Schmidt 1933: pl. CXLVI, H180).

В погребениях элиты бедено-алазанской группы обнаружены костяные изделия с нанесенными на них рисками и точками — гадальные или игральные фишки (Гобеджишвили 1980: табл. IX, 2; Djaparidze 1993: abb. 7). На Северном Кавказе подобные изделия впервые появляются в “царском” погребении новосвободненской группы в могильнике Клады (Резепкин 1991: рис. 10, 1, 7). В СБВ гадальные фишки встречаются в могилах катакомбной культурной общности на Нижнем Дону (Санжаров 1988; Смирнов 1996: рис. 41, 22, 47, 24, 25) и в Прикубанье (Бочкарев и др. 1991: рис. 42). Типологическая близость костяных фишек позволяет синхронизировать беденские изделия с раннекатакомбными. Истоки обычая помещать гадальные фишки в могилы следует, скорее всего, искать в погребальном ритуале Древнего Востока, где они получили широкое распространение.

Проведенное нами исследование позволило установить ареал и время изготовления прототипов металлических изделий раннего, бедено-алазанского, этапа БТК. Фабрикация изделий этих типов на исходной территории соответствует аккадскому периоду, а их пространственное распространение показано на карте (рис. 2). Судя по картине распространения памятников, новации металлообработки Кавказа связаны с передневосточным регионом, это Армянское нагорье, Малая Азия, Сирия, Северная Месопотамия и часть Ирана. Очень важно, что эта территория в основном совпадает с ареалом миграции на Юг носителей КУАК (Sagona 1984: map). Иными словами, население КУАК, расселившееся на Переднем Востоке, образовало родственную культурную

⁹ Одна подобная подвеска-амулет обнаружена далеко на юго-западе от Кавказа на поселении Аладжаюк (Kosay 1951: pl. CXI, 1), что в совокупности с другими упомянутыми выше аналогиями может также служить свидетельством контактов и связей населения двух регионов.

среду, способствовавшую восприятию и передаче на Южный Кавказ многих прогрессивных достижений. Это обстоятельство приобретает особое значение при реконструкции культурогенеза Кавказа, так как устанавливает зависимость возникновения металлообрабатывающей зоны от степени родства археологических культур; подобное явление недавно выявил и продемонстрировал на восточноевропейских материалах эпохи поздней бронзы В. С. Бочкарев (1995: 120—123). Редкие же находки из Трояды, Ликии и Эгейского бассейна, удаленные на большое расстояние от Кавказского региона могли попадать туда эстафетным путем через районы Центральной и Восточной Анатолии. Как известно, эти районы были тесно связаны друг с другом в древности (Меллинк 1998; Bass 1970; Algaze et al 1995: 60).

На основании привлечения нового обширного материала нами было подтверждено положение о том, что бедено-алазанский этап БТК продолжался почти всю вторую половину III тыс. до н. э. и включал не только ранние курганы марткопской и бедено-алазанской групп, но также синхронные культурные слои на памятниках позднего этапа КУАК (Квацхела, Амиранис-гора, Цихиагора, Нацаргора, Бериклдеби, Тианети и др.), а также сачхерские могильники. Ареал памятников бедено-алазанского облика пока не установлен; однако, обнаружение подобных комплексов вдали от Центрального Закавказья (Сачхере, Хаченагет, Беркабер, Великент, Черноярская, Хачбулаг, Османбозу и др.) свидетельствует об их радиации на значительные расстояния.

Заключая первый раздел нашего исследования, посвященный бедено-алазанской группе памятников (или “ранним курганам”), считаем логичным вернуться к вопросу о главной его направленности — типологической систематизации накопившегося к концу 90-х годов в регионе значительного нового материала, введенного в научный оборот, преимущественно, через публикации, без его углубленной интерпретации. В основу новой периодизации и хронологии мы положили изделия металлообработки, являвшейся главным двигателем в развитии древних обществ; разумеется, нами учитывались и другие артефакты исследуемых культур. В итоге проанализировано несколько сотен образцов кавказских металлоизделий. Каждый из них рассмотрен на фоне металлопроизводства и ювелирного дела Передней Азии, при обязательном учете контекста, в котором сделана находка: выявлены технология ее изготовления, хронология и территория распространения однотипных изделий. К работе нами привлечено множество переднеазиатских аналогий.

В результате определены направления и характер связей создателей бедено-алазанских памятников, среди которых доминируют такие регионы как Армянское нагорье, Малая Азия, Сирия. Эти регионы оказали

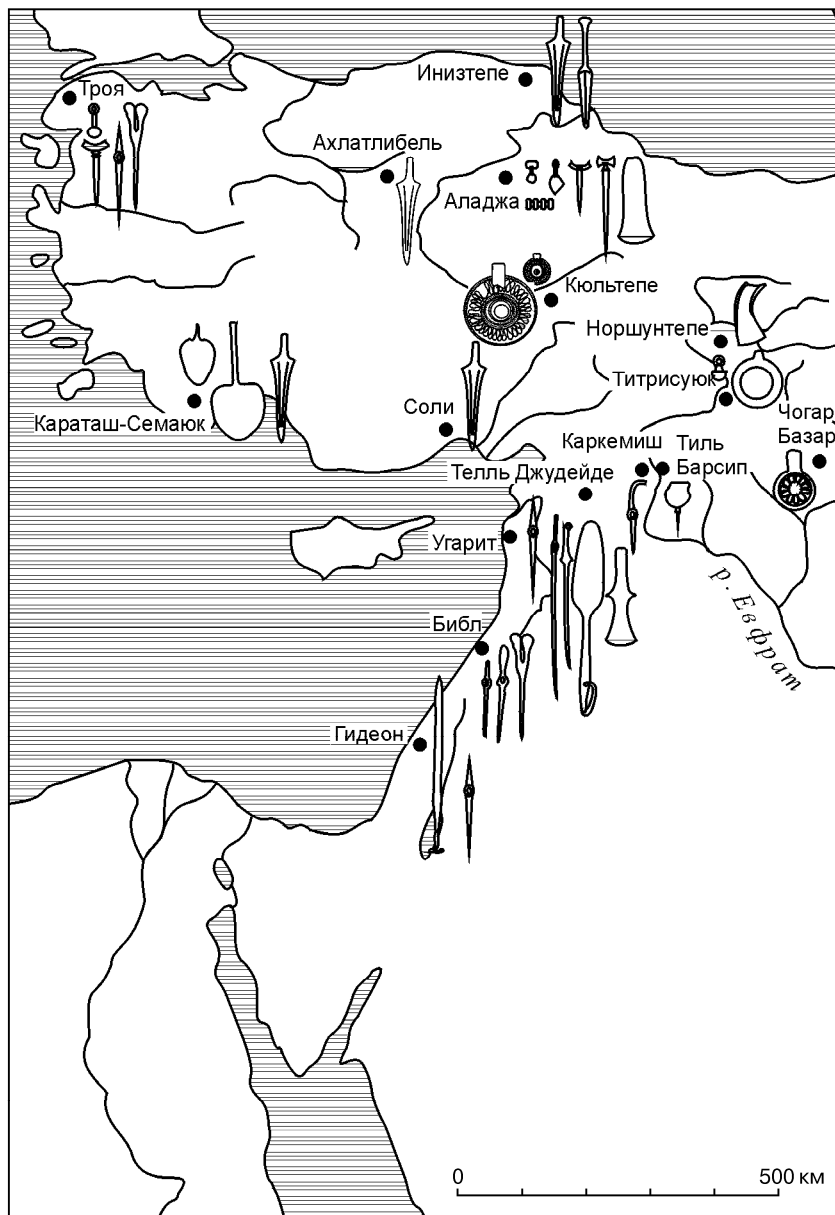
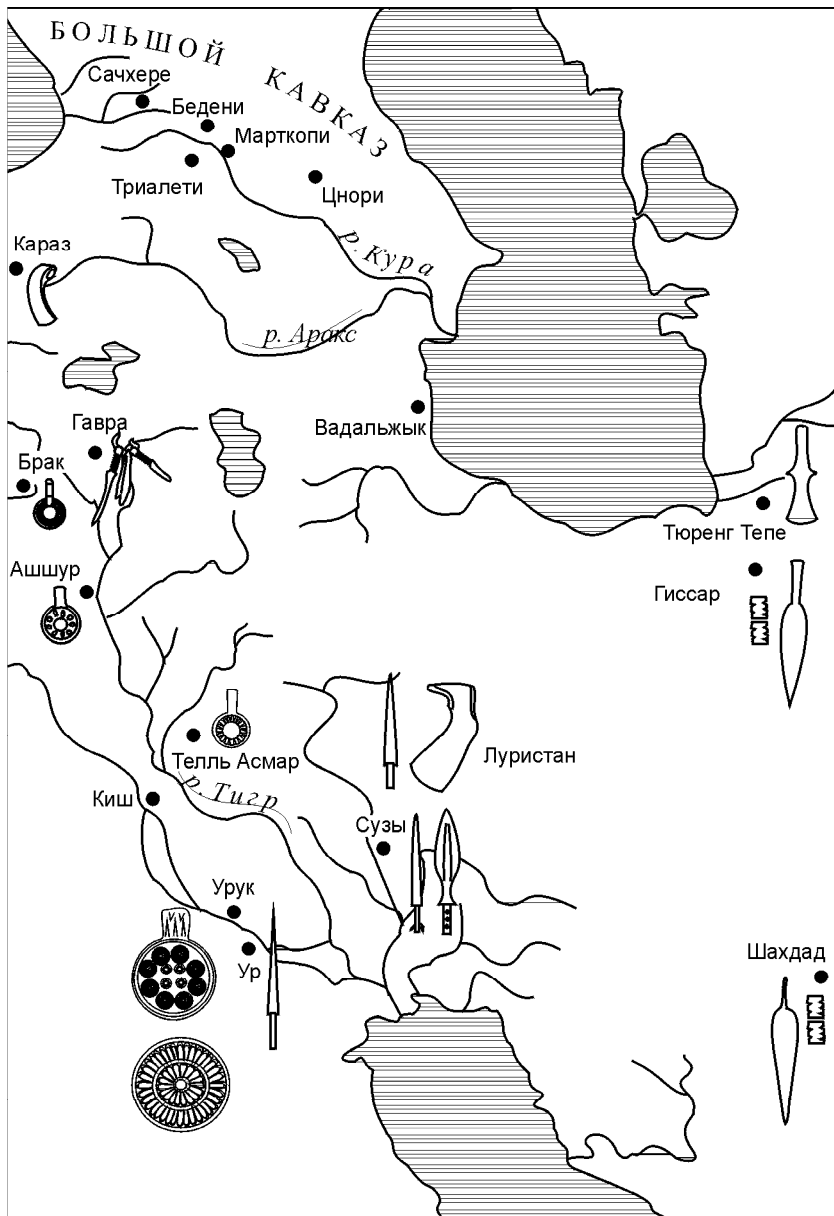


Рис. 2. Прототипы новаций металлообработки Кавказа (бедено-алазанского этапа) на Переднем Востоке.



наибольшее влияние на формирование облика материальной культуры создателей бедено-алазанских памятников. Показательно также, что в этот период северокавказские постновосвободненские культуры (позднеямная, новотитаровская, “северокавказская”, “дольменная”, раннекатакомбная, раннеполтавкинская) оказывали незначительное влияние на Закавказье: основной поток новаций шел с Юга через Закавказье на Север.

Таким образом подведен прочный фундамент под хронологическую оценку бедено-алазанской группы памятников (или комплексов первого этапа БТК), открывающих эпоху средней бронзы Южного Кавказа. Работа проделана на основе не привлекавшихся ранее материалов. Установлено, что памятники эти создавались на Кавказе в период господства в Передней Азии аккадской династии, т. е. в XXIV—XXII вв. до н. э.¹⁰

Абесадзе Ц. Н. 1974. Химическое изучение металлических предметов из курганов Квемо Картли // Реставрация, консервация, технология музейных экспонатов I: 9—20. Тбилиси

1980. Металлические изделия ранней и средней бронзы из Кахети // Реставрация, консервация, технология музейных экспонатов III: 156—169. Тбилиси.

Авалишвили Г., Арцаури Н., Кекелидзе Т., Кобаладзе М., Чечелашвили М., Церетели А. 1994. Отчет о работе археологической экспедиции ТГУ в 1989—1990 гг. // Археологический сборник, посвященный 70-летию со дня рождения известного грузинского археолога Отара Джапаридзе: 61—74. Тбилиси.

Авилова Л. И., Черных Е. Н. 1989. Малая Азия в системе металлургических провинций // Естественнонаучные методы в археологии: 31—81. — М.: Наука.

Арешян Г. Е. 1979. Курганы Аруча // АО 1978 г.: 518—519.

1985. Новонайденное курганное поле у южного подножья горы Арагац // Всесоюзная археологическая конференция “Достижения советской археологии в XI пятилетке”. ТД: 63—64. Баку.

Арешян Г. Е., Оганесян В. Э., Мурадян Ф. М., Аветисян П. С. 1990. Конец среднего бронзового века в междуречье Аракса и Куры // ИФЖ 1: 53—74.

Арутюнян Л. Г. 1982. Особенности идейно-художественного содержания бронз лчашенского типа // V Республиканская научная конференция по проблемам культуры и искусства Армении: 260—262. Ереван.

Афанасьева В. К. 1997. Антология шумерской поэзии. — СПб: Петербургское востоковедение.

Бальян С. П. 1984. Новейшая история озер Севан и Ван // ИАН АрмССР 2: 235—247.

¹⁰ Когда работа над статьей была завершена, нами была получена книга О. М. Джапаридзе “К этнокультурной истории грузинских племен в III тыс. до н. э. (Раннекурганная культура). Тбилиси. 1998. (На груз. языке). Нет сомнения, что эта книга окажет неоценимую помощь в дальнейших наших исследованиях.

- Бочкарев В. С.* 1995. Культурогенез и развитие металлопроизводства в эпоху поздней бронзы: (По материалам южной половины Восточной Европы) // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья: 114—123. Самара.
- Бочкарев В. С., Шарафутдинова Э. С., Резепкин А. Д., Трифионов В. А., Бестужев Г. Н.* 1983. Работы Кубанской экспедиции в 1978—1980 гг. // Древние культуры евразийских степей: 82—87. — Л.: Наука.
- Бочкарев В. С., Бестужев Г. Н., Бианки А. М., Трифионов В. А.* 1991. Раскопки курганов у станицы Брюховецкой Краснодарского края в 1978 г. // Древние культуры Прикубанья: 3—58. — Л.: Наука.
- Братченко С. Н.* 1976. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. — Киев: Наукова думка.
1996. К проблеме раннебронзовой индустрии Восточной Европы // Древние культуры Восточной Украины: 32—57. — Луганск: издательство ВУГУ.
- Бурков С. Б.* 1991. Закавказские импорты из подкурганых погребений среднего течения Ассы как культурно-хронологический показатель // Университетская экспозиция результатов новостроечных и охранных археологических работ 1989—1990 годов: 4—5. Грозный.
- Варущенко А. Н., Варущенко С. И., Клиге Р. К.* 1980. Изменения уровня Каспийского моря в позднем плейстоцене и голоцене // Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене: 79—90. М.
- Васильев И. Б.* 1980. Могильник ямно-полтавкинского времени у сел. Утевка в Среднем Поволжье // Археология восточно-европейской лесостепи: 15—59. Воронеж.
- Гаджиев М. Г.* 1969. Из истории культуры Дагестана в эпоху бронзы (могильник Гинчи). Махачкала.
1987. Древние очаги металлообработки в Дагестане // КСИА 192: 6—13.
1991. Ранне-земледельческая культура Северо-Восточного Кавказа. — М.: Наука.
- Гаджиев М. Г., Корневский С. Н.* 1984. Металл Великентской катакомбы // Древние промыслы, ремесло и торговля в Дагестане: 7—27. Махачкала.
- Гаспарян С. Е.* 1987. Раскопки кургана в селе Беркабер Иджеванского района // ИФЖ. 1: 223—234.
- Геворкян А., Петросян Л.* 1979. Вислобушный топор из Ленинакана // ВОНАН АрмССР 4: 94—98.
- Гей А. Н.* 1991. Височные кольца новотитаровской и раннекатакомбной культур степного правобережья Кубани // Древности Кубани: 32—33. Краснодар.
- Гогадзе Э. М.* 1970. Периодизация и генезис курганной культуры Триалети. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Тбилиси.
1972. Периодизация и генезис курганной культуры Триалети. — Тбилиси: Мецниереба.
- Гобеджшвили Г. Ф.* 1980. Бедени — культура курганых погребений. — Тбилиси: Мецниереба.
- Горелик М. В.* 1993. Оружие Древнего Востока. — М.: Наука.
- Григорьева Е. А.* 1991. Культовые сосуды (курильницы) из раскопок 1989—1990 гг. // Университетская экспозиция результатов новостроечных и охранных археологических работ 1989—1990 годов: 5—6. Грозный.

- Гричук В. Л.* 1980. К проблеме колебаний увлажненности Каспийского моря в позднем голоцене // Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене: 102—109. — М.: Наука.
- Деген Б. Е.* 1941. Курганы в Кабардинском парке г. Нальчика // МИА 3: 213—300. — М.; Л. Издательство АН СССР.
- Дедабришвили Ш. Ш.* 1979. Курганы Алазанской долины. Тбилиси.
- Джавахишвили А. И.* 1973. Строительное дело и архитектура поселений Южного Кавказа в V—III тыс. до н. э. Тбилиси.
- Джавахишвили А. И., Глонти Л. И.* 1962. Археологические раскопки, проведенные в 1954—1961 гг. на селище Квацхелеби. Тбилиси.
- Джапаридзе О. М.* 1960. Археологические раскопки в Грузии. Тбилиси.
1961. К истории грузинских племен на ранней стадии медно-бронзового века. Тбилиси.
1991. Археология Грузии. Тбилиси.
1994. Одно погребение из Ксанского ущелья Восточной Грузии // Археологический сборник, посвященный 70-летию со дня рождения известного грузинского археолога Отара Джапаридзе: 166—182. Тбилиси.
1996. Культура ранних курганов на территории Закавказья // Между Азией и Европой. Кавказ в IV — I тыс. до н. э.: 76—78. СПб.
- Джапаридзе О. М., Авалишвили Г. Б., Церетели А. Т.* 1985. Памятники Месхети эпохи средней бронзы. Тбилиси.
- Джапаридзе О. М., Авалишвили Г. Б., Церетели А. Т.* 1986. Отчет работы Кахетской (Марткопской) археологической экспедиции за 1980 — 1981 гг. // АЭГМГ VIII: 29—35. Тбилиси.
- Джапаридзе Н. О.* 1988. Ювелирное искусство эпохи бронзы в Грузии. Тбилиси.
- Дьяконов И. М.* 1990. Люди города Ура. — М.: Наука.
- Жоржикашвили Л. Г., Гогадзе Э. М.* 1974. Памятники Триалети эпохи ранней и средней бронзы. Тбилиси.
- Зураев А. В.* 1991. Погребение беденской культуры у ст. Чернойрской // Тезисы докладов и сообщений третьей зональной северокавказской олимпиады по археологии и краеведению: 8—9. Грозный.
- Иванов И. В., Васильев И. Б.* 1995. Человек, природа и почвы Рын-песков Волго-Уральского междуречья в голоцене. — М.: Интеллект.
- Иссен А. А.* 1950. К хронологии “Больших кубанских курганов” // СА XII: 157—202.
- История Древнего Востока.* 1983. — М.: Наука.
- Кавтарадзе Г. Л.* 1983. К хронологии эпохи энеолита и бронзы Грузии. Тбилиси.
- Кесаманлы Г. П., Джафаров Р. Ф., Алиев А. А.* 1984. Исследования Шамхорской археологической экспедиции // Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане в 1979 г.: 11—14. Баку.
- Киквидзе Я. А.* 1975. Земледелие и земледельческий культ в древней Грузии. Автореф. дисс. ... д-ра ист. наук. Тбилиси.
- Корневский С. Н.* 1980. О металлических вещах I Утевского могильника // Археология восточно-европейской лесостепи: 59—64. Воронеж.

1981. Втульчатые топоры — оружие ближнего боя эпохи средней бронзы Северного Кавказа // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье: 20—41. — М.: Наука.
1984. Новые данные по металлообработке докобанского периода в Кабардино-Балкарии // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972—1979 гг. 1: 254—300. Нальчик.
1986. Г- и У-образные булавки эпохи средней бронзы Большого Кавказа и Предкавказья // Этнокультурные проблемы бронзового века Северного Кавказа: 12—24. Орджоникидзе.
- Куфтин Б. А.* 1941. Археологические раскопки в Триалети. I. Тбилиси.
1949. Археологическая маршрутная экспедиция в Юго-Осетию и Имеретию. Тбилиси.
- Кушнарева К. Х.* 1954. Памятники медного века в Нагорном Карабахе // СА XX: 165—179.
1993. Южный Кавказ в IX—II тыс. до н. э. (этапы культурного и социально-экономического развития). — СПб: Петербургское востоковедение.
- 1993а. Еще раз о некоторых аспектах триалетской культуры // КСИА. 209: 89—100.
1995. К вопросу о критериях финального этапа эпохи средней бронзы и перехода к поздней бронзе // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита — бронзы Средней и Восточной Европы: 65—71. — СПб: ИИМК РАН.
1997. Ранние комплексные общества Южного Кавказа // Древнейшие общества Кавказа в эпоху палеометалла: 11—43. — СПб: ИИМК РАН.
1998. Проблемы хронологии, периодизации и территориальных границ памятников триалетской культуры // Эрмитажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского: 41—43. СПб.
- Кушнарева К. Х., Рысин М. Б.* 1998. Ранние археологические свидетельства появления и развития дружины на Кавказе // Военная археология: 34—37. СПб.
- Кушнарева К. Х., Чубинишвили Т. Н.* 1970. Древние культуры Южного Кавказа. — Л.: Наука.
- Магомедов Р. Г.* 1984. Закавказский керамический импорт в Дагестане и вопросы хронологии памятников эпохи средней бронзы // XIII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: 35—36. Майкоп.
- Майсурадзе В. Г., Абдушелишвили М. А.* 1991. Ширакская экспедиция 1985—1986 гг. // ПАИ 1986 г.: 68—69. Тбилиси.
- Марковин В. И.* 1997. Дольменные памятники Прикубанья и Причерноморья. — М.: Наука.
- Мартirosян А. А.* 1964. Армения в эпоху бронзы и раннего железа. Ереван.
- Мартirosян А. А., Мнацаканян А. О.* 1973. Приереванский клад ранней бронзы // КСИА 134: 122—127.
- Массон В. М.* 1973. Древние гробницы вождей на Кавказе: некоторые аспекты социологической интерпретации // Кавказ и Восточная Европа в древности: 102—112. М.
1976. Экономика и социальный строй древних обществ. — Л.: Наука.
- Махарадзе З. Э.* 1994. Поселение куро-аракской культуры Цихиагора. — Тбилиси: Мецниереба.

1996. Поселение Цихиагора и проблема периодизации культур эпохи бронзы на территории Грузии // Между Азией и Европой. Кавказ в IV—I тыс. до н. э.: 72—75. СПб.
- Меликишвили Г. А.* 1965. Возникновение Хеттского царства и проблема древнейшего населения Закавказья и Малой Азии // ВДИ 1: 3—30.
- Меллинк М. Дж.* 1998. Троя II в контексте РБВ в Анатолии // ВДИ 4: 175—180.
- Мунчаев Р. М.* 1961. Древнейшая культура Северо-Восточного Кавказа / МИА 100. 1975. Кавказ на заре бронзового века. — М.: Наука.
1986. Погребальные комплексы с сосудами на ножках из Бамутских курганов эпохи бронзы // Новое в археологии Северного Кавказа: 27—39. М.
- Нариманов И. Г., Ахундов Т. И.* 1999. Древности Хындрыстанского музея // *Azerbaijan Archaeology*. 1 (1—2): 35—37. Баку.
- Нечитайло А. Л.* 1978. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. — Киев: Наукова думка.
1991. Связи населения степной Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы. — Киев: Наукова думка.
- Николаева Н. А., Сафронов В. А.* 1980. Курганный могильник эпохи бронзы у сел. Дзаурикау // Проблемы археологии Северной Осетии: 18—80. Орджоникидзе.
- Оганесян В. Э.* 1988. Курган среднего бронзового века близ села Карашамб (Армения) // Башкапсарский полевой археологический семинар: 43—44. Сухуми.
- Орджоникидзе А. З.* 1983. Самцхе-Джавახети в эпоху ранней бронзы. — Тбилиси: Мецниереба.
- Пиотровский Б. Б.* 1949. Археология Закавказья. — Л.: Наука.
- Пицхелаури К. Н.* 1982. Археологические исследования в зонах новостроек Иор-Алазанского бассейна (1975—1979 гг.) // ПАИ: 17—20. Тбилиси.
1990. Новые аспекты хронологии археологических памятников Центральной части Южного Кавказа // Междисциплинарные исследования культурогенеза и этногенеза Армянского нагорья и сопредельных областей: 246—251. Ереван.
- Пицхелаури К. Н., Варзаивили В. К.* 1988. Зеиани — курган № 1 // Труды Кахетской археологической экспедиции. VIII: 48—52. Тбилиси.
- Пхакадзе Г. Г.* 1988. К изучению памятников Рион-Квирильского бассейна (IV — середина III тыс. до н. э.) // СА 2: 43—57.
- Рамшвили А. М.* 1991. Раскопки в Хашурском районе в 1984—1986 гг. // ПАИ: 22—24. Тбилиси.
- Рамшвили Р. М., Джорбенадзе В. А., Глонти М. Г., Мухигулашвили Н. З., Робакидзе Ц. Ш., Церетели К. Б.* 1984. Работы Жинвальской комплексной археологической экспедиции // ПАИ: 59—68. Тбилиси.
- Резепкин А. Д.* 1989. Северо-Западный Кавказ в эпоху ранней бронзы (по материалам погребальных памятников новосвободненского типа). Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Л.
1991. Курган 31 могильника Клады. Проблемы генезиса и хронологии Майкопской культуры // Древние культуры Прикубанья: 167—197. — Л.: Наука.

- Ростунов В. Л.* 1985. Куро-аракская культура на Центральном Кавказе (хронологический и историко-археологический аспекты миграций) // Античность и варварский мир: 3—42. Орджоникидзе.
1986. Вопросы бытования куро-аракских племен на Центральном Кавказе и их роли в этнокультурном процессе второй половины III — начала II тыс. до н. э. // Этнокультурные проблемы бронзового века Северного Кавказа: 24—45. Орджоникидзе.
1988. Куро-аракские могильники Северной Осетии // Погребальный обряд древнего и средневекового населения Северного Кавказа: 21—64. Орджоникидзе.
1991. Некоторые вопросы заселения горных районов Северной Осетии и Хевсуретии в конце раннебронзовой эпохи. // Тезисы докладов и сообщений третьей зональной северокавказской олимпиады по археологии и краеведению: 36—38. Грозный.
1996. Определяющие признаки куро-аракской культуры на Центральном Кавказе по материалам погребальных памятников // XIX Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: 126—128. М.
- Ростунов В. Л., Хашегульгов Б. М.* 1985. К хронологии височных подвесок в 1,5—2,5 оборота эпохи ранней бронзы Северного Кавказа // Проблемы хронологии археологических памятников Северного Кавказа: 41—55. Орджоникидзе.
1990. К этно-культурной истории горной зоны Чечено-Ингушетии в конце ранней и начале среднебронзовой эпох // Актуальные проблемы истории до-революционной Чечено-Ингушетии: 6—7. Грозный.
1991. Датировка куро-аракских погребений Эгикальского могильника // Археология на новостройках Северного Кавказа (1986—1990 гг.): 59—63. Грозный
- Рысин М. Б.* 1990. Датировка комплексов из Эшери // СА 2: 18—27.
1996. Начальный этап эпохи средней бронзы на Северном Кавказе // Между Азией и Европой. Кавказ в IV—I тыс. до н. э.: 78—81. СПб.
- 1996а. К проблеме синхронизации памятников среднего бронзового века Северного и Южного Кавказа. // Между Азией и Европой. Кавказ в IV—I тыс. до н. э.: 81—84. СПб.
1997. Культурная трансформация и культура строителей дольменов на Кавказе // Древние общества Кавказа в эпоху палеометалла: 85—123. — СПб: ИИМК РАН.
- Рычагов Г. И.* 1993. Уровненный режим Каспийского моря за последние 10 тысяч лет // Вестник МГУ. География 2: 38—49.
- Санжаров С. Н.* 1988. Погребения донецкой катакомбной культуры с игральными костями // СА 1: 140—158.
- Симомян А. Е.* 1982. Кармирбердская культура по материалам периода средней бронзы в Армении // Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа: 69—73. Ереван.
1984. Два погребения эпохи средней бронзы могильника Верин-Навер // СА 3: 122—135.
- Смирнов А. М.* 1996. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. — М.: Российский этнограф.

- Тарабанов В. А.* 1990. Раскопки курганов эпохи бронзы у пос. Черноморский Северского района // Древние памятники Кубани: 37—44. Краснодар.
- Торговля и обмен в древности.* 1974. / КСИА 138.
- Трейстер М. Ю.* 1996. Троянские клады в ГМИИ им. А. С. Пушкина // ВДИ. 4: 196—207.
- 1996а Троянские клады: атрибуции, хронология, исторический контекст // Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана. Каталог выставки. М.
- Трифонов В. А.* 1991. Степное Прикубанье в эпоху энеолита — средней бронзы (периодизация) // Древние культуры Прикубанья: 92—166. — Л.: Наука.
- Хачатрян Т. С.* 1975. Древняя культура Ширака. Ереван.
- Чайлд Г.* 1952. У истоков европейской цивилизации. — М.: Издательство иностранной литературы.
- Черных Е. Н.* 1978. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла на территории СССР // СА 4: 53—82.
- Черных Л. А.* 1997. О типологических особенностях металлического инвентаря из памятников ранней бронзы Северного Причерноморья (тесла, долота) // Археологический альманах 6: 97—106. Донецк.
- Чеченов И. М.* 1969. Древности Кабардино-Балкарии. — Нальчик: Эльбрус.
- Чилашвили Л. А.* 1964. Городище Урбниси. Тбилиси.
- Чубинишвили Т. Н.* 1963. Амиранис-гора. Тбилиси.
- Шапошникова О. Г., Фоменко В. Н., Довженко Н. Д.* 1986. Ямная культурно-историческая область (южнобугский вариант) / Археология СССР. САИ В1-3. Киев.
- Algaze G., Goldberg P., Honca D., Matney T., Misir A., Miller Rosen A., Schlee D., Somers L.* 1995. Titris hoyuk, a Small EBA Urban center in SE Anatolia. The 1994 Season // *Anatolica XXI*: 13—64. Istanbul:
- Barge H., Arnal J.* 1984/1985. Les Boutons Perfores en V en France (Leur contexte europeen) // *Bulletin du Musee d'Antropologie Prehistorique de Monaco* 28: 63—99. Monaco.
- Bass G. F.* 1970. A hoard of Trojan and Sumerian Jewellery // *AJA* 74 (1): 335—340.
- Bilgi O.* 1984. Metal Objects from Ikiztepe-Turkey // *AWA* 6: 31—96.
1990. Metal Objects from Ikiztepe-Turkey // *AWA*. 9/10: 119—220.
- Braidwood R. J., Braidwood L. S.* 1960. Excavations in the plain of Antioch. Chicago.
- Branigan K.* 1974. Aegean Metalwork of the Early and Middle Bronze Age. Oxford.
- Buccholz H. G., Karageorghis V.* 1971. Altagais und Altkypros. Tübingen.
- Burney C.* 1958. Eastern Anatolia in Chalcolithic and Early Bronze Age // *AS* 8: 157—210.
- Caskey J. L.* 1956. Excavations at Lerna, 1955 // *Hesperia XXV*. 2: 147—173.
- Deshayes J.* 1960. Les outils de Bronze, de L'Indus au Danube. Paris.
- Djaparidze O. M.* 1993. Über die Ethnokulturelle Situation in Georgien gegen Ende des III. Jartausend v. Chr. // *Between the Rivers and over the Mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri Dedicata*: 475—491. Roma.
- Dolukhanov P. M.* 1994. Environment and Ethnicity in the Ancient Middle East. Sydney.
- Evans J.* 1956. The “Dolmens” of Malta and the Origins of the Tarxien Cemetery Culture // *Proceedings of the Prehistoric Society. New Series XXII*: 85—101. Cambridge.

- Flourentzos P.* 1978. The so-called "cypriot pin" in the Near East and Europe // *Archaeologicke rozhledy* XXX (4): 408—419. — Praha: Academia.
- Hakemi A.* 1997. *Shahdad. Archaeological Excavations of a Bronze Age center in Iran / Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente. Reports and memoirs XXVII.* Rome.
- Hogarth D. G., Thompson R. C., Woolley L.* 1952. *Carchemish. Report on the excavations at Jerablus on Behalf of the British Museum. III.* London.
- Khlopin I. N., Khlopina L. I.* 1989. Doppelspiralige Kopfnadeln in Mittelasien und im Kaukasus // *Orientalia Lovaniensia Periodica* 20: 99—114. Leuven.
- Kosay H. Z.* 1951. *Alaca Hoyuk Kazisi (1937—1939) / TTKY V.*
- Kosay H., Turfan H.* 1959. *Ersurum Karaz Kazisi raporu // TTK Belleten. cilt XXIII: 349—413.*
- Kushnareva K. Kh.* 1997. *The Southern Caucasus in Prehistory.* Philadelphia.
- Margueron J. Cl.* 1965. *Archaeologia Mundi. Mesopotamia.* Geneva.
- Maxwell-Hyslop K.* 1971. *Western Asiatic Jewellery c. 3000—612 BC.* London.
- Mellaart J.* 1958. The end of the Early Bronze Age in Anatolia and the Aegean // *AJA* 62 (1): 9—34.
- Mellink M. J.* 1969. Excavations at Karatas-Semayuk in Lycia in 1968 // *AJA* 73 (3): 319—331.
1975. Archaeology in Anatolia // *AJA* 79 (3): 201—222.
- Muller-Karpe M.* 1995. Zu den Erdgrabern 18, 20 und 21 von Assur // *Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums*: 42 (1): 257—352. Mainz.
- Picchelaury K.* 1997. *Waffen der Bronzezeit aus Ost-Georgien / Archäologie in Eurasien 4.* Berlin.
- Prithard J. B.* 1962. Civil defense at Gibeon // *Expedition* 5 (1): 10—17.
- Sagona A. G.* 1984. *Kaukazian region in the Early Bronze Age // British Archaeological Reports (Internationale series).* 214. Oxford.
- Schaeffer Cl. F. A.* 1948. *Stratigraphie comparée de l'Asie Occidentale.* London.
1962. *Ugaritica. Mission de Ras Shamra / BAH IV.* 74.
- Schliemann H.* 1881. *Ilios. Stadt und Land der Trojaner.* Leipzig.
- Schmidt E. F.* 1933. *Tepe Hissar Excavations of 1931 // The University of Pennsylvania. The Museum Journal* 23 (4): 315—483.
- Stronach D. B.* 1957. The development and diffusion of Metal Types in Early Bronze Age Anatolia // *AS* 7: 89—126.
- Tallgren A. M.* 1931. *Zu der Nordkaukasischen fruhen Bronzezeit // ESA VI:* 126—146.
- Wesse A.* 1990. *Die Armchenbeile der Alten Welt // Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 3.* Bonn.
- Yadin Y.* 1963. *The art of Warfare in Biblical Lands.* London.

НОВЫЙ ТИП СТАТУЭТКИ ИЗ КАРА-ДЕПЕ ¹

Антропоморфные терракотовые статуэтки являются одной из наиболее ярких черт культурного комплекса большинства древнеземледельческих культур. В материалах памятников Южного Туркменистана антропоморфные, в первую очередь, женские, статуэтки представлены уже, начиная с неолита, но особенно многочисленны и детализированы в эпоху среднего и позднего энеолита и ранней и средней бронзы (комплексы времени Намазга II—V; IV — начало II тыс. до н. э.). Этот выразительный и разнообразный материал, представляющий широкое поле для анализа и являющийся одним из основных источников для реконструкции идеологических представлений древних земледельцев, постоянно привлекает внимание ученых и популяризаторов науки. Антропоморфной пластике древнеземледельческих культур Южного Туркменистана посвящены специальные исследования: значительная часть статуэток опубликована, разработаны принципы анализа и интерпретации материала, предложены типологические классификации и широкий круг аналогий (Массон, Сарияниди 1973; Антонова 1977; Березкин 1981; Массон 1981; 1982). В последние годы богатая коллекция терракотовых и каменных антропоморфных изображений получена при исследовании среднеэнеолитического поселения Илгынлы-депе (Массон 1989; Masson, Berezkin, Solovyeva 1994).

Тем более неожиданным оказалось выявление статуэтки совершенно нового для Южного Туркменистана иконографического типа в позднеэнеолитических материалах поселения Кара-депе у Артыка, хранящихся в ОАВЕС Государственного Эрмитажа.

Статуэтка была разбита в древности и сохранились лишь два стыкующихся обломка седалищной части и бедер (рис. 1). Более крупный обломок был опубликован (Массон 1961: табл. XIII, 7), однако рисунок был сделан в неправильном положении и в результате фигурка не могла быть достоверно реконструирована (врезка на рис. 1). Статуэтка изображает сидящую женщину, — хотя треугольник, изображающий лобок, и не сохранился, но пропорции седалища и бедер явно женские. В первую очередь обращает на себя внимание необычная поза статуэтки: женщина сидит “на пятках” — с полностью подогнутыми под себя голенями (остатки голеней в виде отпечатка прослеживаются на задней стороне бедер) и с сильно наклоненным вперед туловищем (фактически торс видимо почти лежал на

¹ Данное сообщение является частью работы, выполняемой при поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда, грант № 98-01-00305 “Памятники позднего энеолита Юго-Западной Туркмении (подгорная полоса Копет-Дага)”.

верхней стороне бедер). На тщательно проработанных, чуть разведенных в стороны коленях имеются остатки налипших кистей — схематически изображены пальцы, что заставляет предположить единственно возможное в такой позе положение рук — упирающихся в колени с отведенными наружу локтями. Фигурка довольно крупная — длина бедра 6.5 см, ширина седалищной части не менее 5.7 см (соответствующие размеры позднеэнеолитических статуэток с чуть согнутыми в коленях ногами в среднем составляют 5 и 3 см). Наиболее примечательна реалистическая манера изображения и необычайно пластичная проработка поверхности фигурки, передающая рельеф мускулатуры живого тела.

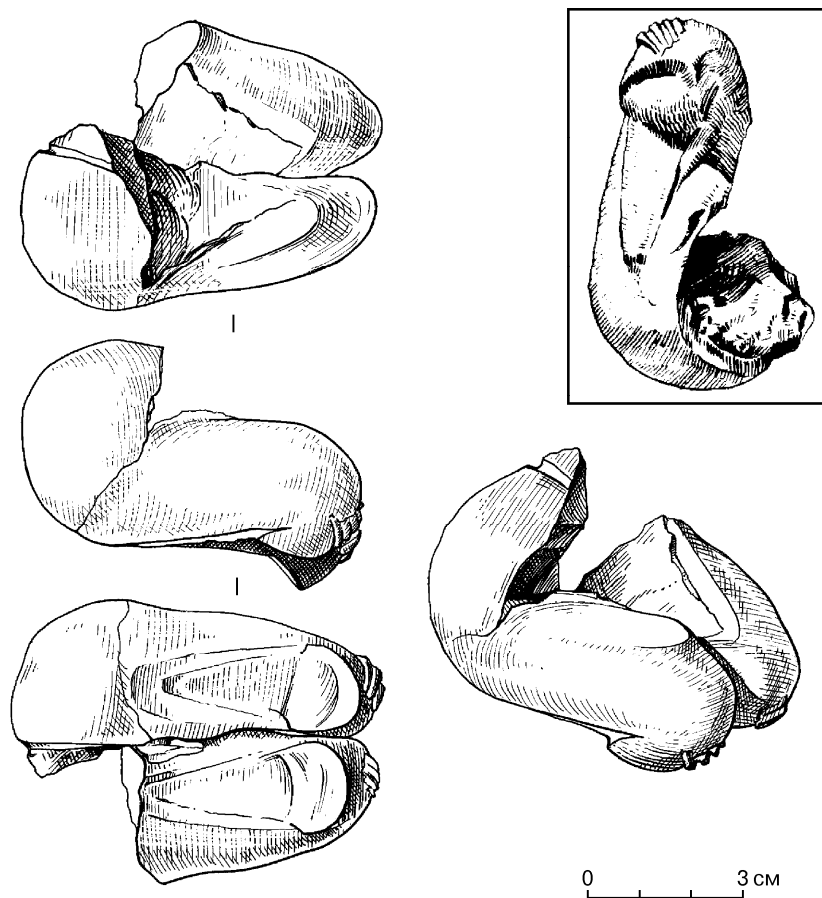


Рис. 1. Терракотовая статуэтка из Кара-депе (поздний энеолит).

Технологический уровень изготовления статуэтки также очень высок. Фигурка вылеплена из плотной однородной глины, практически без примесей, покрыта тончайшим светло-кремовым, почти белым ангобом и тщательно и ровно обожжена (тесто светло-коричневое с розоватым оттенком). По качеству изготовления она напоминает лучшие образцы терракот эпохи бронзы. Однако, археологический контекст находки², не оставляют сомнений в ее принадлежности к позднеэнеолитическому комплексу Кара-депе.

Типичные южнотуркменистанские терракотовые статуэтки среднего и позднего энеолита также обычно изображают сидящих женщин, однако, и поза фигурок, и манера изображения совершенно иные. Женщины сидят с прямыми или, чаще, чуть согнутыми в коленях ногами; торс практически прямой (рис. 2). Фигурки тщательно проработаны, разнообразные детали нанесены краской или переданы рельефом и налепами. Встречены и статуэтки с чуть разведенными ногами и с налипными изображениями кистей рук, обычно расположенными под грудью (Сарианиди 1965: рис. 20, 1, 4). В то же время, типичные южнотуркменистанские терракотовые фигурки чрезвычайно условны. Передавая, подчас с большим количеством деталей, облик женского божества, они весьма далеки от реального изображения человеческого тела. Символический характер статуэток подчеркивается и разнообразными знаками или зооморфными изображениями (змеи, козлы), нанесенными на бедра, а позднее, и на плечи фигурок.

Аналогии обнаруженной фигурке представлены, как это ни парадоксально, в неолитическом Хаджиларе (слой VI, начало VI тыс. до н. э.; рис. 3: 2, 3 — Mellaart 1970: fig. 201, 214) и додинастическом Египте (фигурки амратского типа, середина IV тыс. до н. э.; рис. 3: 1 — Ucko 1968: № 48, fig. 38), причем последние обычно рассматриваются специалистами как поздние реминисценции именно неолитических изображений. Нужно сразу признать, что аналогии эти весьма отдаленные — основное сходство составляет сидящая поза фигурок с сильно согнутыми в коленях ногами, однако, голени подогнуты обычно под себя и в сторону. Лежащая фигурка с приподнятыми плечами и головой интерпретируется исследователями как возможное изображение роженицы (Антонова 1977: 29).

² Обломки фигурки найдены на раскопе 4 Кара-депе в помещении 21 (хозяйственное помещение на дворовом участке в северо-восточной части раскопа) совместно с расписной керамикой типа Кара 1А, предметами из терракоты (фрагмент нижней части еще одной сидящей женской статуэтки, фигурка животного, обломок уплощенной поделки с рядами подпрямоугольных углублений), пронизкой из раковины, орудиями из мраморовидного камня (часть предмета с огранкой, использованного как пестик, и дисковидное пряслице?) и обломками двух туалетных сосудов из розоватого гипса (алебастра).

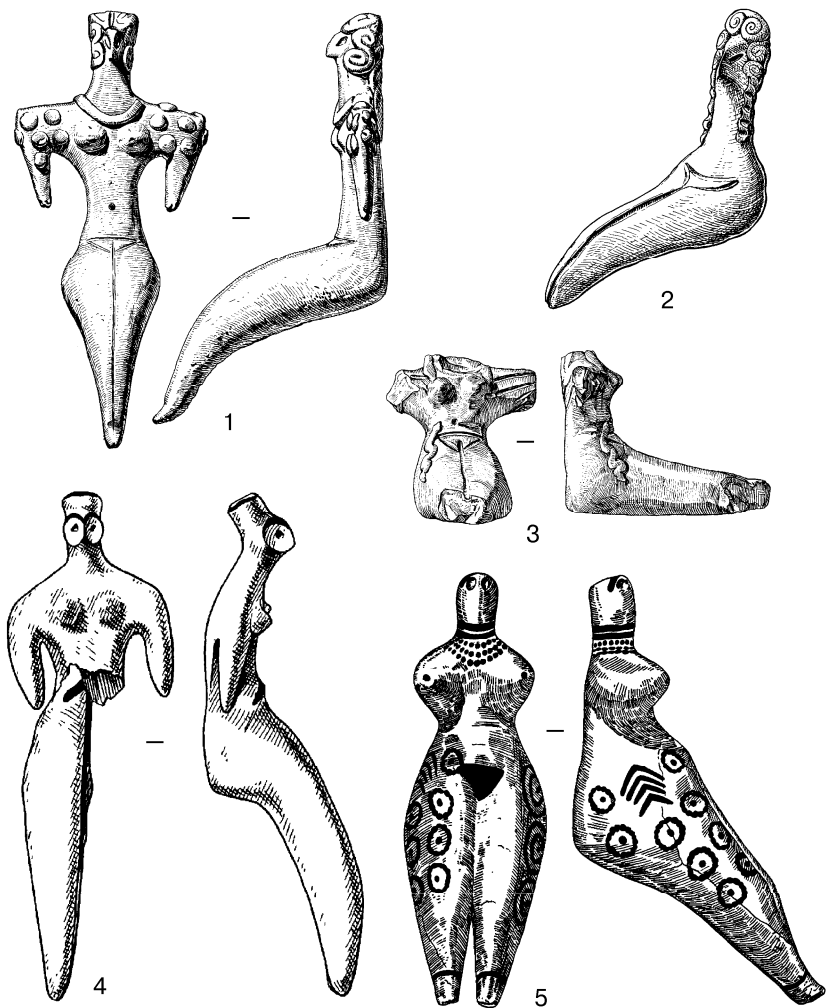


Рис. 2. Основные иконографические типы женских антропоморфных статуэток эпохи среднего (4, 5) и позднего (1—3) энеолита Южного Туркменистана: 1, 3 — Кара-депе; 2 — Алтын-депе; 4 — Илгынлы-депе; 5 — Ялангач-депе.

В то же время, эти аналогии не совсем лишены определенной исторической основы — специалисты считают, что неолитические изображения послужили основой для халафской пластики, а среднеэнеолитические статуэтки Южного Туркменистана имеют наибольшее сходство именно с халафскими фигурками.

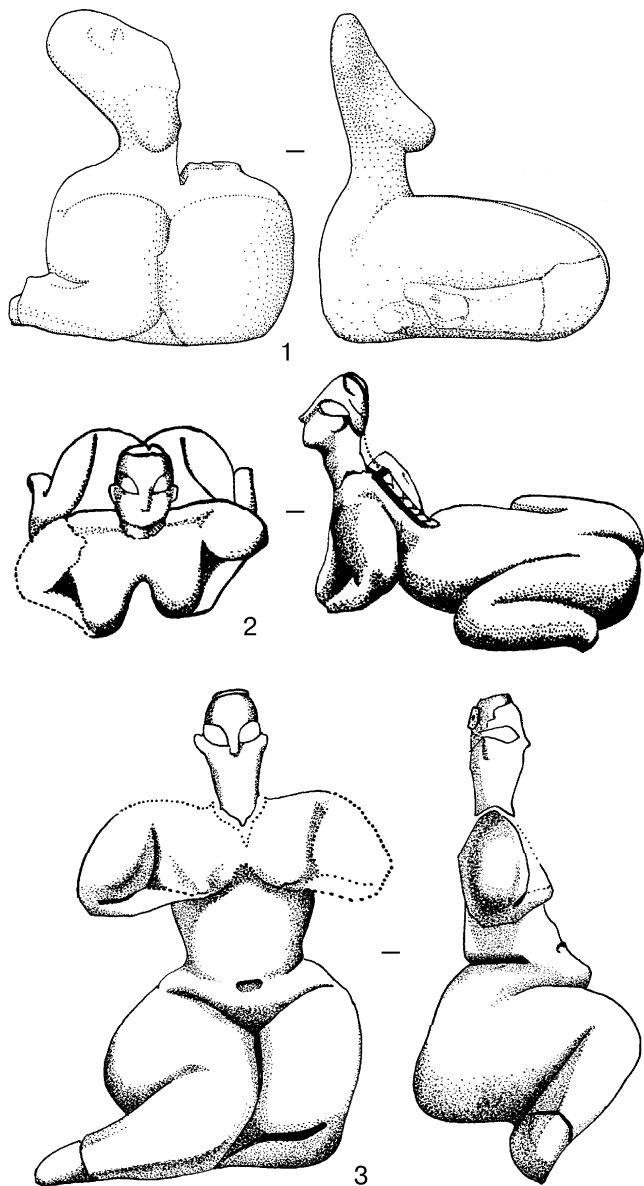


Рис. 3. Женские терракотовые статуэтки: 1 — додинастический Египет (по: Ucko 1968: № 48, fig. 38); 2, 3 — Хаджилар, слой VI (по: Mellaart 1970: fig. 201, 214).

Таким образом, обнаруженная в коллекции Кара-депе статуэтка позволяет по-новому взглянуть на уже сравнительно хорошо изученный материал и наметить новое, юго-западное направление культурных связей позднеэнеолитического населения Южного Туркменистана.

- Антонова Е. В.* 1977. Антропоморфная скульптура древних земледельцев Передней и Средней Азии. — М.
- Березкин Ю. Е.* 1981. Женские терракотовые статуэтки с Алтындепе // КСИА 167: 16—23.
- Массон В. М., Сарваниди В. И.* 1973. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы. Опыт классификации и интерпретации / Культура народов Востока. Материалы и исследования. М.
- Массон В. М.* 1961 (1960). Кара-депе у Артыка // ПЮТАКЭ X: 319—463. — Ашхабад: Издательство АН ТуркмССР.
1981. Алтын-депе / ПЮТАКЭ XVIII. — Л.: Наука.
1982. Энеолит Средней Азии // Археология СССР. Энеолит СССР: 9—92. — М.: Наука.
1989. Илгынлы-депе — новый центр энеолитической культуры Южного Туркменистана // ИАН ТуркмССР СОН 6: 15—20.
- Masson V. M., Berezkin Yu. E., Solovyeva N. F.* 1994. Excavations of houses and sanctuaries at Pgynty-depe Chalcolithic site, South Turkmenistan // New archaeological discoveries in Asiatic Russia and Central Asia: 18—26. — SPb: ИМК РАН.
- Сарваниди В. И.* 1965. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной Туркмении / САИ БЗ-8 IV. — М.: Наука.
- Mellaart J.* 1970. Excavations at Hacilar. 1—2. Edinburgh.
- Ucko P. J.* 1968. Anthropomorphic Figurines of Predynastic Egypt and Neolithic Crete with Comparative Material from the Prehistoric Near East and Mainland Greece. London.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БОЕВЫХ КОЛЕСНИЦ В ДРЕВНОСТИ

Уровень развития военного дела жестко детерминирован. Он напрямую связан с уровнем социального развития, ведь от способа комплектования войск зависят их тактические особенности. Эволюция же тактики во многом базируется на способе ведения боя противником: с разными врагами и воюют по-разному. Эти факторы следует учитывать при рассмотрении общего хода развития колесниц.

Первый, протоколесничный этап развития лучше известен по месопотамскому материалу (III тыс. до н. э.)¹. Он связан с боевыми повозками двух основных типов, запряженных эквидами: одноместная двухколесная повозка-козлы и четырехколесная повозка (рис. 1, 1—3). Оба типа повозок снабжены колчаном с дротиками, что говорит об их боевом или охотничьем использовании. Судя по изображениям, повозки-козлы использовались как средство передвижения к месту сражения и на самом поле боя, а настоящими боевыми машинами были повозки с четырьмя колесами.

Уже в данный период государственно-храмовые хозяйства Шумера берут на себя обеспечение воинов этим дорогостоящим и технически сложным оружием. Относительно количества упряжек можно отметить, что князь Уммы имел элитное подразделение из 60 повозок. Такое количество упряжек достаточно внушительно для гвардии одного города.

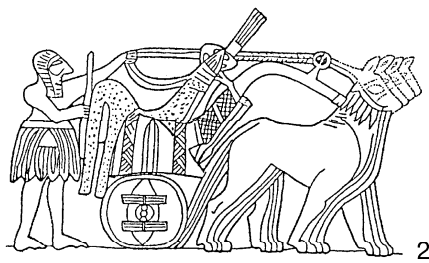
Рис. 1.

1. Фрагмент атаки боевых повозок. “Штандарт из Ура”, перламутровая двусторонняя мозаика. XXVI в. до н. э. Воспроизведено по: Littauer, Crouwel 1979: fig. 3.
2. Деталь каменной плакетки из Ура. Середина III тыс. до н. э. Показан пеший возница, ведущий квадригу-козлы, в которую запряжены четыре эквиды. Воспроизведено по: Littauer, Crouwel 1979: fig. 8.
3. Знатная персона, вероятно, божество, едет на повозке шумерского типа, в которую запряжены четыре быка. Деталь каппадокийской цилиндрической печати. Карум Каниш II (около 2000—1850 гг. до н. э.). Воспроизведено по: Clercq, Ménant 1888: pl. XXVII, 284.
4. Бига знатной персоны в сопровождении двух вооруженных спутников. Сирийская цилиндрическая печать. Первая половина II тыс. до н. э. Воспроизведено по: Porada, Buchanan 1968: pl. CXLVII, 971E.

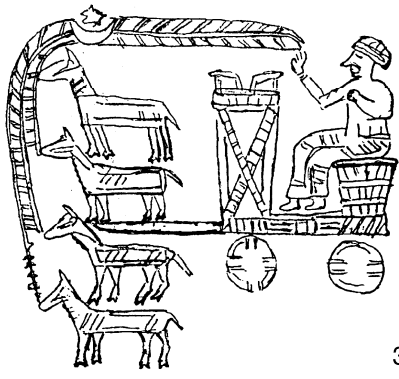
¹ В связи с ограниченным объемом статьи подробные ссылки см.: Нефёдкин 1997: 18—25, 91—95, 162—167, 196—200; 1997а.



1



2



3



4

Таким образом, можно говорить о появлении нового рода войск. Для реконструкции тактики боевых повозок важнейшим фактором является способ действия противника. Совершенно ясно, что воевали шумеры, в основном, между собой, т. е. на поле боя встречались две идентичные армии. Видимо, сражение начиналось боем воинов на повозках, которые стояли впереди пехоты. На “Штандарте из Ура” (середина III тыс. до н. э.) мы видим атаку четырех повозок-квадриг (рис. 1, 1). Она происходила в начальной фазе боя, если считать представление пленных князю в верхнем регистре мозаики конечным результатом сражения. Причем художник ясно показал, что первые три упряжки уже перешли в галоп, тогда как последняя еще идет шагом.

Второй этап колесничного развития — появление и начальное развитие колесницы (примерно XX—XVIII вв. до н. э.), лучше известен по переднеазиатскому материалу.

С приходом индоевропейцев на Ближний Восток, тут распространяется коневодство. Можно полагать, что колесница появилась из двух элементов: уже существовавшей на Ближнем Востоке легкой двухколесной повозки и новых упряжных животных — коней, способы тренинга и разведения которых принесли с собой индоевропейцы. Первоначально лошадь запрягали в традиционную четырехколесную повозку со сплошными колесами (ср. рис. 1, 3), настоящая конная колесница, имеющая колеса со спицами, появляется несколько позднее.

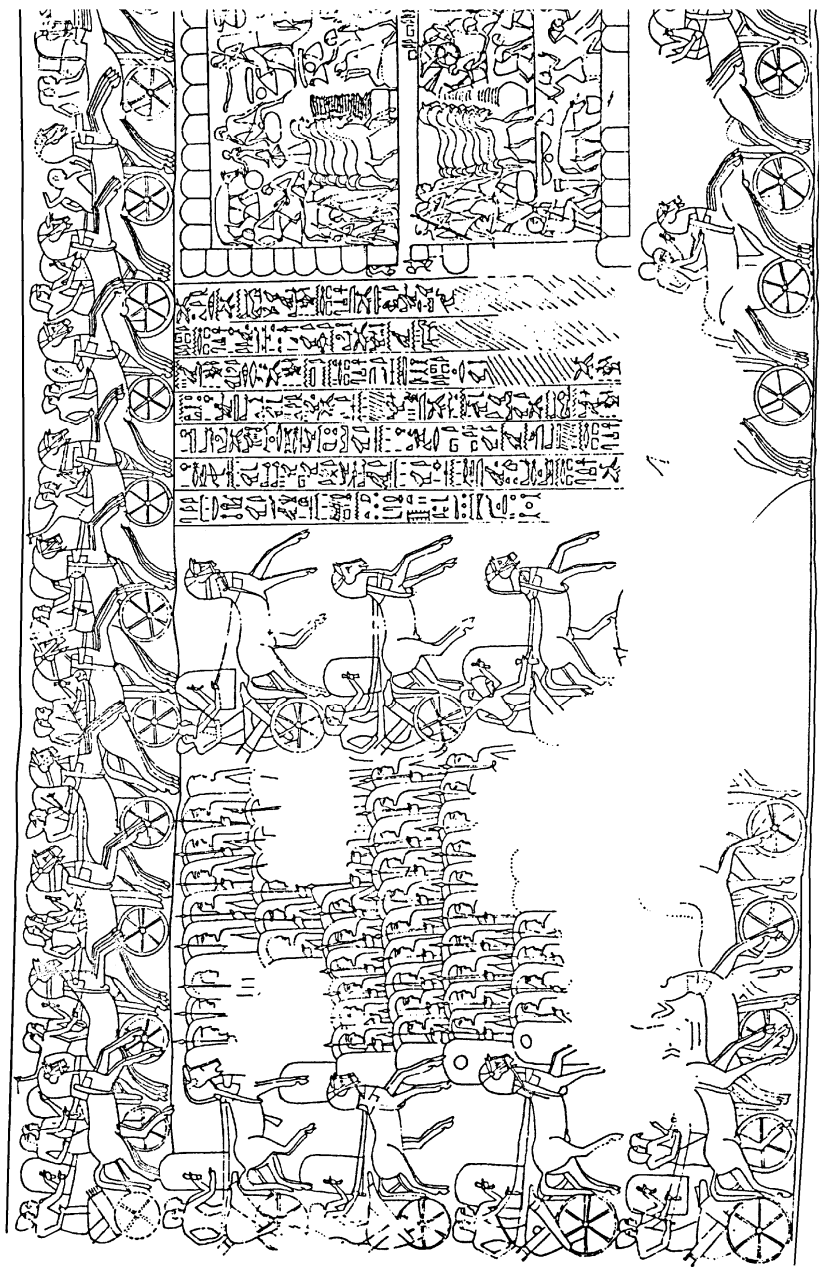
Вероятно, езда на повозке с лошадьми сначала носила парадно-представительский характер и была связана с дворцовой администрацией. Но уже в конце XIX в. до н. э. мы находим значительное по тем времен войско (40 упряжек и 1400 пехотинцев) царя Аниттаса в центральной Анатолии, которая, видимо, в процессе колесничного развития опережала своих соседей.

Третий этап колесничного развития — эпоха доминирования колесниц на поле боя (на Ближнем Востоке: XVII—X вв. до н. э.). К этому периоду колесничие приняли на вооружение давно известный на Ближнем Востоке сложный лук. Он, при сравнительно небольшом размере, был весьма упруг и имел дальноточность не меньшую, чем большой длинный лук. Вероятно, в качестве ответа на распространение этого лука у колесничих появляется чешуйчатый панцирь. Ведь колесничий, стреляя из лука обеими руками, уже не мог прикрывать себя щитом. В середине II тыс. до н. э. появляется и доспех для упряжки. Вместе с тем, там, где основным оружием было метательное копье, это оружие применялось и колесничими (позднемикенские и гомеровские греки, ливийцы, италийцы, кельты; рис. 3, 1).

Если в XVIII в. до н. э. колесницы использовали в бою, по-видимому, не очень широкая прослойка наиболее знатных воинов, то уже в следующем столетии количество колесниц увеличивается и они оформляются в особый род войск. Так, в надписи времени Хаттусилиса I (примерно 1650—1600 гг. до н. э.) говорится, что хетты осаждают хурритский город Уршу, имея армию из 80 колесниц и 8 отрядов пехоты. Видимо, в этот период складываются своеобразные колеснично-пехотные соединения. Возможно, мы видим их на сиро-анатолийских печатях и оттисках первой трети II тыс. до н. э. Тут знатного воина-колесничего, подчас снаряженного колчаном, сопровождают 2—4 пехотинца (рис. 1, 4). Вероятно, это и есть “бегуны”, пехотинцы, действующие на поле боя совместно с колесницами, играя при этом вспомогательную защитную роль.

Вероятно, из Малой Азии колесница распространилась на юго-восток, в Сирию и Месопотамию. В первой четверти XVII в. до н. э. колесница достигла Египта. Оттуда упряжки, начиная со второй половины XIII в. до н. э., распространились по Ливии. В середине II тыс. до н. э. колесница появляется в Центральной Европы, а к концу этого тысячелетия — в Скандинавии. Из западных областей упряжка пришла в Китай (вторая половина II тыс. до н. э.). Несколько позже, к XII—XI вв. до н. э., колесница известна нам и в Индии (Hančar 1956: 514). Таким образом, к концу II тыс. до н. э. колесницы распространились от Атлантики до Тихого океана.

С образованием в XVII в. до н. э. царства Митанни, в Леванте появилась особая привилегированная социальная прослойка колесничих — марианну. За свою службу они получали землю, поскольку товарно-денежные отношения были развиты слабо. Вследствие большой стоимости, государство продолжало (в разных вариациях) практику выдачи бойцам колесниц, коней, оружия и провианта. Вместе с тем, не только марианну служили колесничими, но и, наоборот, не у всех марианну были колесницы. Подобное же положение складывается в Индии, где знатные кшатрии воевали именно на колесницах. В Китае в XI—III вв. до н. э. аристократы тщательно изучали колесничное искусство и в бою сражались на упряжках в качестве лучников. Итак, знать не только имела время для военных упражнений, но, более того, ей полагалось тренироваться. Вследствие этого, она была более опытной и искусной в бою, нежели многочисленное, но плохо подготовленное пешее ополчение. Следовательно, у колесничих привилегированное положение в обществе соответствует их господству и на поле боя. Однако, в отличие от рыцарской Европы, авторитарное государство на Востоке осуществляло жесткий контроль за своими знатными бойцами, не позволяя им выйти из-под своего контроля.



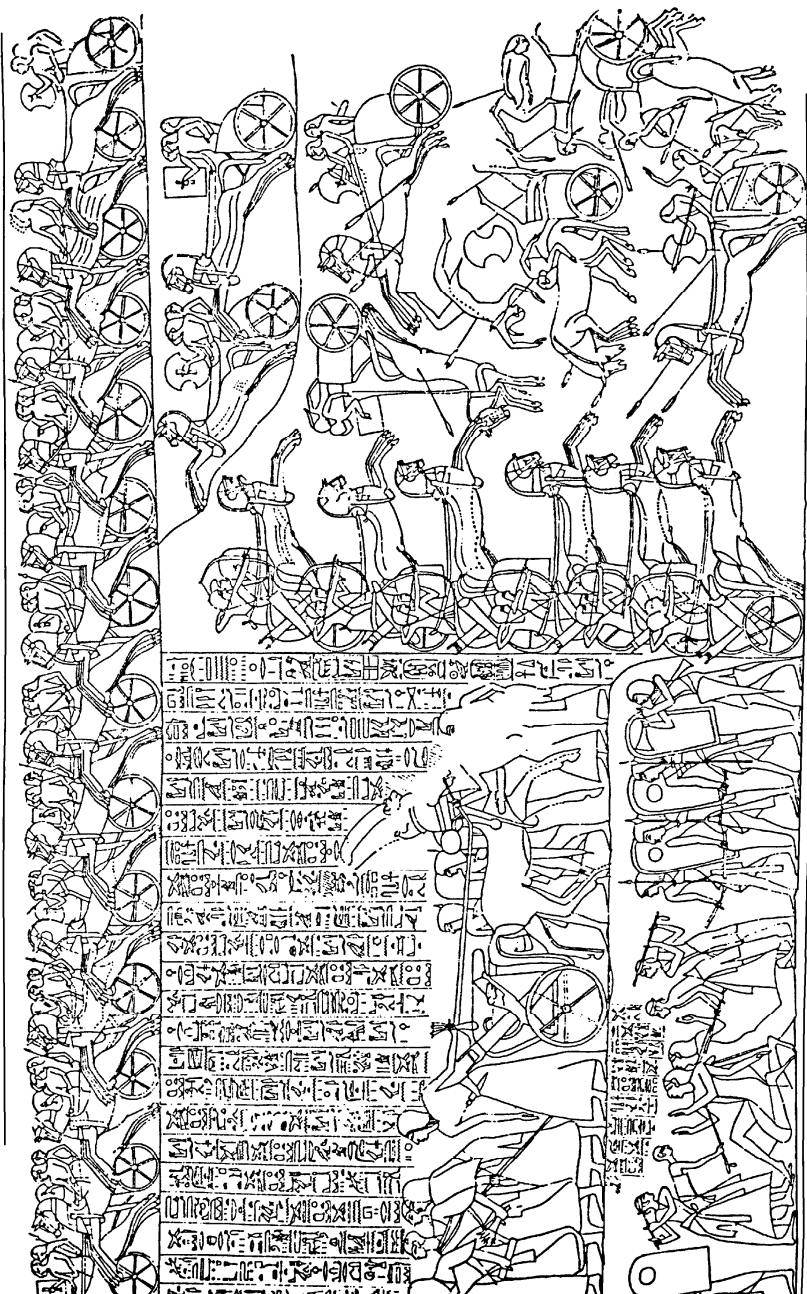


Рис. 2.

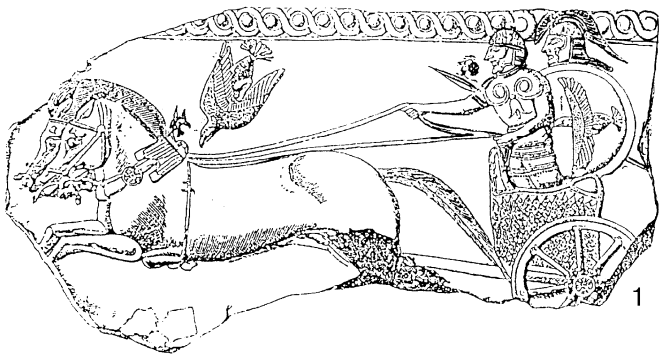
- Рельефное панно из Абу Симбела, представляющее битву при Кадеше, около 1300 г. до н. э. (правая стена колонного зала Большого храма).
- а) Подход к месту сражения соединения неаримов (молодцов). Колесницы этого соединения сразу переходят в атаку на хеттские биги.
- б) Бой египетских и хеттских колесниц. Воспроизведено по: Wreszinski 1935: taf. 170.
-

Для того, чтобы понять, как действовали армии с колесницами на поле боя, нужно знать, кто был их противником. Воевали же древневосточные царства чаще между собой. Вооружение и рода войск здесь были достаточно однородными. Число упряжек, выводимых на войну, становится значительным: сотни, а в крупных кампаниях — несколько тысяч; тогда как пехота насчитывала, в среднем, от нескольких тысяч до десятков тысяч воинов. Колесницы в эту эпоху ставились на поле боя перед пехотой, именно они решали судьбу битвы, сражаясь между собой (рис. 2б). Пехота, очевидно, могла даже не вступать в непосредственное столкновение с врагом, спасаясь бегством после поражения своих колесниц. Однако, естественно, пешие воины играли решающую роль при осадах и во время действий на пересеченной местности. Другой сценарий имел бой, когда один из противников не имел колесниц. Как заметил Дж. Денисон (1872: 5), "...в пешем бою пехотинец превосходит кавалериста и в стрельбе, и в маневрировании...". В этом случае колесничие или сами спешили, или, как египтяне, сначала бросали в атаку пехоту, которая наносила урон противнику. А затем в бой вступали колесницы. Кроме того, упряжки прикрывались в бою от вражеской пехоты "бегунами". В качестве вспомогательной функции колесницы охраняли походную колонну пехоты (рис. 2а), использовались для разведки и патрулирования.

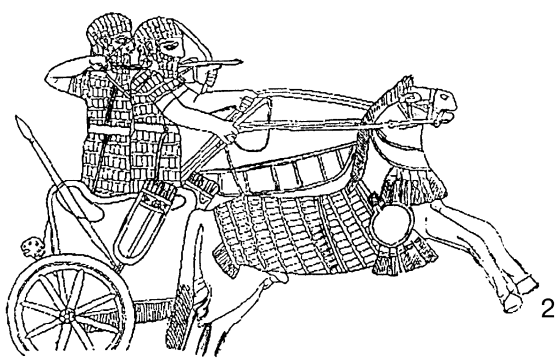
У племенных догосударственных обществ положение колесничих было несколько иное. Здесь колесницы еще во многом сохранили свой

Рис. 3.

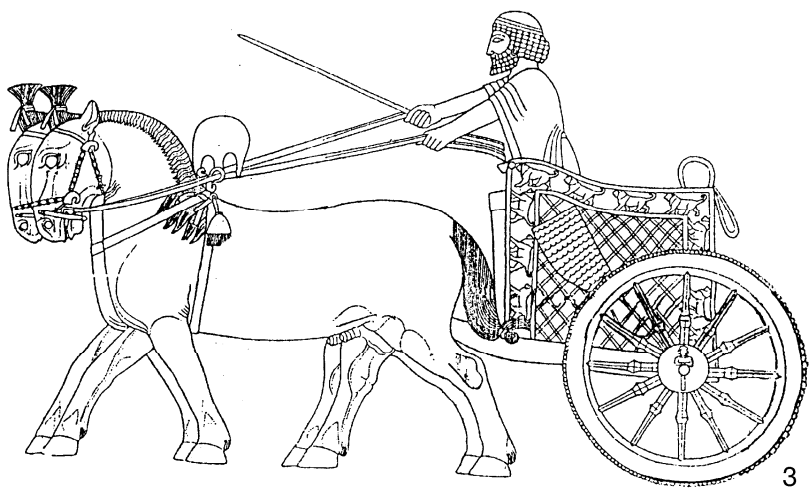
1. Колесница ионийского типа с передним и боковыми перилами. Возница в кирасе и шлеме из пластинок. Воин с греческим щитом, копьем, в шлеме напоминающем коринфский. Фрагмент терракоты из Сард. Около 530—520 гг. до н. э. Воспроизведено по изданию: Head 1992: fig 41a.
2. Тяжелая колесница восточного типа. Деталь рельефа львиной охоты из Сакчегёзу. Первая половина VIII в. до н. э. Воспроизведено по изданию: Littauer M. A., Crouwel J. H. *Wheeled Vehicles...* Fig. 58.
3. Парадная колесница, которую ведет возница в парадном одеянии. Фрагмент рельефа Ападаны в Персеполе. Начало V в. до н. э. Воспроизведено по изданию: Littauer M. A., Crouwel J. H. *Wheeled Vehicles...* Fig. 80.



1



2



3

первоначальный статус — они являлись в большей, чем на Востоке, мере представительским оружием. Ведь для поддержания престижа, знатный воин должен был выходить на войну на достаточно дорогой машине — на колеснице (ср.: Diod., V, 29; Flor., I, 37, 5). Тут колесничие являлись просто особым видом ополченцев, а не специально организованным родом войск. Вместе с тем, и у племенных обществ колесничие были также лучшими бойцами в силу хорошего вооружения, физической закалки, охотничьих навыков и т. п. Колесничий “Героического общества” намного чаще, чем восточный коллега, спешил в бой с колесницы, ведь с земли сражаться было все же удобнее, а сама упряжка была в большей мере показателем статуса. Таких колесничных воинов набиралось подчас немало (ср.: Caes. B. G., V, 19: у британского вождя Кассивеллауна было 4000 колесничих-эсседариев (54 г. до н. э.).

На Ближнем Востоке в первой половине I тыс. до н. э. наблюдается новая фаза колесничной эволюции, связанная с развитием всадничества. Документы более не упоминают колесничих-марианну. Всадники в течение X—VIII вв. до н. э. постепенно вытесняют упряжки в боевом употреблении, отбирая у последних сначала второстепенные функции разведки, патрулирования и т. д. На поле боя конники действуют вместе с колесницами. Азиатские упряжки, в основном, представляли собой площадку для лучника. Ведь на Востоке лук с древнейших времен был доминирующим оружием. Следовательно, упряжки являлись предшественниками конных стрелков: было заменено лишь средство передвижения — с колесниц воины пересели на коней. Данный процесс объясняется не только тем, что конники превосходят упряжки по двум наиболее важным тактическим параметрам, мобильности и маневренности, но и тем, что расходы на содержание конных лучников неизмеримо меньше, тогда как поражающая сила одинакового количества легких колесниц и всадников будет примерно равной. К тому же конница имеет меньше ограничений для действия на местности, чем колесницы (Артхаш. X, 4). Постепенно количество упряжек сокращается, а число всадников растет. Из-за немногочисленности колесниц бой между ними становится все более и более второстепенным явлением, не имеющим решающего значения для общего хода битвы. В этот период особенно распространяются доспехи для коней (рис. 3, 2), экипаж из четырех человек для лучшего действия в бою: увеличение поражающей силы и одновременно защиты. “Бегунов”, по-видимому, больше нет. Постепенное утяжеление ближневосточных колесниц в VIII—VII вв. до н. э., вероятно, связано с функцией их атаки на строй врага, причем данное нападение скорее носило психологический, чем физический характер. Следовательно, вероятно,

уже в VII в. до н. э. были заложены основы для последующего перехода невооруженной колесницы к серпоносной.

Следующий этап развития боевых колесниц связан с серпоносной колесницей (в Передней Азии: V—I вв. до н. э.). Появление данного вида оружия в Ахеменидской империи, очевидно, носило революционный характер, в отличие от Китая, где конструкция колесницы с лезвиями на осях постепенно, в течение нескольких веков, развивалась. Очевидно, процесс появления серпоносной колесницы у персов был катализирован столкновением с греческой фалангой, которую безуспешно атаковали пешие и конные стрелки персидской армии. В середине V в. до н. э. были созданы квадриги с серпами, которые имели лишь одну задачу на поле боя — атаковать сплоченную пехоту противника. Отметим, что эта функция была второстепенной у простых боевых упряжек. Для комплектования колесничих Ахеменидам потребовалось создать новую привилегированную военную прослойку помещиков (подробнее см.: Нефёдкин 1997б).

В то же время, на финальной стадии своего существования, простые боевые колесницы, по существу, возвратились к началу своего развития: они стали “боевой командной машиной”, символом статуса военачальника, с которой он руководит боем (рис. 3, 3).

Итак, все развитие боевых колесниц в древности можно разделить на шесть основных фаз.

1) Протоколесничный этап, период двух- и четырех колесных боевых повозок.

2) Период появления и первоначального развития колесницы.

3) Период доминирования колесниц на поле боя.

4) Период постепенной замены колесниц конницей.

5) Период колесниц, вооруженных различным колюще-режущим оружием.

6) Период колесницы — “боевой машины военачальника” (по хронологии этот период мог совпадать с предыдущим).

Естественно, что в разных регионах Старого света развитие колесниц необязательно проходило через все эти этапы и они не были синхронными. Лишь на Ближнем Востоке мы наблюдаем все эти стадии развития. Этот регион был лидером и по хронологии колесничной эволюции. Китай не прошел первые две фазы развития, третий период тут затянулся до III в. до н. э., а шестой — до II в. н. э., тогда как пятый начался раньше (эпоха Чуньцю: 722—481 гг. до н. э.), но не получил дальнейшего развития. В Индии история колесниц опять же начинается с третьего этапа, который растянулся до середины I тыс. до н. э. (на северо-западе страны), тогда как в южных областях шестая (?) стадия закон-

чилась в первой половине I тыс. н. э. В Северной Африки известен третий период, который завершился очень короткой и плохо известной четвертой стадией в первой половине III в. до н. э. У кельтов, наоборот, четвертый период чрезвычайно затянулся: у материковых галлов он охватывает примерно IV — первую половину I вв. до н. э., у южных британцев он длился до I в. н. э., а у каледонцев, вероятно, — до III в. н. э. (Dio, LXXVI, 12, 3); ирландцы также применяли колесницу в функции, характерной для шестой стадии, еще в середине I тыс. н. э. Таким образом, все эти регионы являются периферийными по отношению к колесничному развитию Передней Азии.

- Денисон Г.* 1872. Организация, вооружение и употребление кавалерии на войне / Пер. с нем. // Военная библиотека VIII: 1—194. СПб.
- Нефёдкин А. К.* 1997. Боевые колесницы в древней Греции (XVI—I вв. до н. э.). Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. СПб. (рукопись).
- 1997а. Боевые колесницы в древней Греции (XVI—I вв. до н. э.). Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. СПб.
- 1997б. Серпоносные колесницы: проблема происхождения // Вестник СПбГУ. Серия 2. Вып. 2 (9): 22—26.
- Clercq L., de, Ménant J.* 1888. Collection de Clercq. Catalogue méthodique et raisonné / Antiquités assyriennes I. Paris.
- Hančar F.* 1956. Das Pferd in prähistorischer und früher historischer Zeit. Wien; München.
- Head D.* 1992. The Achaemenid Persian Army. Stockport.
- Littauer M. A., Crouwel J. H.* 1979. Wheeled Vehicles and Ridden Animals in the Ancient Near East. Leiden; Köln.
- Porada E., Buchanan B.* 1968. The Collection of the Pierpont Morgan Library I.
- Wreszinski W.* 1935. Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte II. Leipzig.

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ НАМАЗГА VI

Археологическая периодизация первобытной эпохи Южного Туркменистана была создана в первой половине XX века. В 1904 г. американский геолог Р. Пампелли (Институт Карнеги, Вашингтон) вместе с немецким археологом Г. Шмидтом произвел раскопки на двух “курганах” (Северном и Южном) около сел. Анау, в 12 км к востоку от Ашхабада. Работы велись горизонтальными штольнями и колодцами, небольшими раскопами и шурфами, заложенными на разных уровнях по склонам холмов. Два тома материалов раскопок, вышедшие в 1908 г. (Pumpelly 1908), принесли “курганам” у сел. Анау мировую известность: в науке появилось понятие “анауские культуры”. Основанная на данных стратиграфии, четырехчленная хронологическая схема Пампелли-Шмидта (культуры Анау I—IV), охватывающая периоды от эпохи меди до раннего железного века, стала первой научно документированной археологической периодизацией истории древних племен Южного Туркменистана.

В 1952 г. Б. А. Куфтин предложил новую периодизацию “культур Анау”, разработанную им на материалах серии шурфов на поселении Намазга-депе, расположенного на подгорной равнине Копетдага в 105 км к В от холмов Анау. Последовательность различных культурных слоев в пяти шурфах дала “весьма содержательную стратиграфическую колонку в 34 м мощностью” (Куфтин 1956: 269). Выделенным археологическим комплексам Б. А. Куфтин дал наименования культур (снизу вверх): Намазга (НМЗ) I, II, III, IV, V, VI¹. Ученый выявил в стратиграфии Намазга-депе культуру НМЗ III, материалы которой отсутствовали в публикации Р. Пампелли. Культуру Анау III он разделил на три более мелких — Намазга IV, V, VI.

Периодизация первобытной эпохи Южного Туркменистана получает свое завершение после публикации В. М. Массоном результатов исследований в Мургабском оазисе (1959). Опираясь на схему Б. А. Куфтина, верифицированную аналогиями из синхронных памятников Ближнего и Среднего Востока (Гиссар, Сиалк, Гиян), В. М. Массон увязывает материалы древней Маргианы (мургабский вариант культуры НМЗ VI) с историей племен мигрантов из подгорной полосы Копетдага и дополняет

¹ Трагическая смерть Б. А. Куфтина в 1953 г. не позволила ему полностью опубликовать результаты своих работ. Увидели свет лишь небольшая статья (Куфтин 1954) и полевой отчет (Куфтин 1956). В научный обиход новая схема периодизации “анауских культур” была введена В. М. Массоном (1956).

схему Б. А. Куфтина культурами Яз I—III (эпоха раннего железного века — ахеменидское время). Эта шкала относительной хронологии (НМЗ I—VI — Яз I—III) древних культур Южного Туркменистана, по праву именуемая схемой Куфтина-Массона², стала общепризнанной периодизацией археологических культур юга Средней Азии, тем эталоном, к которому осуществляются привязки хронологических схем древнеземледельческих культур Бактрии, Маргианы, Согда, Хорезма.

За прошедшие 40 лет периодизация культур от энеолита до развитой бронзы не претерпела существенных изменений. Что же касается культур эпохи поздней бронзы — раннего железного века, то наибольшие споры вызывает правомерность существования культуры НМЗ VI и применение этого термина к материалам древней Бактрии и Маргианы³.

Существует ряд объективных причин, по которым стратиграфия культуры НМЗ VI остается слабо освещенной в науке. Б. А. Куфтин дал ее характеристику, главным образом, по материалам раскопа IV на “Вышке” (на плане его брата А. Куфтина это “верхний раскоп с шурфом” — *А. Ш.*). Здесь на площади в 100 м² “на уровне пола второго жилого комплекса” были вскрыты две большие вытянутые комнаты и двор с впущенным в него прямоугольным двухъярусным гончарным горном (Куфтин 1956: 177)⁴. Мощность культурного слоя в раскопе не превышала 1 м⁵. Шурф, опущенный с уровня второго пола, прорезал еще 7 метров культурных напластований, характеристика которых отсутствовала в полевом отчете, и была представлена лишь схематическим изо-

² Ряд авторов относит к этой схеме лишь этапы НМЗ I—VI (Удеумурадов 1993: 81—82).

³ Наиболее четко об этом пишет В. И. Сарияниди: “...в реальности не существует самостоятельного комплекса Намазга VI, который обладал бы необходимым набором объективных признаков”. “И будет совсем неверным и анахроничным продолжать говорить о “Мургабском варианте Намазга VI”, что противоречит настоящим данным” (Сарияниди 1990: 77).

⁴ Этот горн был связан с первым, не сохранившимся строительным горизонтом и, вероятно, относился к более поздним эпохам, чем культура НМЗ VI, о чем свидетельствует описание Б. А. Куфтина: “...намазгинская печь является точным древнейшим прототипом закавказских горнов позднеэллинистической эпохи в Мингечауре” (Куфтин 1956: 277).

⁵ Материалы раскопа незначительны: на двух фотографиях видны остатки стен и два уровня пола верхнего строительного горизонта, каменный подпятник, дно вкопанного в пол хума (Куфтин 1956: 262, рис. 2, 3), на третьей — медные серп и нож (Куфтин 1956: 279, рис. 25), повторенные в графических силуэтах, но названные “бронзовые кинжал и серп” (Куфтин 1956: вклейка, рис. 42). Описанию керамики (34 фрагмента) посвящено 27 строк (Массон 1956: 307—308, табл. XXXVIII—XL).

бражением форм 8 сосудов, каменных ступки и зернотерки (Куфтин 1956: вклейка, рис. 42). Таким образом, в раскопе были представлены материалы заключительного этапа культуры НМЗ VI, которые сопоставлялись с материалами соседнего поселения Теккем-депе (Куфтин 1956: 270), где в это время были раскопаны напластования двух строительных периодов верхнего горизонта (Ганялин 1956а: 69)⁶.

И. Н. Хлопин расширил раскоп своего предшественника на Намазга-депе и в течение ряда полевых сезонов (Хлопин 1966; 1968) 7 вскрыл планировку древнего поселения на площади в 1800 м². Результаты этих работ были введены в науку (Хлопина 1978) и культура НМЗ VI стала ассоциироваться с комплексом верхних слоев “Вышки” Намазга-депе.

И хотя нижние слои “Вышки” Намазга-депе были стратиграфически исследованы (Щетенко 1969; 1971; 1972; 1972а; Щетенко, Долуханов 1976), но из-за отсутствия своевременных публикаций этих материалов, культура НМЗ VI продолжала рассматриваться археологами как единый комплекс, сменивший на подгорной равнине Копетдага предшествующую культуру НМЗ V. Аналогичная судьба постигла и соседний с Намазга-депе холм Теккем-депе, где данные стратиграфии были опубликованы лишь в самом предварительном порядке (Щетенко 1971; 1972; 1973; 1973а; 1977; 1985).

На обоих памятниках работы велись Каахкинской экспедицией ЛОИА АН СССР (ныне ИИМК РАН) и XIV отрядом ЮТАКЭ под руководством автора⁸. Первоначальные стратиграфические траншеи были превращены в раскопы. На “Вышке” Намазга-депе траншея 1975 г. на северо-западном склоне холма в 20 м к северо-востоку от траншеи А. А. Марушенко прошла культурные напластования от крошащего слоя, вскрытого в раскопах Б. А. Куфтина и И. Н. Хлопина, до уровня современной равнины. Траншея 1968 г. на юго-западном склоне “Вышки”

⁶ Намазга-депе и Теккем-депе находятся соответственно в 117 и 119 км к ВЮВ от Ашхабада, в 6 и 4 км к ЮЗ от ст. Каахка, в 14—15 км от гор, отделяющих эти поселения от одновременных памятников Северо-восточного Ирана.

⁷ Работы на “Вышке” Намазга-депе были завершены в 1974 г. (Хлопин 1974).

⁸ В работах экспедиции в разные годы принимали участие сотрудники ЛОИА АН СССР и других научных учреждений страны: Н. К. Белая, Е. В. Бобровская, Т. Н. Вашкевич, Ю. А. Виноградов, Н. В. Головачева, С. Б. Гультов, Г. В. Длужневская, Н. А. Лазаревская, С. А. Майстренко, С. В. Красниенко, А. В. Пасхин, Е. Д. Паульс, Л. Т. Пьянкова (Душанбе), Е. В. Рогов, Л. К. Сергеева, С. Л. Соловьев, А. В. Субботин, А. В. Субботин (Одесса), А. И. Флотский, Л. И. Хлопина, В. Г. Шкода и ныне покойные А. Ф. Ганялин (Ашхабад), Г. Ф. Загний (Киев), Г. Н. Курочкин, В. И. Осипов, Б. Н. Пяткин, В. П. Третьяков. Особо следует подчеркнуть выдающийся талант археолога-полевика П. Г. Павлова. Им всем автор во многом обязан успешным проведением полевых работ на Намазга-депе и Теккем-депе.

в 30 м к западу от раскопа И. Н. Хлопина (в 1970 г. превращена в стратиграфический раскоп), достигла основания “Вышки” и углубилась на 3 м ниже. У основания обеих траншей колонковое бурение дало возможность проникнуть в нижележащие культурные слои вплоть до комплексов НМЗ II. В 1973 г. в кроющихся слоях стратиграфического раскопа 1970 г. были исследованы строения, планировка которых аналогична планировке строений, вскрытых в раскопе И. Н. Хлопина.

На Теккем-депе первоначальная траншея 1970 г. на юго-западном склоне холма была превращена в стратиграфический раскоп 1, достигший к 1988 г. площади 1200 м². Общая площадь вскрытых верхних напластований – раскоп 2 (южная и центральная части поселения) и небольшие раскопы 3 и 4 на северном шлейфе холма — составила 0.5 га. Материалы раскопок в 1968 и 1970 гг. фиксировались по ярусам⁹, а в последующие годы — по строительным периодам (полам жилищ) и горизонтам дворовых заполнений и мусорных свалок.

Стратиграфические колонки Намазга-депе и Теккем-депе выявляют эволюцию культуры эпохи поздней бронзы и, корректируя и дополняя друг друга, позволяют предложить теперь более детализированную периодизацию культуры НМЗ VI.

Поселение периода НМЗ VI на Намазга-депе ограничивается его северным холмом — “Вышкой” (площадь 0.5 га). Здесь выявлены напластования остатков десяти строительных периодов (Вышка 1 — Вышка 10), два из которых были периодами пожаров на поселении (рис. 1).

Три ранних строительных периода (Вышка 1—3) представлены остатками многокомнатного здания на платформе из сырцовых кирпичей. Оно перекрывает мусорную свалку, лежащую на слоях с материалами НМЗ V.

Период Вышка 4 представлен одним помещением иной ориентации, чем нижележащее здание, и производственным комплексом. В углу помещения лежали целые сосуды: две одинаковые по форме красноглиняная и сероглиняная миски (рис. 2, 8), лепной горшок степного типа (Щетенко 1999а: рис. 2, 2). Рядом, во дворе обнаружены сероглиняный кувшин с высоким горлом (рис. 2, 1) и набор каменных инструментов для металлообработки. Здесь же найдена каменная литейная форма (рис. 2, 9) для отливки нескольких предметов: 1) булавок с крестовидным и серповидным навершиями, 2) двулезвийных черенковых ножей с кольцевым упором, 3) коротких “ковровых” ножей. Этот комплекс находок, оставленный в спешке, перекрыт мощным (0.5—1.1 м) горелым слоем (Вышка 5 — первый период запустения поселения). Промазки полов следующего строительного периода (Вышка 6) располагаются над

⁹ Условная стратиграфическая единица, равная 0.5 м.

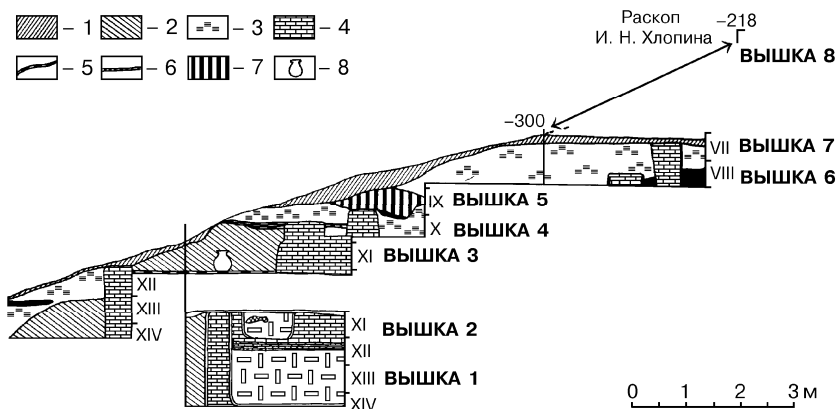


Рис. 1. Намазга-депе. “Вышка”.

Стратиграфия верхней части юго-западной бровки раскопа 1968 г.:

- 1 — натечно-надувные слои; 2 — плотная глина; 3 — мусорные слои;
- 4 — сырцовый кирпич; 5 — промазка пола; 6 — угольный слой;
- 7 — обожженные слои, уголь и зола; 8 — сосуд; VII—XIII — яруса.

Fig. 1. Namazga-depe. “Vyshka”.

Upper part of the cultural layers of the south-western part of excavation 1968:

- 1 — flow-inflated layers; 2 — compact clay; 3 — rubbish layers; 4 — mud brick;
- 5 — level of floor; 6 — charcoal; 7 — ashes and charcoal;
- 8 — vessel; VII—XIII — field layers.

остатками пепелища. Появляются новые жилища с квадратными глинобитными очагами, расположенными в центре. Снова на полу одного из помещений (№ 1) зафиксирован черный слой обгорелых остатков (0.15—0.5 м) — следы второго пожара на поселении (Вышка 7).

Следующий период Вышка 8 представлен такой же архитектурой и комплексом находок из нижних слоев раскопа И. Н. Хлопина 1974 г.¹⁰

Период Вышка 9 (с 2—3-мя уровнями полов) представлен материалами раскопов И. Н. Хлопина 1964—65 и 1967 гг. и в раскопе Б. А. Куф-

¹⁰ Сняв при помощи бульдозера остатки планировки верхнего горизонта (Вышка 9), одновременного постройкам раскопа Б. А. Куфтина, И. Н. Хлопин раскопал помещения периода Вышка 8 (Хлопин 1974: л. 1) и полученные материалы были обработаны Л. И. Хлопиной как единый комплекс. Но автор раскопок отметил, что очаги верхнего строительного горизонта (по моей схеме — Вышка 9 — А. Щ.) сложены из сырцовых кирпичей, поставленных на ребро, тогда как очаги той же формы, но глинобитные с лункой в центре, были характерны для построек нижнего периода (Вышка 8).

тина. Вышка 10 связана с существованием гончарных горнов (раскопано шесть, но могло быть и больше), причем, если они разновременны (о чем свидетельствуют различия конструкций), то вполне вероятно, существование их не только в раннем железном веке (керамика ахеменидского времени есть в кроющемся слое холма), но и в более поздние эпохи¹¹.

Теккем-депе расположен в 1.5 км к югу от Намазга-депе. Это — овалный холм (площадью около 2 га), вытянутый в меридиональном направлении. Его южная более высокая часть (5.5—6 м над окружающей равниной) соединяется с северной частью хорошо выраженной седловиной. Культурные напластования Теккем-депе составляют более 11 м, из которых 5 м находятся ниже уровня современной равнины. В южной части Теккем-депе (Щетенко 1999а: рис. 1, 5) раскопана часть здания, перестраивавшегося несколько раз. Оно было сооружено на платформе, за массивной стеной (высота 3.8—4 м) с круглой башней, вписанной в нее. Периодическое возобновление полов (9—11 раз) и забутовка ряда помещений (№ 33 и № 36) сохранили до наших дней первоначальную высоту стен строений от 1.9 до 3 м, фиксируя два основных строительных периода существования этого здания. В первом периоде (Теккем 1) здание было жилым строением, состоящим из нескольких (целиком вскрыто 15) прямоугольных комнат с пристенными лежанками (суфами) и угловыми каминами, с круглыми глинобитными очагами и квадратными столиками в центре помещений.

Во втором периоде (Теккем 2) многокомнатное здание было превращено в хозяйственный комплекс с дополнительными пристройками с западной и южной сторон 12. При перестройке комнаты разделили поперечными стенами, сократив вдвое их площадь; двери уменьшились наполовину, превратившись в стенные ниши; квадратные столики и суфы, заложенные сырцовыми кирпичами, подняли уровень полов, на которых появились новые производственные комплексы: горны и рабочие площадки. Эти два периода не зафиксированы в стратиграфии “Вышки” на Намазга-депе, где нет следов укрепленного поселения.

Выше на Теккем-депе на раскопе 1 лежат мусорные слои (0.8—1 м) с поздними погребениями периода запустения поселения (Теккем 3).

¹¹ Остатки средневековой постройки из обожженного кирпича и яма-котлован от ее фундамента находились между раскопом И. Н. Хлопина и нашим верхним раскопом 1973 г.

¹² В дальнейшем можно будет проследить и более детальную поэтапную динамику застройки основных строительных периодов Теккем 1 и 2, так как значительные строительные работы велись и по горизонтали: пристраивались помещения с западной южной стороны поселения, часть из них примыкала к основной стене-платформе.

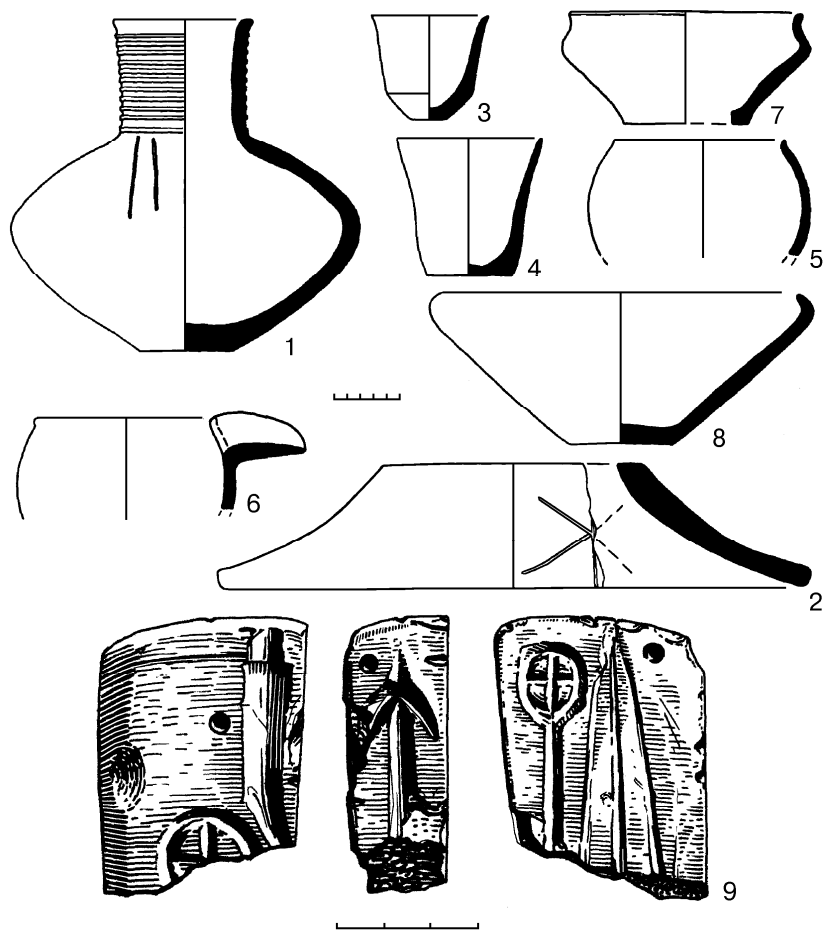


Рис. 2. Намазга-депе. “Вышка”. Керамика и каменная литейная форма (9).

Fig. 2. Namazga-depe. “Vyshka”. Pottery and stone casting form (9).

На них возведены однокомнатные дома (№ 18, 20, 25), на глинобитных полах которых, в центре помещения, сохранились квадратные глиняные очаги (период Теккем 4). Постройки этого типа занимают и всю центральную часть поселения, также перекрывая производственные комплексы с горнами и круглой оградкой. Планировочный принцип, интерьеры жилых и хозяйственных построек периода Теккем 4 аналогичны архитектуре строительных периодов Вышка 6—9.

В южной части раскопа 1 особый интерес представляла яма кузнеца или литейщика, вскрытая в западном углу помещения № 43¹³. В верхней части заполнения ямы находился комплекс предметов, связанный с металлургическим производством (Щетенко 1999б). Комплекс включал предметы из камня: три литейные формы (для отливки 5 предметов), прямоугольную заготовку формы, наковальню, шлифованный топор и кусок руды бурого железняка; шесть каменных и две глиняные крышки со следами нагара, а также изделия из бронзы: браслет, круглую пуговицу с литой петелькой, фрагмент ножа. Рядом с ямой раскопаны два горна.

Важными критериями для определения относительной хронологии культуры НМЗ VI являются металлические вещи, имеющие аналогии в датированных комплексах иных территорий. На обоих памятниках они малочисленны. На Намазга-депе это — однолезвийный и двулезвийный ножи (Куфтин 1956: рис. 25 и 42), обломок ножа, браслет в полтора витка и обломок пластины (Хлопин 1966: 74), однолезвийный нож с выделенной рукоятью и короткое круглое в сечении шило (Хлопина 1979: рис. 40, 1, 2). На Теккем-депе медные и бронзовые изделия представлены пробойниками, шильями, фрагментами двулезвийных ножей, браслетами, кольцами, бусами (Егорьков, Щетенко 1999).

Дополнительная информация о металлических изделиях может быть получена при изучении литейных форм. На Теккем-депе, судя по каменным формам из “ямы кузнеца”, отливали двулезвийные ножи с кольцевым упором у черенка, круглые выпуклые пуговицы с литой петелькой (сериями по 3—4 штуки), навершия ножей, подвески, votивные предметы (Щетенко 1999б: рис. 2, 1, 5—8). Два фрагмента каменных литейных форм найдено в верхних слоях “Вышки” Намазга-депе. Первый фрагмент — это половинка литейной формы (рис. 2, 9) в виде прямоугольного бруска (5.5 x 4.3 x 2 см) кремнистого темно-серого сланца, две поверхности и одну боковую грань которого использовали для изготовления пяти предметов: 1) двулезвийного наконечника, 2) двух булавок (короткой и длинной) с крестовидным кольцевым навершием, 3) булавки с серповидным навершием, 4) маленького ножа с загнутым лезвием и с коротким черешком для крепления в рукояти. Судя по целым экземплярам булавок с крестовидным кольцевым навершием и наконечников, найденных в могильниках долины Сумбара, первоначальная длина литейной формы была не менее 15.5—16 см. Это подтверждают и литники, расположенные у булавок со стороны противоположной навершию, а у наконечника — в основании черенка. Второй фрагмент каменной ли-

¹³ Яма была впущена с уровня верхнего пола помещения и наполовину заполнена мусорными слоями периода запустения поселения.

тейной формы, вероятно, также для отливки двулезвийных ножей с упором у черенка, найден в раскопе И. Н. Хлопина в 1974 г. в слоях периода Вышка 8 (Хлопина 1978: 13).

Металлические изделия, отливаемые в этих формах, представлены несколькими типами. Первый — это двулезвийный листовидный нож (плоского трапецевидного сечения) с нервюрой посередине лезвия, с черенком (круглого сечения) с кольцевым упором. Одновременно отливалось два ножа: длина одного — 9 см (черенок 2 см, упор 1.2 см), второго — 8.2 см (черенок 2.2 см, упор 0.9 см). Максимальная ширина клинков у ножей приходится на середину изделия. Из раскопа Б. А. Куфтина (Вышка 9) происходит нож (реконструируемая длина 8.2 см, черенок 1.8 см) с обломанным кончиком (Кузьмина 1966: табл. VI, 14), вероятно, отлитый в одной из таких форм.

Похожие предметы есть и в погребениях №№ 6 и 19 могильника Пархай I, где они названы дротиком и стрелой (Хлопин 1983: табл. LXI, 5, 11). Оба орудия имеют треугольные лезвия, максимальное расширение клинка находится ближе к кольцевому упору. Длина первого наконечника — 12 см (черенок — 2.5 см, упор — 1 см); длина второго — 15 см (черенок — 3 см, упор — 1 см). От намазгинских изделий их отличают более вытянутые пропорции.

Ножи с кольцевым упором “киммерийского типа” (часто их именуют кинжалами), широко представлены в культурах эпохи бронзы от Трансильвании на западе до Средней Азии на востоке (Дергачев 1975: 54—56). Наиболее яркие аналогии публикуемым изделиям представлены в Краснояцком (Черняков 1965: 90, рис. 1, 1—2) и Кобаковском (Тереножкин 1965: рис. 1, 24) кладах, а также в кладах с территории Молдовы — Березки, Мындрешты, Соколены и Гояны (Дергачев 1975: рис. 2, 13; 3, 22; 7, 5; 9, 18). Исследователи считают, что место расположения максимального расширения клинка у ножей с кольцевым упором является хронологическим признаком (Лесков 1967: 165; Дергачев 1975: 55).

Второй тип изделий — булавки с крестовидным кольцевым навершием — известен в могильниках Сумбара и Янги-кала. Они представлены двумя вариантами: 1) длинный, суживающийся к одному концу, стержень с крестообразным гладким кольцевым навершием и 2) короткая булавка того же типа, но навершие имеет 5 выступов. Первый вариант известен только по литейной форме с “Вышки” Намазга-депе, второй — по двум булавкам в погребении № 7 Янги-кала (Ганялин 1956б: 379, рис. 3). Оба вида булавок представлены в могильниках Сумбара. Две булавки первого варианта найдены в погребении № 6 могильника Сумбар II (Хлопин 1983: табл. L, 10, 11), а две булавки второго варианта — в погребении № 14 могильника Пархай I (Хлопин 1983: табл. LIII, 3, 4).

Точная копия первому варианту булавок происходит из клада эпохи поздней бронзы в Восточной Румынии, на границе с Молдовой. В нем найдено четыре каменные литейные формы для отливки двулезвийных ножей, плоских топоров, пуговиц с петелькой, булавок с крестовидным навершием (Petrescu-Dîmbovița: 1977: 60, fig. 49, 1—5). Весь набор металлических изделий клада, за исключением топора, соответствует предметам, изготовлявшимся в это же время на поселениях Теккем-депе и Намазга-депе. Если же рассматривать оба варианта булавок Южной Туркмении как разновидности всего класса булавок с кольцевым навершием, то к нашим аналогиям можно добавить и булавки с круглым дополнительным ушком на верхней части навершия из культуры курганных погребений Центральной Европы (Монгайт 1974: 60, рис. 13).

Третий тип изделий — круглые пуговицы с литой петелькой на внутренней слегка вогнутой стороне. В стратифицированных комплексах Средней Азии такие пуговицы найдены всего в двух местах: на поселении Яз-депе (раскоп II, яруса III—IV) в комплексе Яз-I (Массон 1959: табл. XXXIII, 2) и в культуре III Южного “кургана” Анау (Schmidt H. 1908: fig. 259). В Дальверзине наличие такой пуговицы указано ошибочно (Кузьмина 1966: 69)¹⁴.

Серебряная пуговица с петелькой найдена на северном холме в комплексе Гиссара IIIС (Schmidt E. 1937: pl. LV, H 2631). Бронзовый экземпляр вместе с булавкой с серповидным навершием происходит из слоев поздней бронзы Шах-Тепе II (Arne 1945: 64). Из бронзовых пуговиц конской упряжи некрополя “Б” Сиалка (могила № 15 — 7 штук, могила № 123 — 13; Ghirshman 1939: pl. LV, № 592a; LXXIX, № 994) только одна (из погребения № 15) типологически близка образцам из Теккем-депе, но имеет более крупные размеры (диаметр 4.5 см; Ghirshman 1939: pl. LVI, № 819a). В Тепе Гиян (слой I) в погребении № 3 вместе с железным кинжалом, бронзовыми удилами и трехдырчатыми псалиями оказалось 26 бронзовых пуговиц: 2 крупные, 3 мелкие и 21 среднего размера (Contenau, Ghirshman 1935: pl. V, 6; pl. 8, могила 3, рис. 12). Последние, как и одна из трех пуговиц из другого погребения (Contenau, Ghirshman 1935: pl. 18, могила 52, рис. 5) типологически сопоставимы с находками из Теккем-депе.

С другой стороны, литые бляшки-пуговицы с петелькой встречены только в федоровских памятниках (Черноземье I, Еловка II, Сухое озеро I, Орак) и одна каменная литейная форма для отливки таких пуговиц найдена на поселение Явленка I (Аванесова 1991: 65, рис. 55, 12). Вероятно,

¹⁴ В личной беседе 12.07.1996 г. Ю. А. Заднепровский объяснил, что на фотографии изображены остатки бляшки без петельки.

с кругом степных культур связаны и находки этого типа изделий на юге Средней Азии, поскольку в средних слоях Теккем-депе найдены фрагменты алакульской керамики, свидетельствующие об одном из ранних этапов контактов земледельцев со степным миром, а в самых верхних — лепная посуда саргаринско-алексеевской культурной традиции (Щетенко 1999а: рис. 2, 1, 3, 4; 3; Щетенко, Кутимов 1999).

Уникальным является предмет, отливаемый по матрице из “ямы кузнеца” Теккем-депе, в форме противостоящих треугольников с закругленными краями, напоминающий вотивные топорики из могил джаркутанского этапа сапаллинской культуры (Ионесов 1990: 9, рис.1). Кроме того, серии миниатюрных бронзовых изделий, изготовленных специально для похорон, найдены в могилах пилинской культуры (наследнице курганной культуры) финальной бронзы Восточной Венгрии (Монгайт 1974: 87).

Сопоставление стратиграфических колонок Намазга-депе и Теккем-депе выявляет их характерные особенности. Нижние строительные периоды на Намазга-депе (Вышка 1—3) перекрывают мусорную свалку, лежащую на слоях с материалами НМЗ V и могут считаться, судя по керамике (отсутствует серая), переходным этапом от НМЗ V к НМЗ VI. После этого поселение было оставлено. Следующий этап — период раннего НМЗ VI — раннее поселение Теккем-депе (Теккем 1—2), укрепленное стеной и башней (но отличное от крепостей мургабских оазисов), где *in situ* на полу одного из помещений найдены миниатюрная каменная “колонка” вместе с керамикой и металлическим двулезвийным ножом с черенком и листовидным лезвием. Наряду с гончарной светлоангобирванной керамикой здесь встречена краснофоновая и серая посуда одинаковых форм: чаши нескольких типов, вазы на ножках, острореберные кубки. Затем оставленные постройки были заполнены мусорными слоями. В них найдены черепки алакульской керамики. Поздний этап НМЗ VI маркируется на обоих памятниках (Вышка 6—9, Теккем 4—5) появлением однотипной планировки из домов с квадратными глинобитными очагами в центре. Преобладала красноангобирванная и серая посуда. На “Вышке” Намазга-депе финальный этап эпохи поздней бронзы отмечен находками степной керамики, двух однолезвийных ножей и одного двулезвийного ножа с кольцевым упором. На Теккем-депе на этом этапе старые жилища забутованы, появляются столбовые постройки, представлена орнаментированная и неорнаментированная керамика лепной выделки саргаринско-алексеевского типа — финального этапа андроновской культурной археологической общности пояса евразийских степей (Щетенко, Кутимов 1999). Находки целого гончарного биконического горшочка с росписью горизонтальными линиями ниже венчика и

нескольких венчиков лепных полусферических чаш, украшенных заливными треугольниками вершинами вниз — типичной керамики комплекса типа Яз I, указывают на вероятное обживание части Теккем-депе в пору раннего железного века. Об этом же свидетельствуют и находки железных бус в одном из погребений, исследованном А. А. Марушенко на “Вышке” Намазга-депе (Кузьмина 1966). Погребение было впущено в слой позднего НМЗ VI (Вышка 6) на северо-западном склоне холма.

Стратиграфические исследования Намазга-депе и Теккем-депе впервые показали существование ранних этапов культуры НМЗ VI, значительно увеличивших ее продолжительность. Эти этапы заполняют пробел между культурами НМЗ V и VI, когда последняя была представлена лишь материалами кроющего слоя “Вышки” Намазга-депе. Обе стратиграфические колонки фиксируют временной разрыв между комплексами периодов НМЗ V и VI и между ранним и поздним этапами НМЗ VI.

На обоих памятниках выявляется дробная периодизация эпохи поздней бронзы Южного Туркменистана: 1 этап — запуск поселения на “Вышке” после позднего периода НМЗ V и появление укрепленного Теккем-депе (периоды 1—2); 2 этап — ранняя НМЗ VI (Вышка 1—3); 3 этап — временное запустение поселений (Вышка 5, Теккем 3); 4 этап — поздняя НМЗ VI (Вышка 6—9, Теккем 4, 5); 5 этап — финал эпохи поздней бронзы — степные поселенцы (Вышка 10, Теккем 6). Намечаются и последующие этапы: 6 этап — начало раннего железного века — комплекс Яз I (Теккем 7); 7 этап — остатки полов и стен поселения времени Яз II с типичной раннеахеменидской керамикой (банки, кубки, цилиндрические сосуды, подставки в виде “песочных часов”), отмеченные на Намазга-депе (Вышка 11) и Теккем-депе (Теккем 8). Наличие средневековых построек на обоих памятниках, также как и поздних погребений на Теккем-депе, свидетельствует об обживании этих мест и в историческое время.

Итак, стратиграфические колонки Теккем-депе и “Вышки” Намазга-депе, керамические комплексы, типы (и химический состав) металлических изделий, имеющие аналогии в датированных комплексах Восточной и Центральной Европы, и в стратифицированных памятниках соседнего Ирана, позволяют относить заселение Теккем-депе и “Вышки” Намазга-депе в широких пределах переходного этапа от поры финальной бронзы к ранней фазе железного века.

Находки нескольких типов керамики, металлических и каменных изделий степного типа в стратиграфических колонках Теккема и Намазга отражают ряд этапов культурных взаимоотношений земледельцев Южного Туркменистана с северными племенами скотоводов (Щетенко 1999а). Первый этап — конечные фазы раннего периода Намазга VI (появление черепков алакульской керамики) и второй — время после ос-

тавления обеих поселений носителями культуры поздняя Намазга VI (керамика саргаринско-алексеевского круга).

Аналогичная картина отмечена и в Северной Бактрии на земледельческих поселениях молалинского и бустанского этапов сапаллинской культуры, где степная керамика имеет преобладающее сходство с федоровской керамикой Казахстана (особенно в зоне, прилегающей к Аралу) и в погребениях долины Заравшана, отражая ранний этап контактов со степняками-скотоводами. Поздний этап (саргаринско-алексеевский) — отмечен появлением налепных рельефных валиков на гончарной культовой посуде Джаркутана и наличием горшков с валиками в погребениях вахшской культуры (P'iankova 1993: 118). Следовательно, подгорная равнина Копетдага могла быть одним из возможных путей неоднократного движения на юго-восток племен андроновской культурно-исторической общности.

Абсолютные цифры для свиты слоев культуры НМЗ VI могут быть предложены после анализа серий радиоуглеродных определений из стратиграфических колонок Теккема (Зайцева, Марков, Щетенко 1981) и Намазга (Долуханов, Този, Щетенко 1985) при сопоставлении их с калиброванными датами финальной поры эпохи поздней бронзы стратифицированных памятников Древнего Востока, Средиземноморья, Восточной и Центральной Европы.

Аванесова Н. А. 1991. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР. Ташкент.

Ганялин А. Ф. 1956а. Теккем-депе // ТИИАЭ АН ТуркССР II: 67—86.

1956б. Погребения эпохи бронзы у селения Янги-кала // ПЮТАКЭ VII: 374—384. — Ашхабад: Издательство АН ТуркмССР.

Дергачев В. А. 1975. Бронзовые предметы XIII—VIII вв. до н. э. из Днестровско-Прутского междуречья. — Кишинев: Штиинца.

Долуханов П. М., Този М., Щетенко А. Я. 1985. Серия радиоуглеродных датировок из наслоений эпохи бронзы на Намазга-депе // СА 4: 118—123.

Егорьков А. Н., Щетенко А. Я. 1999. Состав металла поселения эпохи поздней бронзы Теккем-депе, Южный Туркменистан // Археометрия та охорона історико-культурнои спадщини 5: 39—44. Кивп.

Зайцева Г. И., Марков Ю. Н., Щетенко А. Я. 1981. Абсолютная хронология памятника эпохи поздней бронзы Теккем-депе (Южная Туркмения) // Изотопные и геохимические методы в биологии, геологии и археологии. Тезисы регионального совещания: 44—46. Тарту.

Ионесов В. И. 1990. Некоторые данные о могильнике Джаркутан-4В // История материальной культуры Узбекистана 24: 8—18. — Ташкент: Фан.

Кузьмина Е. Е. 1966. Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии / Археология СССР. САИ В4-9. — М.: Наука.

Куфтин Б. А. 1954. Работы ЮТАКЭ в 1952 г. по изучению культур Анау // ИАН ТуркмССР 1: 22—29.

1956. Полевой отчет о работах XIV отряда ЮТАКЭ по изучению культур первобытнообщинных оседло-земледельческих поселений эпохи меди и бронзы в 1952 г. // ТЮТАКЭ VII: 260—290. — Ашхабад: Издательство АН ТуркмССР.
- Лесков А. М.* 1967. О северопричерноморском очаге металлообработки в эпоху поздней бронзы // Памятники эпохи бронзы юга Европейской части СССР: 143—178. — Киев: Наукова думка.
- Массон В. М.* 1956. 1956. Расписная керамика Южной Туркмении по раскопкам Б.А. Куфтина // ТЮТАКЭ VII: 291—373. — Ашхабад: Издательство АН ТуркмССР.
1959. Древнеземледельческая культура Маргианы // МИА СССР 73. — М.; Л.: Издательство АН СССР.
- Монгайт А. Л.* 1974. Археология Западной Европы. — М.: Наука.
- Сарианиди В. И.* 1990. Древности страны Маргуш. — Ашхабад: Ылым.
- Тереножкин А. И.* 1965. Основы хронологии предскифского периода // СА 1: 63—85.
- Удемурадов Б. Н.* 1993. Алтын-депе и Маргиана: связи, хронология, происхождение. — Ашгабат: Ылым.
- Хлопин И. Н.* 1966. “Вышка” Намазга-депе // АО 1965 г.: 73—74.
1968. Раскопки на Намазга-депе // АО 1967 г.: 349—350.
1974. Полевой отчет о работе Сумбарской группы XIV отряда ЮТАКЭ. Рукописный архив ИИМК РАН. Ф. № 35, оп. № I, дело № 137.
1983. Юго-Западная Туркмения в эпоху поздней бронзы. — Л.: Наука.
- Хлопина Л. И.* 1978. Намазга-депе в эпоху поздней бронзы Южной Туркмении. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Л.
1979. Альбом иллюстраций к диссертации “Намазга-тепе и эпоха поздней бронзы Южной Туркмении” // Рукописный архив ИИМК РАН, ф. № 35, оп. 2-Д, дело № 266.
- Черняков И. Т.* 1965. Красномаяцкий клад литейщика // Краткие сообщения Одесского Государственного археологического музея за 1963 год: 87—123. Одесса.
- Щетенко А. Я.* 1969. Раскопки Тайчанак-депе и Намазга-депе // АО 1968 г.: 437—439.
1971. Раскопки Намазга-депе и Теккем-депе // АО 1970 г.: 430—432.
1972. Раскопки Теккем-депе и Намазга-депе // АО 1971 г.: 529—530.
- 1972а. Раскопки “Вышки” Намазга-депе // Успехи среднеазиатской археологии 1: 52—53. — Л.: Наука.
1973. Раскопки Теккем-депе // АО 1972 г.: 485.
- 1973а. Теккем-депе — поселение эпохи поздней бронзы // Тезисы докладов сессии, посвященной итогам археологических исследований 1972 года в СССР: 234—236. — Ташкент: Фан.
1977. Работы Каахкинской экспедиции // АО 1976 г.: 555—556.
1985. Изучение фортификации Теккем-депе // АО 1983 г.: 557—558.
- 1999а. О контактах культур степной бронзы с земледельцами Южного Туркменистана в эпоху поздней бронзы (по материалам поселений Теккем-депе и Намазга-депе) // Stratum plus 2. От Балкан до Гималаев: Время цивили-

заций: 323—335. — СПб, Кишинев, Одесса: Университет “Высшая антропологическая школа”.

1996. Литейные формы эпохи поздней бронзы с поселения Теккем-депе (Южный Туркменистан) // Конференция “Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья” (III Граковские чтения): 271—278. Запорожье.

Щетенко А. Я., Долуханов П. М. 1976. Работы на Намазга-депе в Южной Туркмении // АО 1975 г.: 555—556.

Щетенко А. Я., Кутимов Г. Ю. 1999. Керамика степного облика поселения эпохи поздней бронзы Теккем-депе (Южный Туркменистан) // АВ 6: 114—123. — СПб: “Дмитрий Буланин”.

Arne T. J. 1945. Excavations at Shah Tepe, Iran. Stockholm.

Contentau G., Ghirshman R. 1935. Fouilles du Tepe-Giyan près de Nehavend 1931 et 1932 / Musée du Louvre — Département des antiquités orientales. Série archéologique. III. — Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner.

Ghirshman R. 1939. Fouilles de Sialk près de Kashan 1933, 1934, 1937. Vol. II / Musée du Louvre — Département des antiquités orientales. Série archéologique. V. — Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner.

Petrescu-Dîmbovița M. 1977. Depozitele de Bronzuri din România. București.

P'iankova L. T. 1993. Pottery of Margiana and Baktria in the Bronze Age // International Association for the study of the cultures of Central Asia. Information bulletin 19: 109—127. — Moscow: Nauka.

Pumpelly R. (ed.). 1908. Explorations in Turkestan. Expedition of 1904. Prehistoric civilizations of Anau. Origins, growth and influence of environment. I, II. — Washington: Carnegie Institution of Washington.

Schmidt E. F. 1937. Excavations at Tepe-Hissar, Damgan. Philadelphia.

Schmidt H. 1908. Archaeological Excavations in Anau and Old Merv // Pumpelly R. (ed.). Explorations in Turkestan I: 81—186. — Washington: Carnegie Institution of Washington.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДАТЕ ПОГРЕБЕНИЙ ТИПА “ЯМЫ СО СПУСКОМ” ТУЛХАРСКОГО МОГИЛЬНИКА

Во второй половине 50-х годов А. М. Мандельштам (1968) в Тулхарском могильнике обнаружил и исследовал погребения, относящиеся к эпохе бронзы. Раскопки памятника позволили установить различные типы погребальных сооружений, среди которых основным являлись могилы типа “ямы со спуском”. Последние были отнесены исследователем к бешкентской культуре. Ориентируясь на евроазиатскую и древневосточную (иранскую, южнотуркменистанскую и афганистанскую) линии связей, А. М. Мандельштам датировал бешкентскую культуру XIII—IX вв. до н. э.

Повторный анализ химического состава металлических изделий бешкентской культуры, проведенный в лаборатории спектрального анализа ИА РАН, и сопоставление полученных данных с составом металла других среднеазиатских памятников ставят под сомнение вышеуказанные хронологические рамки существования этой культуры¹. Ныне установлено, что металл каждого этапа эпохи бронзы Средней Азии характеризуется своими вариациями сырья и рецептуры². Зная сырьевые и рецептурные сочетания в продукции производств, функционировавших в строго определенных периодах, можно сравнительно легко уточнить хронологическую позицию металлических предметов культуры.

Сопоставление комплекса могильника ранний Тулхар проводится с металлом культуры Сапалли, т. к. ее внутренняя хронология детально разработана и металлические предметы полно изучены как в типологическом, так и в химическом отношении. Кроме того, были привлечены анализы металла памятников низовьев р. Мургаб эпохи поздней бронзы.

Наблюдения за количественными соотношениями типов сплавов выявили определенную близость между тулхарским комплексом и металлом сапаллинского (XVII — начало XV вв. до н. э.), джаркутанского (XV — середина XIV вв. до н. э.), кузалинского (середина XIV — XIII вв. до н. э.) и молалинского (первая — третья четверти XII в. до н. э.) периодов культуры Сапалли³. Особенно значительное рецептурное сходство имело ме-

¹ Ранее химический состав металлических предметов из Тулхарского и Аруктауского могильников эпохи бронзы был проанализирован в ЛОИА и опубликован И. В. Богдановой-Березовской (1968: 163—168).

² Ряд формулировок автора излишне категоричны (Прим. ред.).

³ Указанная здесь дата молалинского периода отличается от датировки (XII — середина XI вв. до н. э.), предложенной исследователями сапаллинской культуры. Произведенные расчеты по типологическим группам показывают, что период Мо-

сто на молалинском этапе. Для него фиксируются примерно одинаковые с тулхарскими пропорциональные соотношения оловянистых бронз (доля таких изделий составляет 51.4 % в коллекции раннего Тулхара и 59.5 % — в комплексе Молали) и “чистой” меди (соответственно, 37.8 % и 27.0 %).

По сырьевым же показателям близким к тулхарскому металлу оказывается комплекс джаркутанского периода. Для этого времени фиксируется сильное сходство в пропорциональном распределении металла ирано-афганских и кызылкумских (возможно, казахстанских) источников в коллекции раннего Тулхара (67.6 % и 32.4 %) и джаркутанском комплексе (76.4 % и 22.1 %). На молалинском этапе такое сходство ослабляется. По другому признаку — степени химического сходства, наиболее близкими к тулхарскому металлу оказываются сапаллинский, джаркутанский и кузалинский комплексы (при максимальном значении 1 этот критерий равен 0.81). Заметно ниже значимость такого критерия между Тулхаром и Молали (0.58), что можно объяснить ослаблением металлургических связей между сапаллинцами и тулхарцами в молалинском периоде.

Наш вывод о связи тулхарского металла с материалами сапаллинского очага металлообработки отчасти подтверждается данными стратиграфических наблюдений в памятниках южноузбекистанских племен. Керамика тулхарского типа обнаружена в слоях кузалинского и молалинского времени⁴. В материалах же ранних этапов культуры Сапалли она пока не найдена, что как будто исключает взаимоотношения между сапаллинскими и бешкентскими племенами в XVII — середине XIV вв. до н. э. Пока трудно объяснить разнохарактерные проявления взаимосвязей по металлу и керамике на ранней фазе сапаллинской культуры между этими группами населения. Тем не менее, мы склонны признать наличие связей между ними в данное время и синхронизировать какую-то часть изделий коллекции Тулхарского могильника с ранними комплексами сапаллинского очага металлообработки. Об этом же свидетельствует близость химического состава металла бешкентских племен с коллекциями памятников Мургаба, синхронных сапаллинской культуре: показатели степени химического сходства тулхарского металла с медью некоторых памятников Адам-Басанского, Аджикуйского и Тоголокского оазисов велики (0.83 до 0.89).

лали был не столь длительным как, например, джаркутанский и кузалинский. Его продолжительность как минимум была короче в 2 раза и составляла не 150 лет, как полагают Б. Абдуллаев (1980: 16, 18), У. Рахманов (1987: 16), В. И. Ионесов (1990: 10) и Т. Ширинов (1993: 26, 28), а примерно 75 лет. Поэтому молалинский период следует датировать в пределах XII в. до н. э.

⁴ Сведения о находках тулхарской керамики в хронологических комплексах сапаллинской культуры представлены Ш. Шайдуллаевым, в связи с чем автор приносит ему глубокую благодарность.

Таким образом, проведенные сопоставления химико-металлургических показателей тулхарского металла с комплексами сапаллинского очага, а также мургабских памятников, позволяют отнести погребения типа “ямы со спуском” могильника ранний Тулхар к середине — второй половине II тыс. до н. э. и датировать их в пределах XVI/XV — XII вв. до н. э. Эти даты могут быть подтверждены типологическими материалами.

- Абдуллаев Б. Н.* 1980. Культура древнеземледельческих племен эпохи поздней бронзы Северной Бактрии (по материалам могильника Джаркутан). Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. — Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР.
- Богданова-Березовская И. В.* 1968. Химический состав металлических предметов из могильников эпохи бронзы в Бишкентской долине // Мандельштам А. М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане / МИА 145. — Л.: Наука.
- Мандельштам А. М.* 1968. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане / МИА 145. — Л.: Наука.
- Ионесов В. И.* 1990. Становление и развитие раннеклассовых отношений в оседлоземледельческом обществе Северной Бактрии. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. — Самарканд: ИА АН РУзб.
- Рахманов У.* 1987. Керамическое производство эпохи бронзы Южного Узбекистана. Автореф. дисс. ...канд. ист. наук. — Самарканд: ИА АН РУзб.
- Ширинов Т. Ш.* 1993. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии (По материалам городища Джаркутан). Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. — М.: ИА РАН.

ЮГО-ЗАПАДНЫЕ СВЯЗИ ПАЗЫРЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ТКАНИ) ¹

Уже на первом этапе научного изучения пазырыкской культуры Горного Алтая были определены и всесторонне рассмотрены ее связи с Ассирией, Ахеменидской державой и государствами Средней Азии (Руденко, 1953: 348—356; Грязнов 1965: 65—66 и др.). Новые материалы и тщательное исследование старых позволяют наметить новое направление в юго-западных контактах пазырыкцев.

Похороненная в кург. 1 могильника Ак-Алаха 3 женщина была одета в шелковую рубашу (рис. 1). При изучении ткани, использованной для ее изготовления, в Nara National Cultural Properties Research Institute (Япония) и Abegg-Stiftung (Швейцария) были независимо друг от друга сделаны заключения о не китайском происхождении шелка. Первое, что сразу бросается в глаза при осмотре рубахи — это ширина ткани, не соответствовавшая древнекитайским стандартам. Столь широкая ткань (около 130 см), размеры которой уверенно определяются наличием кромок, появилась в Китае лишь в танское время, когда изменился ткацкий станок. Несколько ранее, судя по письменным источникам, шелковая ткань такой же ширины появилась в Восточном Туркестане (Лубо-Лесниченко 1994: 172). Более древние китайские шелка имеют ширину не более 50 см. В ханьскую эпоху, например, ширина гладких тканей, обусловленная конструкцией ткацкого станка, колебалась между 45.5 и 49 см (Лубо-Лесниченко 1994: 149).

Изучение техники тканья шелка женской рубахи показало, что плотность пересечения нитей на 1см^2 равняется 30.5 нитям основы на 18 нитей утка ². По сравнению с китайскими тканями шелк рубахи обладал небольшой плотностью нитей. При значительном разнообразии видов китайских шелковых тканей, производившихся с середины I тыс. до н. э. — репс, тафта, газовые и т. д. (Лубо-Лесниченко 1994: 125—139), данный образец трудно отнести к какой-либо из этих разновидностей.

¹ Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, грант № 99-06-80-355.

² Для сравнения укажем, что найденный в этом же погребении шелковый мешочек, сшитый, как и все остальные образцы, обнаруженные в пазырыкских курганах, по определению Е. И. Лубо-Лесниченко (1994: 221), из ткани южно-китайского происхождения, имел плотность пересечения нитей на 1см^2 — 83 нити основы на 33.5 нитей утка.



Рис. 1. Могильника Ак-Алаха 3, курган 1, женская шелковая рубаха.

Даже визуально и при простейших подсчетах, становится очевидным отличие шелковой ткани женской рубахи из кургана 1 могильника Ак-Алаха 3 от традиционных древних китайских шелков.

При изучении разреза шелковых волокон под микроскопом со всей очевидностью было установлено, что оно было получено из коконов неодомащенного, “дикого” шелкопряда (*Rondotia menciaana*), сама ткань определяется как шелк типа Tussah. Шелк типа Tussah в натуральном не отбеленном виде имеет коричневатый цвет, обозначаемый как fawn — цвет шкурки молодого оленя, что соответствует цвету рубахи из кургана 1 могильника Ак-Алаха 3. Происхождение шелка, использованного для пошива рубахи, вряд ли может быть связано с древними государствами Китая, где уже в III тыс. до н. э. существовало шелководство и практиковалось разведение одомашненного шелкопряда (*Bombux mori*). Все обнаруженные в Китае шелковые ткани и даже те, наиболее древние из них, чьи отпечатки остались на древних бронзах, нефритах и керамике, были вытканы из нитей культивированных шелковичных червей. Наи-

более вероятным представляется, что шелк, из которого сшита рубаха женщины, мог быть произведен в одном из южных оазисов Восточного Туркестана.

Причины такого заключения — изготовление ткани из дикого шелка и не китайская традиция тканья, с использованием иного, нежели в Китае ткацкого станка. Значительная ширина ткани предусматривала отличающуюся от китайской традицию изготовления одежды. Действительно, пазырыкские рубахи наиболее близки размерами, кроем и отделкой древнейшим рубахам народов ближневосточного региона известным по египетским изобразительным источникам XVI—XI вв. до н. э. (Богословская 1995: 25—28), рубахам мидийцев и персов, фасон которых в общих чертах сохранился в традиционной одежде у народов Средней и Передней Азии. Южные оазисы Восточного Туркестана с древнейших времен заселяли индоиранцы, эти районы были тесно связаны с культурой и населением северо-западной Индии. За отсутствием находок древнего шелка не китайского происхождения на Западе, вопрос о времени, месте и возможности его производства там из диких шелкопрядов остается окончательно не выясненным (Лубо-Лесниченко 1994). Скорее всего, в описанном выше изделии, мы имеем образец ткани восточнотуркестанского происхождения, не связанного с китайской традицией.

Совсем недавно было установлено, что ткань одной из рубах из Второго Пазырыкского кургана и, возможно, подкладочная ткань второй, были изготовлены из хлопчатобумажной ткани, а не из конопли или кендыря, как предполагали ранее (Лубо-Лесниченко 1994: 224, 229). Проводивший исследование и сделавший это заключение известный японский специалист по древним тканям Ёнго Нуноме пишет, что наиболее вероятно индийское происхождение хлопка, а вид хлопкового полотна, возможно, соответствует тому, которое обозначалось термином “shu sloth” в письме, посланном Чжан Цянем из Восточных провинций китайскому императору (Jinjo Nunome 1992: 280).

Лед пазырыкских могил помог сохранить образцы тканей, производимых, вероятно, в южных оазисах Восточного Туркестана и в северо-восточной Индии и имевших широкое распространение в I тыс. до н. э. о чем, со ссылкой на утерянные для нас источники, свидетельствуют античные авторы Арриан, Страбон. В приведенных ниже сообщениях речь идет о хлопке: “Одежду индийцы носят льняную, как сообщает Непарх; этот лен снимают с деревьев” (Флавий Арриан 1990: 279); “Относительно деревьев, дающих «шерсть», Аристобул замечает, что в цветке их содержится семя, а по удалении зерна остальное можно чесать как шерсть” (Страбон 1994: 647); “Из этой «шерсти», согласно Непарху, выделывают искусно сотканые тонкие ткани, македоняне применяли их

вместо подушек и для набивки седел” (Страбон 1994: 646).

Охарактеризованные выше редкие ткани, из которых шились рубахи пазырыкской знати — важное, но не единственное свидетельство культурных связей населения Алтая скифского времени, распространявшихся вплоть до северо-западной Индии через посредничество земледельческого населения, проживавшего в оазисах вдоль южного края пустыни Такла-Макан.

Богословская И. В. 1995. Одежда народов библейских стран. — СПб: МАЭ РАН.

Руденко С. И. 1953. Культура населения Горного Алтая в скифское время. — М.; Л.: Издательство АН СССР.

Грязнов М. П. 1950. Первый Пазырыкский курган. Л.

Лубо-Лесниченко Е. И. 1994. Китай на шелковом пути. — М.: Наука.

Страбон. 1994. География. — М.: Научно-издательский центр “Ладомир”.

Флавий Арриан. 1990. Индия // История и культура древней Индии: 270—290. — М.: Издательство МГУ.

Jinro Nunome. 1992. The Archaeology of Fiber before your eyes. A compilation of photographs of fiber artifacts. — Kyoto: by Senshoku to Seikotsu sha Co., Ltd.

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ В ЮЭЧЖИЙСКИЙ ПЕРИОД (памятники пластического искусства и данные антропологии)

Для прояснения некоторых спорных моментов этногенеза Бактрии в юэчжийский период необходим сравнительный анализ памятников пластического искусства с данными антропологии (Алексеев 1982; 1989; Ходжайов, Абдуллаев 1990). Скульптура в научной литературе чаще всего рассматривается с точки зрения искусствоведения, хотя это далеко не единственный аспект её изучения. Когда речь идет об антропоморфных изображениях ¹, важную информацию может дать этно-антропологический анализ. С учетом степени реализма, особенностей восприятия, а также изобразительных традиций можно в определённой степени приблизиться к реальной ситуации историко-культурного комплекса.

Скульптурные произведения, несущие в себе дух эпохи, являются в то же время и творением конкретного художника, хранят отпечаток его художественного мировоззрения, его стиля, т. е. произведение приобретает некий субъективный характер. С этой точки зрения нельзя не учитывать и наличие определённых условностей, которые могут отдалить пластические образы от реальной этно-антропологической ситуации. Но какой бы ни была степень условности, наиболее характерные черты этноса отражены даже в образах культово-религиозного характера (рис. 1, 5). Эти отвлечённые собирательные образы тем не менее достаточно чётко передают расово-антропологический тип данной этнической общности. В качестве примера можно привести образ Будды (ср. изображения Будды в китайском и индийском искусстве). При сохранении традиционной иконографической схемы, в каждой этнической среде он наделяется чертами, характерными именно для данного этноса.

Когда речь идет о таких высокохудожественных произведениях как скульптура Халчаяна (Пугаченкова 1966; 1971), их анализ в сопоставлении с антропологическими данными позволяет определить этническую принадлежность персонажей с высокой степенью вероятности. Особую значимость здесь приобретает достоверность атрибуции самих произведений ².

¹ Тем не менее, даже в изображениях фантастического характера (сатиры, демоны, гопатшахи и другие полиморфные изображения) можно проследить определенные черты, отражающие наиболее характерные особенности этно-антропологической среды.

² Об иной интерпретации халчаянского цикла см.: Bernard 1989; Бернар, Абдуллаев 1997.

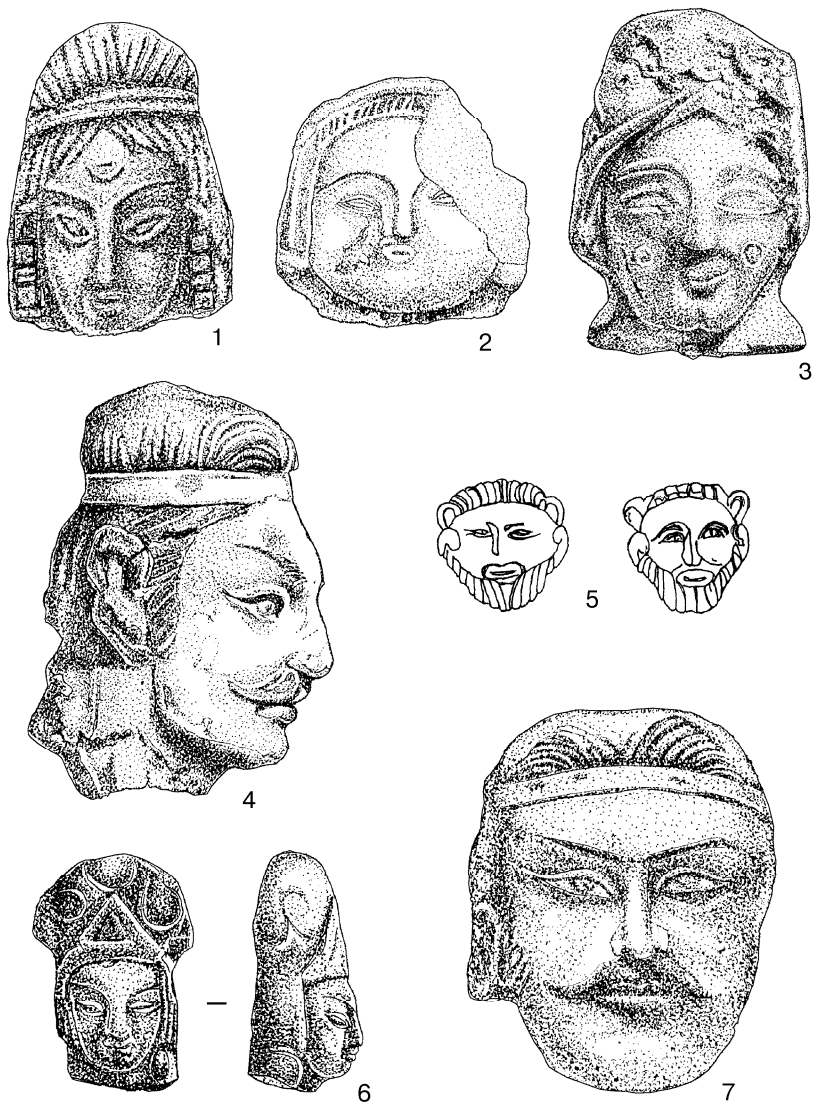


Рис. 1: 1—3 — терракотовые головки из Паенкурмана; 4, 7 — скульптурные головы из Халчаяна; 5 — головки из Пазырыка, демонстрирующие два типа лица (по С. И. Руденко 1960); 6 — терракотовая головка из Халчаяна.

Наряду со скульптурой существуют и другие категории изобразительного искусства, который могут быть привлечены в качестве сравнительного материала. Одной из таких категорий является мелкая пластика. Терракотовые изображения, чаще всего передающие наиболее популярные в народной среде культовые образы, также несут в себе обобщённые черты этно-антропологического характера.

Головки статуэток, рассматриваемые в настоящей работе, происходят из одного памятника — крепости Паенкурган, расположенной в Северной Бактрии примерно в 12 км от “Железных ворот” и 5 км к Ю от райцентра Байсуна. Все статуэтки происходят из одного культурного слоя, датируемого на основе археологического комплекса I в. до н. э. — первой половиной II в. н. э. Датировка подкреплена находками монет “варварского” Гелиокла, Сотер Мегаса, Вимы Кадфиза, Канишки и Хувишки. Слой этот относится к последнему этапу обживания, когда крепостная стена уже утратила свою изначальную оборонительную функцию (строения на самой стене) и крепость превратилась в рядовое поселение. В процессе раскопок была собрана большая коллекция терракотовых статуэток. Наиболее распространенный тип — культовый образ женского божества на троне.

По внешнему облику все головки можно подразделить на три типа. Для первого типа характерны слабовыраженные монголоидные признаки — это европеоидный тип с незначительной примесью монголоидности (рис. 1, 1). Удлиненная форма разреза глаз сама по себе еще не говорит о монголоидности, но наклон глазной щели соответствует монгольскому типу. Брови следуют параллельно линиям глаз под тем же углом. Угол этот даже визуальнo значителен относительно горизонтальной оси. Эпикантус не выделен, однако отсутствие его можно объяснить ограниченностью технических возможностей мастера, для которого данная деталь в мелком масштабе была трудно исполнимой и в то же время не столь важной. Лицо овальное, с небольшим ртом и плотно сомкнутыми губами, лоб довольно высокий и покатый.

Особое внимание привлекает прическа. Она необычно высока и перехвачена в середине широкой, выделенной рельефом лентой, напоминает высокий округлый головной убор. Однако, если взглядеться более внимательно, то можно обнаружить, что линии волос, дойдя до основания ленты, продолжают за ней. Все это наводит на мысль — не пытался ли мастер передать искусственную кольцевую деформацию головы, которую он наблюдал в натуре?³ В этом отношении очень наглядна го-

³ Не исключено, что некоторая раскосость глаз возникла (или только усиливалась?) именно вследствие черепной деформации.

лова “Герача” (по определению Г. А. Пугаченковой) из Халчаяна, демонстрирующая близкую форму головы и прически (рис. 1, 4). Возможно, в более позднее время мастера уже утратили понимание этой детали как таковой; в их сознании она трансформировалась в некий головной убор, принимавший иногда весьма значительные размеры (Pyasov, Mkrtychev 1991/92, pl. IV, 4; V, 3, 4).

Интересно отметить также знак на лбу в виде полумесяца рожками вверх и чёрточки над ним, выполненный либо краской, либо татуировкой и передающий символику божества⁴.

Терракотовая головка (рис. 1, 2) передаёт второй тип лица и головного убора. Лицо имеет широкую подквадратную форму с коротким носом и маленьким ртом с плотно сомкнутыми губами. Широкий разлёт бровей дугообразной формы следует по горизонтальной оси. Узкий разрез глаз обведён тонкими рельефами век, подбородок тяжёлый, как бы заплывший, волосы коротко подстрижены и доходят до уровня подбородка. Фактура их показана в верхней части надо лбом в виде прямых коротких и косых линий. На волосы находит сверху другой рельеф, передающий, вероятно, плоский головной убор. С монголоидным типом это изображение более всего сближают широкие скулы и узкий разрез глаз.

Терракотовая головка третьего типа резко отличается от двух предыдущих целым рядом признаков. Форма лица овальная, сужающаяся к подбородку (рис. 1, 3). Глаза крупные с широким разрезом и подчеркнутыми рельефами век, внешний край их опущен вниз. Брови широкие дугообразной формы, переходящие на переносице в линии довольно крупного носа. Рот с пухлыми губами на краях имеет небольшие углубления, передающие выражение легкой улыбки. На щеках проставлены метки в виде кружочков⁵. Головной убор, закрывающий уши, сужается в верхней части и подчеркнут у основания рельефной линией. Эта головка имеет явно европеоидный облик.

Все три приведенные терракотовые головки демонстрируют различные антропологические типы, для двух из них характерны монголоидные черты. Прежде чем приступить к сравнительному анализу, заметим, что в материале близлежащего к Паенкургану и синхронного с ним могильника Рабат-I был зафиксирован, по определению С. Мустафакулова, череп с кольцевой деформацией (1996).

Первая из рассмотренных выше головок по своему внешнему обли-

⁴ Более подробно об этом см.: Абдуллаев К. Троны божества в корoplastике Бактрии. (В печати).

⁵ О значении этих знаков см.: Tanabe 1988. О другой точке зрения по этому вопросу см.: Invernizzi 1990.

ку очень близка к персонажу халчаянской скульптуры, так называемому гераеву типу. Наиболее явно это сходство обнаруживается в профильном ракурсе. Здесь та же раскосая форма глаз и бровей, вытянутых к вискам, та же покатость лба, та же форма головы, перехваченной лентой, подчёркивающей кольцевую деформацию (на халчаянской скульптуре раскосость подчёркнута также раскраской). В. П. Алексеев, первый осуществивший соматологический анализ халчаянской и дальверзинской скульптуры, не обнаружил в скульптурных изображениях монголоидной примеси (1982: 44)⁶, поддержав, таким образом, выводы, сделанные ранее Г. А. Пугаченковой (1965: 132)⁷. По словам В. П. Алексеева “статуи Халчаяна и Дальверзина обнаруживают влияние греческого этнического элемента” и “основной представленный в них комплекс признаков отражает антропологические особенности потомков древних ариев и поэтому сходен с антропологическим типом высших каст северных и западных районов Индии” (1982: 52). Краниологический материал бактрийского региона и близкого по времени памятника Туп-хона, исследованный В. В. Гинзбургом (1950) и показывающий “слабую монголоидную примесь” остается, по мнению автора, лишь “визуальным впечатлением” (Алексеев 1982: 45).

В. Я. Зезенкова, отмечает, что “в ископаемом краниологическом материале кушанского времени ...монголоидный тип единичен или отмечен только в качестве незначительной примеси”. Однако вывод о том, что “племена, вошедшие в состав Кушанской державы, были европеоидами и не могли формироваться на территории, занятой монголоидами” (1974: 231) представляется несколько категоричным. Подобное утверждение идет вразрез с данными всех китайских хроник, являющихся основным письменным источником по истории юэчжей. Именно в них прослеживается теснейший контакт различных этнических групп (в том числе и сюнну) с племенами юэчжей.

Обратимся к антропологическому материалу Северной Бактрии. Анализ краниологического материала из погребений кочевников кушанского времени на правом берегу Амударьи, а именно Тулхара, позволил зафиксировать среди ведущего европеоидного типа и монголоидную

⁶ Создается впечатление, что, приведя пространную и яркую по своему характеру цитату Г. А. Пугаченковой, автор попадает под обаяние ее таланта и соглашается с выводами, отрицающими какую-либо монголоидную примесь. См.: Пугаченкова 1965: 132—133; Алексеев 1982: 44—45.

⁷ Интересно отметить, что найденные на Дальверзинтепе две статуэтки “с полным лицом, сильно закатанным лбом, с косым разлетом бровей и глаз” Г. А. Пугаченкова связывает уже с “образами Гераичей из халчаянского дворца” (Пугаченкова, Ртвеладзе, Тургунов 1978: 174).

примесь (особенно среди женщин; Кияткина 1974: 241). Монголоидная примесь отмечается в материалах из айртамских погребений, относящихся ко II—I вв. до н. э. (Ходжайов 1980: 108), а также Старого Термеза (I в. до н. э. — I в. н. э.; Мустафакулов 1996: 15—17). Наконец, краниологические данные, полученные из Дальверзинских наусов (I в. до н. э. — I в. н. э.) и имеющие непосредственное отношение к населению древнего города, демонстрируют слабую кольцевую деформацию. Типологически одна группа примыкает к восточно-средиземноморскому типу, другая — аналогична черепам “из курганных могильников Северной Бактрии — Позднего Тулхара, Арук-Тау, Бабашово и др. (Ходжайов 1980: 110, 120).

Подводя итог этому предельно краткому обзору краниологического материала, воспользуемся очень удачной, на наш взгляд, формулировкой Т. П. Кияткиной о Тулхаре: “вполне логично полагать, что в Тулхаре мы встретились с различными типами, ибо кочевники, принадлежавшие к юэчжийскому союзу племен, включали в себя самые различные этнические группы, имеющие разное происхождение и, может быть, различный физический тип” (1974: 240). Это положение хорошо согласуется с письменными источниками, повествующими не только о мирных брачных союзах, но и массовых насильственных акциях в периоды войн.

Терракотовая скульптура из Паенкургона полностью подтверждает идею об антропологической неоднородности населения в юэчжийский и кушанский периоды не только в городских центрах, но и на периферии Северной Бактрии.

- Абдуллаев К. 1988. Об одном сюжете в коропластике кушанской Бактрии // Я. Г. Гулямов и развитие исторических наук в Узбекистане. ТДК. Ташкент.
- Алексеев В. П. 1982. Опыт антропологической оценки скульптур Халчаяна и Дальверзина // СА 1: 44—53.
1989. Историческая антропология и этногенез. М.
- Гинзбург В. В. 1950. Первые антропологические материалы к проблеме этногенеза Бактрии // МИА 15.
- Зезенкова В. Я. 1974. Некоторые краниологические материалы кушанского времени в Средней Азии // Центральная Азия в кушанскую эпоху 1: 226—236. — М.: Наука.
- Кияткина Т. П. 1961. Черепа из могильника Арук-Тау (Таджикистан) // Антропологический сборник. III. ТИЭ АН СССР. Новая серия. Т. 71.
1974. Погребения кочевников кушанского времени на правобережье Амударьи (Антропологические материалы) // Центральная Азия в кушанскую эпоху 1: 237—243. — М.: Наука.
1976. Материалы по палеоантропологии Таджикистана. — Душанбе: Дониш.
- Мустафакулов С. 1996. История формирования населения Бактрии-Тохаристана. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент.
- Пугаченкова Г. А. 1966. Халчаян. К проблеме художественной культуры Север-

ной Бактрии. Ташкент.

1971. Скульптура Халчаяна. — М.: Искусство.

1978. Сокровища Дальверзинтепе. — Л.: Аврора.

Пугаченкова Г. А., Ртвеладзе Э. В., Тургунов Б. А. и др. 1978. Дальверзинтепе — кушанский город на юге Узбекистана. — Ташкент: Фан.

Руденко С. И. 1960. Алтай и его древние обитатели // Доклады на ежегодных чтениях памяти Л. С. Берга: 60—74. М.; Л.

Ходжайов Т. К. 1980. К палеоантропологии древнего Узбекистана. — Ташкент: Фан.

Ходжайов Т. К., Абдуллаев К. 1990. Внешний облик древних людей Узбекистана. (Скульптура и пластическая реконструкция). Ташкент. (На узб. языке).

Pyasov Dj., Mkrtychev T. 1991/2. Bactrian Goddess from Dalverjintepe. Attempts of Typological Analysis. Kamakura.

Invernizzi A. 1990. Facial Marks in the Parthian World // Silk Road and Archaeology 1: 35—46.

Tanabe K. 1988. Iranian Xvarmah and the Treasure of Shosoin at Mara in Japan // Iranica Antiqua XXIII: 365—381.

EARLY HELLENISTIC BACTRIA: WEIGHING THE EVIDENCE

Every scholar devoted to the study of ancient Central Asia knows the importance of numismatic evidence. We rely constantly upon the technical and artistic testimony of coins to shape our basic understanding of the region's history, culture, and chronology. Indeed, the complex story of Hellenistic Bactria could never be told without the indispensable evidence supplied by its coinage. That fact explains the urgency for careful research and then for rigorous testing of all ensuing theories; otherwise, the numismatic foundation for our historical knowledge will be undermined and all of our work imperiled.

One of the greatest dangers in modern numismatic science is the careless handling of numerical data. Statistics must be closely scrutinized lest they mislead us into false security or, worse, false conclusions. Too often, for example, we ask various numbers to validate theories for which the raw data have no actual relevance. Therefore, we must be cautious how and what we quantify because, inevitably, such information will be passed along to other scholars and, if unchecked, perpetuate an unfortunate chain of errors. Because Bactrian studies remain so dependent upon reliable numismatic analysis, our responsibility to identify and to correct mistakes in the scholarly literature could not be greater. I therefore take this opportunity to perform such a duty.

The weight standard employed for any mintage constitutes vital information about regional economies, trade relationships, cultural legacies, and other matters. The adoption (or imposition) of the Attic standard throughout much of Alexander's empire has been considered quite significant in this regard, and scholars have looked closely to learn which kingdoms remained integrated into this coinage system (Mørkholm 1991: 8). This research is complicated by changes in the Attic standard throughout the Hellenistic period, and by methodological limitations owing, in part, to actual minting practices and coin wear (Mørkholm 1991: 7—8). In general, however, experts have placed Bactria (at least from the time of Antiochus I down to Eucratides) in the mainstream of Hellenistic states employing the Attic standard, allowing of course for a gradually declining standard and some local aberrations (Lahiri 1965: 14; Hollis 1994: 279; Mitchiner 1975, vol. I: 39—44; Bernard 1985: 105; Mørkholm 1991: 118; Narain 1957: 29).

In his magisterial catalogue of Bactrian coinage, Osmund Bopearachchi has accepted this judgment with slight qualification: “l'étalon dit attique, en vérité gréco-bactrien”. Later on he writes (p. 44): “Nous avons dit que le monnayage des Diodotes et leurs successeurs en Bactriane était d'étalon at-

tique. Il faut remarquer cependant que le poids des tétradrachmes comme celui des drachmes...subit une l'égère, mais constante diminution de poids: aucune tétradrachme gréco-bactrien n'atteint le poids d'étalon attique de 17g et presque toutes les pièces du trésor d'Ai Khanoum II ont un poids inférieur à 16g. Les drachmes descendent souvent au dessous de 4g".

Bopearachchi is not quite right, of course, when he argues that no Graeco-Bactrian tetradrachm attained the weight of the Attic standard of 17 grams. A tetradrachm of Heliocles I from the Kunduz hoard weighs nearly 18 grams, and several other examples from the same hoard weigh 17 grams or more (Curiel & Fussman 1965: nos. 26, 31, 56, 61 and 561). In fact, a tetradrachm of Eucratides II in the Bibliothèque Nationale weighs over 17 grams, as catalogued by Bopearachchi himself (p. 219). It should be noted as well that the Attic standard was no longer 17 grams by the time these kings reigned; at Antioch, it had already dropped to about 16.80 grams and continued to fall (Mørkholm 1991: 8).

On the other hand, Bopearachchi's next numerical fact cannot be disputed — nearly all of the Graeco-Bactrian coins from the 1973 Ai Khanoum hoard (II) weigh less than 16 grams. To be more precise, the data recorded by Petitot-Biehler shows that forty-three of these forty-nine coins (88 %) do so. But, does this simple statistic give us a valid overall impression of coin weights in Hellenistic Bactria? That depends first of all upon whether the 1973 Ai Khanoum hoard provides a representative sample, or a data-base skewed in some way by unknown circumstances related to the hoarder. As one way to check this point, we may compare the weights of tetradrachms from the 1974 Ai Khanoum hoard (III). In this instance, we are limited to the ten tetradrachms for which the weights have been recorded (Holt 1981). Only four of these (40 %) fall below 16 grams, a very different result indeed. This casts some doubt on the original statistic, but this second (1974) sample is very small and it might be argued that we only know the weights of coins later appearing in auction catalogues, a perhaps selective and misleading sample of the hoard as a whole.

Alerted nonetheless to a possible problem with Bopearachchi's argument, other hoards might be considered. The 1983 Bukhara hoard contained fifty tetradrachms from the reigns of the Diodotids, Euthydemus I, and Agathocles (Rtveladze, 1984). Unfortunately, most of these coins were very worn and three had been reduced in weight by cutting. Even so, only twenty-seven (54 %) weighed less than 16 grams, a ratio far below that of the 1973 Ai Khanoum hoard. Now let us look to another, much larger hoard for corroborative evidence. We may compare the weights of tetradrachms in the famous Kunduz hoard, drawing our data from the same reigns (Diodotids, Euthydemus I, Demetrius I, Euthydemus II, Agathocles, Antimachus I, and Eucratides I) as found in the 1973 Ai Khanoum hoard (Curiel & Fussman 1965). There are no

specimens from the reign of Apollodotus I in either the Kunduz or the 1974 Ai Khanoum hoards. Of the 193 coins in this sample (no. 169, a Eucratides tetradrachm, has no recorded weight), only twenty-eight fall below 16 grams (15 %). This actually *reverses* the picture afforded by the 1973 Ai Khanoum hoard used by Bopearachchi. Similarly, if we consider the weights of tetradrachms (from these same reigns, excluding imitations) now in the collection of the Bibliothèque Nationale, we may note that only seventeen of eighty-two (21 %) fall below 16 grams (Bopearachchi, 1991). It would appear, therefore, that the 1973 Ai Khanoum hoard (II) cited by Bopearachchi is not a representative sample in this regard and does not give us a true picture of coin weights in Bactria.

In spite of these problems, the argument made by Bopearachchi has begun to show up in the work of other scholars and threatens to become a numismatic dogma. J. D. Lerner, for example, writes in his new book (1999: 89): “Indeed, it appears that Graeco-Bactrian tetradrachms and drachms are of a weight standard different from that employed in Athens, as nearly all tetradrachms from Ai Khanoum weigh lower than 16 g., while drachms generally fall below 4 g”.

One can see that Lerner’s statistical argument here is essentially an English translation of Bopearachchi’s French (“presque toutes les pieces...”), demonstrating how easily and completely an errant ‘proof’ can be imported into subsequent scholarship. Lerner changes slightly the parameters of Bopearachchi’s sample by including the tetradrachms from all three Ai Khanoum hoards (1970, 1973, 1974), as made clear in his footnote 5. The 1970 hoard, however, has no relevance whatever to this argument since it contained no tetradrachms; we have noted already the limited (and contrary) evidence from the 1974 hoard.

Since Lerner reprises Bopearachchi’s argument in a long excursus on “The Coins of the Diodoti”, let us examine the numismatic data closely for these important founders of the Graeco-Bactrian state. If we relied only on the evidence from Ai Khanoum, we would find that 82 % of their tetradrachms fall below 16 grams. But if, instead, we more prudently check the weights of as many Diodotid tetradrachms as possible, we arrive at a very different statistic. Expanding our database from eleven to 165 tetradrachms (excluding clipped coins and one foudre), there are only 31 % which weigh less than 16 grams (Holt 1999: 139—173). But let us be more precise. The mean weight for these coins is 16.13 grams; the median weight is 16.31 grams. Of greater relevance to the quantification of weight standard, the mode for these coins is 16.50 grams with a standard deviation of 0.57. This fact certainly belies the argument based upon the Ai Khanoum evidence alone.

If we make these same calculations based upon the 193 Kunduz hoard tetradrachms mentioned above (Diodotids — Eucratides I), the results are

even more dramatic. The mean weight of the tetradrachms is 16.47 grams; the median is 16.64 grams. Significantly, the mode is 16.80 grams; the Attic weight standard itself was 16.80 grams in this very period, according to most computations (Mørkholm 1991: 8—9). Therefore, it appears that the Graeco-Bactrian kings remained loyal to the prevalent Attic standard in accord with most other eastern Hellenistic states. The case made by Boppearachchi and copied by Lerner must not pass untested through the literature and take on the appearance of accepted fact, at least not without a further review of the evidence based upon better samples of coins.

- Bernard P.* 1985. *Fouilles d’Ai Khanoum*. 4. — Paris: Boccard Publishers.
- Boppearachchi O.* 1991. *Monnaies gréco-bactriennes et indo-grecques: Catalogue raisonné*. — Paris: Bibliothèque Nationale.
- Curjel R., Fussman G.* 1965. *Le trésor monétaire de Qunduz*. — Paris: Klincksieck Publishers.
- Hollis A.* 1994. Historical and Numismatic Thoughts on the Bactrian Tax Receipt // *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 104: 268—280.
- Holt F.* 1981. The Euthydemid Coinage of Bactria: Further Hoard Evidence from Ai Khanoum // *Revue Numismatique* 23: 7—44.
1999. *Thundering Zeus: The Making of Hellenistic Bactria*. — Berkeley: University of California Press.
- Lahiri A. N.* 1965. *Corpus of Indo-Greek Coins*. — Calcutta: Poddar Publications.
- Lerner J. D.* 1999. The Impact of Seleucid Decline on the Eastern Iranian Plateau, *Historia Einzelschriften* 123. — Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Mitchiner M.* 1975. *Indo-Greek and Indo-Scythian Coinage*. 1 — London: Hawkins Publishers.
- Mørkholm O.* 1991. *Early Hellenistic Coinage*. — Cambridge: Cambridge University Press.
- Narain A. K.* 1957. *The Indo-Greeks*. — Oxford: Clarendon Press.
- Petitot-Beihler C.-Y.* 1975. Trésor de monnaies grecques et gréco-bactriennes trouvé à Ai Khanoum (Afghanistan) // *Revue Numismatique* 17: 23—57.
- Rtveladze E.* 1984. La circulation monétaire au nord de l’Oxus à l’époque gréco-bactrienne // *Revue Numismatique* 26: 61—76.

РЕЗИОМЕ

В некоторых недавних публикациях, посвященных истории и нумизматике эллинистической Бактрии, был поставлен вопрос о весовом стандарте, использовавшемся на восточных эллинистических монетных дворах. Согласно традиционной точке зрения, Бактрия восприняла распространенный аттический стандарт. Однако, основываясь на одном из кладов, найденных в Ай Ханум, некоторые специалисты теперь оспаривают это мнение. На самом деле подобные сомнения необоснованны, поскольку они опираются на вводные в заблуждение данные. Более тщательная проверка имеющихся свидетельств позволяет поддерживать точку зрения о том, что в раннеэллинистической Бактрии для монет, чеканившихся в долине Окса (Амударьи), применялся именно аттический стандарт.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК БАКТРИЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА ГОРОДИЩЕ КАМПЫР-ТЕПЕ: ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВА

В 1972 г. по инициативе В. М. Массона в ЛОИА АН СССР (ныне ИИМК РАН) была создана Бактрийская экспедиция, основной задачей которой являлись “многолетние стационарные раскопки одного из крупных городских центров Северной Бактрии и получение массового археологического материала, характеризующего его структуру, древние производства, быт, культуру и общественную организацию непосредственных производителей” (Массон 1974: 3—4). Бактрийская экспедиция работала до 1991 г., внося весомый вклад в изучение культуры античной Бактрии, и все это время ее научное руководство осуществлял В. М. Массон, для разносторонней и исключительно плодотворной исследовательской деятельности которого кушанская археология стала одним из важнейших направлений (Массон 1974; 1976; 1977; 1981; 1985; 1986). В 1972—1986 гг. приоритетными для Бактрийской экспедиции были раскопки городища Зартепе в Ангорском р-не Сурхандарьинской обл. Узбекистана. В 1988—1991 гг. Бактрийская экспедиция работала на памятниках, расположенных в Гагаринском р-не Сурхандарьинской обл., примерно в 30 км к З от г. Термеза. Раскопки на первом объекте — городище Кампыр-тепе — возглавлял автор этих строк¹. Группа, руководимая Д. Абдуллоевым в 1988—1990 гг., изучала раннесредневековый некрополь соседнего с Кампыр-тепе поселения Шуроб-курган. Работы велись в тесной координации с отрядом Узбекстанской искусствоведческой экспедиции Ин-та искусствознания им. Хамзы (Ташкент) во главе с Э. В. Ртвеладзе, который осуществлял систематическое изучение Кампыр-тепе с 1982 г.

Исходя из результатов раскопок, прежде всего, ташкентских археологов (Ртвеладзе 1984; Rtveldadze 1996; Савчук 1989; Древности Южного Узбекистана 1991: 281—296, кат. № 146—212; Nikonov, Savchuk 1992), городище представляло собой крепость, охранявшую в древности стратегически важную переправу через реку Окс/Амударью на пути из бактрийской столицы Бактр/Балха в Согд. Ее возникновение относится к эллинистическому периоду (не позднее III в. до н. э.), когда появляется укрепленное поселение на месте будущей цитадели. Не позднее ранне-

¹ В качестве штатных сотрудников экспедиции в работах на Кампыр-тепе принимали участие: А. Еременко, Г. Мухаммедов, А. Г. Самойленко, А. В. Субботин, С. Н. Тарасова, Ю. Б. Устинова, Л. А. Филипенко, Д. Б. Шибалов, Н. Н. Школьный.

кушанского времени (около середины I в. н. э.) внутреннее пространство крепости увеличивается в размерах, выйдя за границы первоначальных укреплений и будучи обнесены внешней оборонительной стеной. Крепость прекращает свое функционирование во II в. н. э. — скорее всего, в правление кушанского царя Канишки I или, самое позднее (и что менее вероятно), в начале царствования его преемника Хувишки. Надежным указателем этой хронологии городища являются многочисленные находки монет (около 300 экз.) на его территории и в культурных слоях. Самые ранние из них относятся к чекану селевкидского монарха Антиоха I (281—260 гг. до н. э.), самые поздние были выпущены Хувишкой (причем обнаружено всего несколько монет последнего, тогда как монет Канишки I — более 100!). Причиной запустения Кампыр-тепе явилось, судя по всему, изменение русла Амударьи, что привело к разрушению ее водами южной части городища. Его население было вынуждено перейти на новое место жительства, расположенное примерно в 1 км к востоку и известное ныне под названием Шуроб-курган. Больше уже никто не селился на Кампыр-тепе, и именно благодаря этому обстоятельству в руках ученых оказался археологически “чистый” северо-бактрийский памятник античной эпохи, по сути эталонный для изучения культуры кушанской Бактрии времени ее наивысшего расцвета.

При Великих Кушанах городище Кампыр-тепе состояло из двух частей — укрепленной и неукрепленной. Первая — это собственно крепость площадью 4 га, которая включала в себя цитадель, окруженную рвом (рис. 1: А), и поселение (“шахристан”), состоящее из массивов-блоков жилой застройки, обнесенное внешней стеной со рвом (раскопки производились в его северо-западном и северо-восточном секторах; рис. 1: Б, В). Неукрепленная часть была занята в основном погребальными постройками, расположенными к востоку (рис. 1: Г) и западу от внешней крепостной стены.

Работы отряда Бактрийской экспедиции были сконцентрированы на северо-западе “шахристана” — там, где жилая застройка прилегает к участку внешней стены между башнями 8 и 10 (рис. 1: В; 2). Изучение этого объекта (раскоп 8), характеризующегося лучшей, по сравнению с остальными участками поселения, сохранностью остатков архитектурных сооружений и культурного слоя, было начато ташкентским археологом С. А. Савчуком, который оконтурил и расчистил внешний фас стены и башен, а также раскопал два погребения, датируемые монетами Хувишки, в башенных камерах, причем они были устроены там, по всей видимости, уже после запустения крепости (Ртвеладзе 1989: 66; Rtveldadze 1996: 147). В результате раскопок удалось вскрыть значительный по размерам участок, включающий в себя блок жилых помещений и элементы фортификации — отрезок крепостной стены с тремя башнями



и внутрискладчатую галерею, причем в разных местах объекта было выявлено до пяти периодов возведения сооружений из сырцовых кирпичей (рис. 2). Для хронологии жилой части и связанных с ней внешних укреплений исключительно важны медные монеты, найденные С. А. Савчуком и нами, в том числе и прежде всего в культурном слое: в подавляющем большинстве они принадлежат чеканам кушанских государей “Сотера Мегаса” (он же Вима I Такто, 80—90 или 80—110 гг. н. э.), Вимы II Кадфиза (90—100 или 110—120), Канишки I (100—126 или 120—146) и Хувишки (126—164 или 146—184)². Таким образом, время функционирования внешней оборонительной стены и прилегающей к ней застройки, в том числе и нашего объекта, укладывается в пределах второй половины I — середины II вв. н. э. (Rtveladze 1996: 147). Этой датировке противоречит и факт обнаружения нами в помещении 4 медной монеты, представляющей собой местное подражание тетрадрахме греко-бактрийского царя Гелиокла: данный халк, носящий на оборотной стороне изображение стоящего Зевса и монограмму в виде треножника, являет собой типологически поздний тип таких подражаний, который мог иметь, как показывают материалы раскопок другого памятника кушанского периода в Термезском районе — Мирзакул-тепе, синхронное обращение вместе с монетами “Сотера Мегаса” (Пидаев 1990: 32—33, 36—37).

На раскопе 8 были получены важные материалы, проливающие свет на многие стороны жизни местного населения в начале I тыс. н. э., полная публикация которых еще впереди. Здесь же речь пойдет только о произведениях искусства, обнаруженных в сезоне 1989 г. Два таких предмета происходят из помещения 3, прилегающего к внутрискладчатой галерее между башнями 9 и 10, ближе к первой (рис. 2). Они были найдены лежащими на полу самого раннего периода (I) существования этого помещения — пожалуй, наиболее интересного из всех трех выявленных периодов его обживания, когда оно представляло собой комнату с побеленными стенами и полом и пристроенным к ее западной стене алтарем каминного типа, также покрытым побелкой. По своей конструкции последний очень похож на алтарь-камин, открытый на Кара-тепе в Старом Термезе (Ставиский 1977: 196—197, рис. 28). На площадке основания алтаря лежал перевернутый вверх дном фиал. Поскольку в заполнении

² Эти даты правления Великих Кушан приводятся по хронологии Дж. Крибба (Sims-Williams, Cribb 1996: 101, 106), разработанной им с учетом данных недавно открытой надписи в Рабатаке (Афганистан).

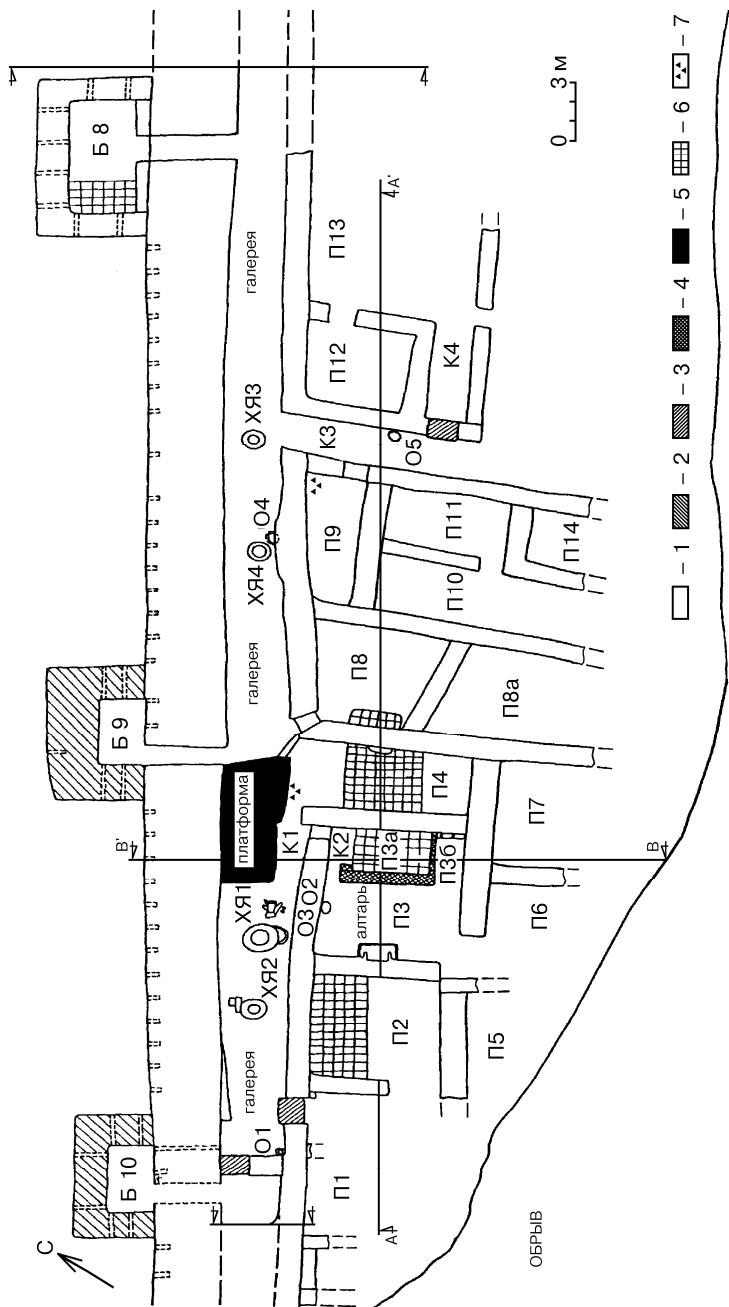


Рис. 2. Кампыр-тепе. План объекта работ Бактрийской экспедиции ЛОИА АН СССР (раскоп 8): Б — башня; К — коридор; О — очаг; П — помещение; ХЯ — хозяйственная яма; 1—5 — сооружения из сырцовых кирпичей соответственно I, II, III, IV и V пòðèèðàëüíúð òððèíáíâ; 6 — íñù, áùèíæáííúâ ñùðòáíúè èèðè-àè; 7 — ðàçààèù ððàáíáíóíâ áíèùðèð èáðàè-âñèèð ññòáíâ (òóíâ).

присутствовало лишь незначительное количество золы, то продукты сгорания, по всей видимости, намеренно собирались с поверхности этого сооружения и переносились в специальную овальную формы, впущенную в пол I у северной стены и обмазанную изнутри глиной, которая оказалась заполненной чистой золой и пеплом. В соответствии с общей стратиграфией объекта, время возведения и функционирования помещения 3 периода I должно быть отнесено к правлению Вимы I (“Сотера Мегаса”) или Вимы II.

Наиболее важной находкой из помещения 3 является трапециевидный гребень из слоновой кости, декорированный по обеим сторонами рисунками (рис. 3; его воспроизведение с краткой аннотацией см.: Древности Южного Узбекистана 1991: 285—286, кат. № 158). Размеры гребня: длина верхнего и нижнего оснований соответственно 58 и 66 мм, высота 53 мм (включая длину сохранившихся зубьев — 16 мм), толщина 3 мм, причем зубья утоньшаются книзу до 0.5 мм. По контуру гребня с небольшим отступлением от края процарапаны линии, создающие своего рода обрамление изображениям, нанесенным черной тушью. На одной из сторон мы видим погрудный портрет молодой женщины с головой, повернутой вправо вполоборота и увенчанной головным убором типа покрывала, из под которого выглядывают черные волосы, причесанные так, что у виска они образуют длинный завиток, а на плечи ниспадают локонами. Ее лицо округлое; большие глаза с черными зрачками имеют миндалевидные очертания; черные брови изогнуты полумесяцем и сходятся на переносице; нос прямой; чувственный рот полуоткрыт. Она одета в легкое платье с вырезом (?) на груди. На запястье поднятой правой руки, держащей округлый предмет (плод гранатового дерева?), видны две параллельные линии, передающие браслет или манжет платья. Данное изображение выполнено в реалистичной манере и является, скорее всего, индивидуальным женским портретом, а не обобщенным образом, независимо от того, кто здесь подразумевается — божество, его почитательница, либо кто-то еще (рис. 3, а). Рисунок на другой стороне гребня выглядит несколько стилизованным и показывает профиль стоящего вправо петуха с длинным, чуть изогнутым клювом и поднятым распущенным хвостом из шести перьев (рис. 3, б).

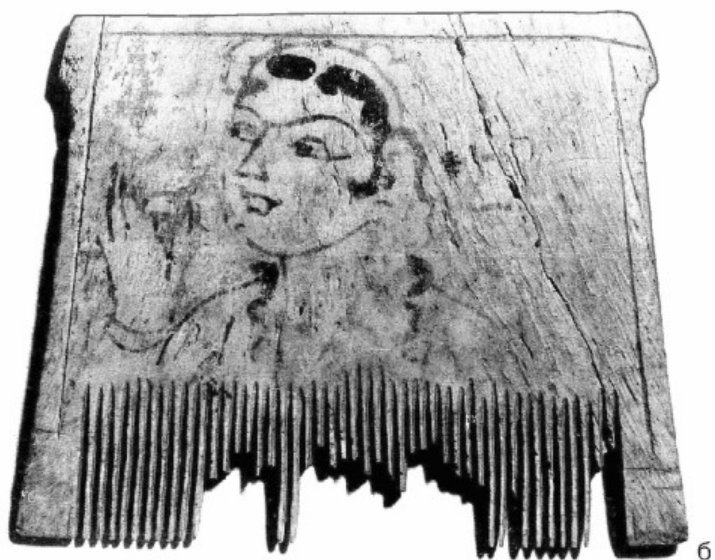
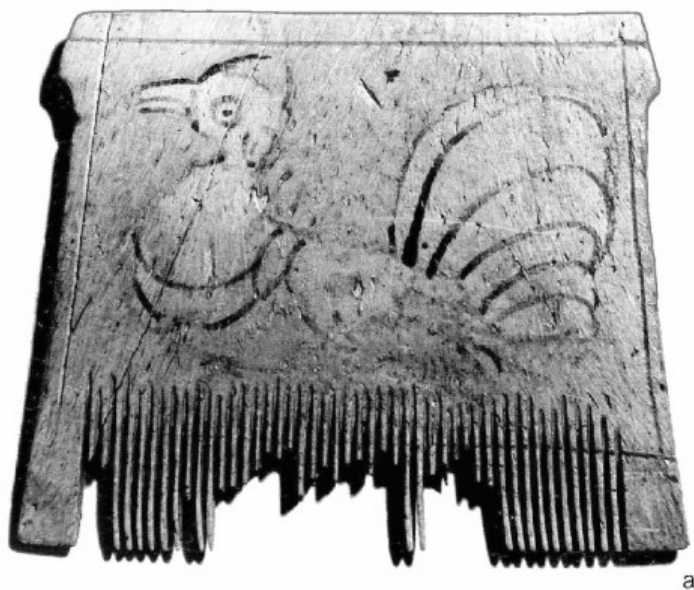


Рис. 3. Кампыр-тепе, раскоп 8. Костяной гребень из помещения 3 (а, б — виды с обеих сторон).

Гребень из Кампыр-тепе уникален, учитывая, что все известные до его обнаружения декорированные костяные гребни, происходящие с памятников кушанской эпохи как самой Бактрии (Тилля-тепе, погребение 3 — Sarianidi 1985: 33—34, 200, 243, il. 142, cat. № 3/56; Дальверзин-тепе — Пугаченкова, Ртвеладзе и др. 1978: 136—137, 220, рис. 97: а, 154; Pougatchenkova 1978: 87—90, cat. № 65—67), так и областей к югу от Гиндукуша (Беграм — Auboyer, Darbois 1968: 49, Abb. 37; Таксила — Ghosh 1947/1949: 79—80, pl. XX; Marshall 1951: 655—656, pl. 199, no. 21), украшены гравированными, а не рисованными изображениями. К тому же, судя по особенностям их иконографии, все они являются изделиями индийских мастеров. Важно отметить, что декор нашего гребня явно местного происхождения. Присутствующий на нем женский персонаж несомненно принадлежит к местному бактрийскому этническому типу, о чем определенно свидетельствуют другие произведения кушано-бактрийского искусства, изображающие женщин, такие как знаменитый скульптурный фриз из Айртама (Пугаченкова 1979: ил. 153; 1971: ил. 144), фрагменты скульптуры из Дальверзин-тепе (Пугаченкова 1973: 114—115, рис. 30; 1979: ил. 123; Древности Южного Узбекистана 1991: 274—275, кат. № 115) и терракот из Барат-тепе (Пугаченкова 1973: 114, рис. 29; 1979: ил. 184; Древности Южного Узбекистана 1991: 257, кат. № 25) и Кампыр-тепе (Савчук 1984: 39—40, рис. 1, в; Древности Южного Узбекистана 1991: 291, кат. № 182), а также поздне- или посткушанские настенные росписи из Дильберджина (Кругликова 1976: 97—100, рис. 56, 57, 59; 1979: 127—128, рис. 9—10). Все эти изображения отличаются особые черты внешнего облика, своего рода местный идеал женской красоты: округлое (“луноликое”) лицо, большие миндалевидные глаза, изогнутые брови, более или менее прямой нос, сочные губы, прическа из длинных пышных волнистых волос, ниспадающих на плечи, и в большинстве случаев образующих крупные спиралевидные завитки на щеках. В этих образах нетрудно узнать антропологический тип современных девушек-таджичек, что дополнительно указывает на древних бактрийцев как прямых предков таджикского народа.

Не удивительно и присутствие петуха в декоре гребня из Кампыр-тепе. Эта домашняя птица была очень популярна среди древнего населения Восточного Ирана и Средней Азии и занимала важное место в зороастрийских религиозных представлениях. Ее считали вестником доброго божества Сраоша, провозглашавшим своим криком на заре прибытие последнего, а также побуждавшим людей вставать рано утром и изгонявшим мрак ночи и злого духа сна. С петухом были связаны различные приметы и поверья: в частности, его изображения на многих памятниках искусства, включая украшения, служили в качестве магических

оберегов (Geiger 1882: 365—368; Иностранцев 1908: 202—204; Григорьев 1937: 130—131; Мирбабаев 1989). Кажется вполне вероятным, что петух на нашем гребне выполнял ту же роль.

Можно утверждать, что гребень, найденный на Кампыр-тепе, судя по особенностям его иконографии имел, бактрийское происхождение. Допустимо и его изготовление (но без нанесения на его стороны каких либо изображений!) в Индии, где не только добывалась слоновая кость, но и существовала высокоразвитая традиция производства изделий из нее. Очевидно, декорирование таких предметов быта, как гребни, рисунками черной тушью было чисто бактрийской традицией, в отличие от индийской, когда изображения вырезались. Как бы там ни было, перед нами самые ранние образцы монохромной живописи Бактрии, причем в ее местном, иранском иконографическом варианте, отличном от принципов более позднего буддийского, привнесенного в долину Амударьи уже после завоеваний Канишки I в Индии.

Интересно, что список аналогий изображению девушки на гребне из Кампыр-тепе не исчерпывается приведенными выше памятниками кушано-бактрийского искусства. Неожиданные, но не менее близкие параллели встречены в столь удаленном от Бактрии месте, как Миран в Восточном (Китайском) Туркестане. В 1907 г. выдающийся британский археолог и путешественник Аурел Стейн открыл среди руин двух буддийских комплексов Мирана (М. V и М. III) великолепные жанровые настенные росписи (Stein 1921: 492—529; Bussagli 1963: 18—29; Yaldiz 1987: 173—180), являющиеся самыми древними в Китайской Центральной Азии — не позднее второй половины III в. н. э. (Bussagli 1963: 27), но при этом отнесение их ко времени царствования Канишки I (Bivar 1983: 209) представляется более чем сомнительным. Некоторые женские образы на этих фресках (Stein 1921: fig. 134, 135, 138—140, 143, pl. XLIV/М. III. 0019; Bussagli 1963: 18, 25; рис. 4: а, б) имеют очевидное сходство во внешнем облике с нашей бактриянкой, включая характерную прическу со спиральными завитками, сбегаящими от висков на щеки, которую можно считать типичной именно для женской моды античной Бактрии. Кроме того, с точки зрения техники исполнения, рассматриваемые изображения из Мирана и Кампыр-тепе написаны в близкой мягкой манере. Это сходство нуждается в объяснении. Если говорить о первоисточнике их влияния друг на друга, то оно шло из Бактрии в Восточный Туркестан и никак не наоборот, уже хотя бы потому, что декор на гребне значительно старше миранской живописи.

До сих пор популярно мнение, что последняя была продуктом знаменитой Гандхарской художественной школы в Северо-Западной Индии (Bussagli 1963: 20—21; Rowland 1965: 253; 1977: 186; Azarpay 1986: 601;

Bivar 1983: 209). Но что известно о живописи самой Гандхары, славной своей замечательной скульптурой? Очень немного, и то лишь благодаря нескольким поздним фрагментам (V в.?) из Хадды, которые роднит со стенописью Мирана разве что только буддийская тематика (Bussagli 1963: 124, fig. 2; Auboyer, Darbois 1968: 52—53, Abb. 63). В то же самое время в кушанской Бактрии, в отличие от Гандхары, живопись занимала достаточно видное место среди других видов изобразительных искусств. Возникнув и развиваясь в условиях чрезвычайно сильного воздействия эллинистического искусства, она смогла сама повлиять не только на соседние регионы (в частности, на Хорезм, см.: Ковалева, Рапопорт 1991: 213; Grenet 1986: 125), но также и на весьма отдаленные (Миран). Отметим, что в литературе уже высказывалась точка зрения о том, что “ранняя (миранская) живопись Восточного Туркестана возникла и развивалась под серьезным влиянием художественной культуры Бактрии” (Литвинский, Соловьев 1985: 139). Это влияние, помимо изложенных выше наблюдений за женскими персонажами на фресках из Мирана, прослеживается как в иконографии некоторых изображенных там же юношей и мужчин, так и в мотиве с гирляноносцами, эротами, музыкантшами и актерами, хорошо известном в искусстве Бактрии по скульптурным фризам из Халчаяна, Фаяз-тепе и Сурх Котала и использованном в Миране (Bromberg 1992: 46, 49; Пугаченкова 1979: 225). Остается добавить, что кушано-бактрийские связи с Восточным Туркестаном также нашли свое отражение в терракотовых статуэтках и украшениях на керамике из Хотана и во внешнем сходстве флейтиста на реликварии из Кучи с мальчиком на росписи из Халчаяна (Пугаченкова 1979: 225).

Надо полагать, что активное проникновение бактрийской культуры в Восточный Туркестан началось в первой половине II в. н. э., т. е. сразу после того как кушанский царь Канишка I установил там свой политический контроль (Cribb 1984/1985; Bivar 1983: 208—209; Воробьева-Десятовская 1992: 88—90). Бактрийская культурная экспансия не была столь внушительной как согдийская, однако и после ухода кушан из Восточного Туркестана там могли оставаться бактрийские торговоремесленные колонии, в том числе и в районе Мирана. Автору этих строк уже доводилось выступать с гипотезой о возможном участии бактрийских художников в оформлении тамошних культовых сооружений (Никоноров 1990: 174). На первый взгляд, она противоречит тому обстоятельству, что одна из надписей индийским письмом кхароштки, обнаруженных на стенописи из комплекса M.V, сообщает имя художника — Тита, т. е. это, скорее всего, пракритская форма латинского имени Тит (Titus), что, в свою очередь, намекает на западное (римское) происхождение его носителя (Stein 1921: 530—531; Bussagli 1963: 21; Rowland



а



б

Рис. 4. Настенные росписи из Мирана
(а — из М.Ш; б — из М.V; воспроизведены по: Bussagli 1963: 18, 25).

1977: 186; Yaldiz 1987: 172). Однако едва ли оправданно рассматривать личное имя человека в качестве этнического определителя — в нашем случае оно вполне могло представлять собой обычное заимствование из ономастики иной этнокультурной среды, примеров чему великое множество. Но даже если в жилах автора миранских фресок действительно текла какая-то часть римской крови ³, то он должен был вырасти в буддийском окружении: в самом деле, он был прекрасно осведомлен как в самой доктрине буддизма, так и в принципах буддийской иконографии, что было бы весьма затруднительно для странствующего художника, который не только прибыл из далекого Средиземноморья, но и был человеком совсем другой культуры. Наконец — и это, пожалуй, главное, — Тита, судя по всему, имел хорошую подготовку в искусстве живописи бактрийской школы.

Предполагая бактрийское происхождение миранского художника, не трудно объяснить и факт использования им для надписей на росписях в М V письменности кхароштки, широко применявшейся в первые века н. э. в южных оазисах Восточного Туркестана (Воробьева-Десятовская 1992), а не основанного на греческом бактрийского письма, что казалось бы более логичным для выходца из Бактрии. Дело в том, что, наряду с бактрийско-греческой, собственно греческой и другими, письменность кхароштки также была распространена в кушанской Бактрии, прежде всего, в ее буддийских общинах (о языковой ситуации в этом регионе при кушанах см.: Ставиский 1977: 210—221; Массон 1985: 269—270; Пугаченкова, Ртвеладзе 1990: 97—101). К тому же Бактрия не без оснований рассматривается в качестве одного из основных центров распространения буддизма (а вместе с ним и языков буддийских религиозных текстов, включая северо-западный пракрит на алфавите кхароштки) в Восточном Туркестане (Litvinsky, Vorobyova-Desyatovskaya 1996: 432—434). Так что оформительская деятельность в Миране художника-бактрийца буддийской ориентации выглядит вполне вероятной.

Разумеется, вопрос о сходстве изображений на росписях из Кампыртепе и Мирана требует более тщательной проработки, в том числе и с точки зрения техники их исполнения.

Другое интересное произведение искусства из помещения 3 раскопа 8 — терракотовая плитка с рельефным изображением мужчины в доспехах,

³ К примеру, по довольно осторожному мнению Э. В. Ртвеладзе, развивающего отчасти романтическую теорию Г. Дебса о некоторых римских легионерах из числа захваченных парфиянами в результате поражения армии Марка Красса при Каррах в 53 г. до н. э. и депортированных в Среднюю Азию, которые оказались затем на службе у одного из хуннских вождей (Дебс 1946; Dubs 1957), *Òèðà èç Èðàfà ñà áù áùðù òòîñèù úðèò ðèìèùí* (Ðòááèèààçà 1999: 72).

стоящего на невысоком постаменте (рис. 5, б). Она найдена в том же самом археологическом контексте, что и гребень — на полу периода I, и имеет ту же дату — вторая половина I в. н. э. Поскольку воинское облачение изображенного на плитке персонажа уже подробно анализировалось в других публикациях (Nikonov, Savchuk 1992: 50, 52—53, fig. 4, pl. XIV, c; Nikonov 1997: [vol. 1] 58, [vol. 2] 14, fig. 36, c), ограничимся здесь констатацией, что оно включает в себя классический греческий панцирь-“торака” (“мускульную” кирасу); набедренник в виде юбки, сплошь обшитой крупными пластинами в два ряда; широкий бронированный пояс; щит (последний поставлен у ноги и обращен к зрителю ребром). Учитывая наличие постамента, можно предположить, что оригиналом для терракоты послужила большая статуя на пьедестале, которая копировалась в виде небольших образков, вероятно, для почитания в домашних условиях. В этой связи уместно напомнить, что комната 3 периода I имела некоторые признаки культового помещения: э белая окраска пола и стен, алтарь и лунка в полу для сбора золы с алтаря. Кто же показан на данном образке? При ближайшем рассмотрении головы персонажа хорошо заметны, несмотря на известную грубость и условность изображения, усы и прическа из длинных густых волос, зачесанных назад и перехваченных надо лбом лентой. Эти характерные особенности внешнего вида позволяют узнать в изображенном мужчине так называемого “Герача” — представителя клана Герая, самого могущественного среди пришельцев-юечжей, сокрушивших во второй половине II в. до н. э. греческое господство в Бактрии. Именно род Герая, члены которого запечатлены на монетах самого Герая, а также в скульптуре из Халчаяна и на костяных обкладках ларца из Тахти Сангина, стоял у истоков Кушанского государства (Пугаченкова 1989: 97—103; 1971: 45—46; Пугаченкова, Ртвеладзе 1990: 109—110). Поэтому можно предположить, что перед нами образ обожествленного родоначальника династии, культ которого мог существовать в империи кушан наподобие культа Аршака I в Парфии. Заметим при этом, что бактрийский правитель, выпускавший монеты с именем “Герай”, иногда отождествляется с первым кушанским царем Куджулой Кадфизом (Cribb 1993).

Интересно, что аналогичная кампиртепинской терракотовая плитка-образок, изготовленная, правда, в другой матрице, была найдена на холме Чингиз-тепе в Старом Термезе (рис. 5, в; Пугаченкова 1971: ил. 140; Nikonov, Savchuk 1992: 52—53, fig. 5, pl. XIV, d; Nikonov 1997: [vol. 1] 58, [vol. 2] 14, fig. 36, f) и хранится ныне в Сурхандарьинском областном краеведческом музее в г. Термезе (шифр: КП 640-1, инв. № 928). Ее верхняя и нижняя части отбиты, но на обоих произведениях короластики мы видим абсолютно одинаковый комплекс защитного снаряжения персонажей и идентичность их поз — согнутая в локте правая рука

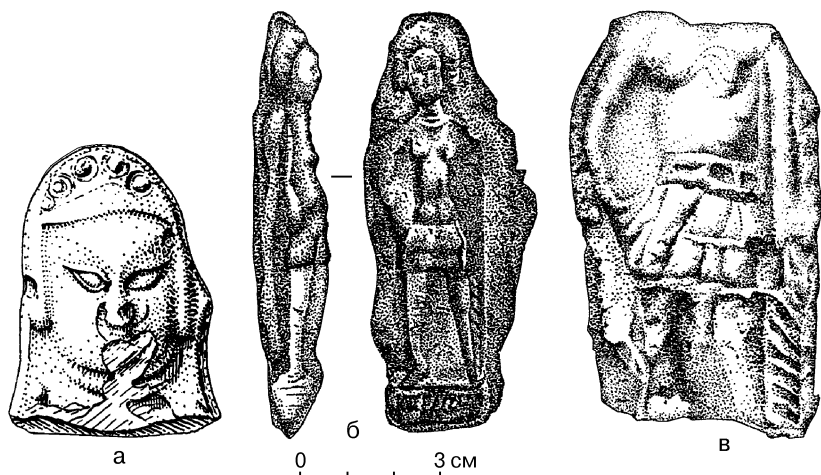


Рис. 5: а — головка статуэтки “Бактрийской богини” из внутрисканной галереи Кампыр-тепе; б — терракотовая плитка-образок из помещения 3 Кампыр-тепе; в — терракота из Чингиз-тепе в Старом Термезе.

покоится на правом бедре, а вытянутая левая рука опирается на стоящий у левой ноги щит. Первоначально было высказано предположение, что термезская терракота “изображает деву-воительницу в короткой подпоясанной тунике, опирающуюся на рукоять меча” (Пугаченкова 1971: 92). Однако появление ее археологически целого аналога с Кампыр-тепе позволяет теперь дать ей ту же интерпретацию, что и ему самому.

Еще одна находка — головка от терракотовой статуэтки, изображавшей женщину в овальном нарядном головном уборе типа кокошника, была обнаружена на участке внутрисканной галереи между башнями 8 и 9, в заполнении между полами II и III строительных периодов (всего там выявлено четыре уровня полов). Характерной особенностью лица персонажа являются раскосые глаза (рис. 5, а). Эта терракота изображала локальное женское божество, так называемую “Бактрийскую богиню”, культ которой был очень популярен в народной среде при Великих кушанах. Г. А. Пугаченкова выделила три основных типа ее изображений по этническому признаку: 1) местный “бактрийский” — с утяжеленным овалом лица, правильными чертами и прямым разрезом глаз под дугообразными бровями; 2) пришлый “юечжийский” — с подквадратным скуластым лицом с нависающим у переносицы лбом и со скошеными очертаниями глаз и бровей, вместо кокошника — охватывающая волосы начальная лента; 3) смешанный, по-видимому косвенно отражающий

процесс слияния бактрийского и юечжийского этносов, — с овальным лицом и кокошником на голове, но с резким скосом глаз и бровей (Пугаченкова, Ртвеладзе и др. 1978: 219). Рассматриваемая головка принадлежит к последнему типу. Более или менее близкие ей аналогии представлены терракотами из Дальверзин-тепе и матрицей-калыбом из Барат-тепе (Пугаченкова, Ртвеладзе и др. 1978: 164, рис. 113, 11, 114, 15, 17; Pougatchenkova 1978: 58—59, cat. № 39; Древности Южного Узбекистана 1991: кат. № 41, 74; Пугаченкова 1973: 111, рис. 27; 1979: ил. 91, 188).

Несмотря на свою малочисленность коллекция памятников искусства, собранная в ходе работ Бактрийской экспедиции на Кампыр-тепе, явно незаурядна по составу и не только проливает дополнительный свет на культуру Бактрии эпохи господства кушанских государей, но и — на примере уникально декорированного костяного гребня — свидетельствует о возможном прямом влиянии ее искусства даже на весьма отдаленные области Восточного Туркестана.

Воробьева-Десятовская М. И. 1992. Индийцы // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Этнос, языки, религии: 77—115, 559—562. М.

Григорьев Г. В. 1937. Тус-Тупи. К истории народного узора Востока // Искусство 1: 121—143. М.; Л.

Дебс Г. Г. 1946. Военное соприкосновение между римлянами и китайцами в античное время // ВДИ 2: 45—50.

Древности Южного Узбекистана. 1991. — Токио: Университет Сока; — Ташкент: Институт искусствознания им. Хамзы.

Иностранцев К. А. 1908. Материалы из арабских источников для культурной истории Сасанидской Персии. Приметы и поверья // ЗВОРАО XVIII, 2—3: 113—232. СПб.

Ковалева Н. А., Рапопорт Ю. А. 1991. Траурная сцена в настенной росписи из Хорезма // ВДИ 2: 198—214.

Кругликова И. Т. 1976. Настенные росписи Дильберджина // Древняя Бактрия. Материалы Советско-Афганской экспедиции 1969—1973 гг. 1: 87—110. — М.: Наука.

1979. Настенные росписи в помещении 16 северо-восточного культового комплекса Дильберджина // Древняя Бактрия. Материалы Советско-Афганской экспедиции 2: 120—145. — М.: Наука.

Литвинский Б. А., Соловьев В. С. 1985. Средневековая культура Тохаристана (в свете раскопок в Вахшской долине). — М.: Наука.

Массон В. М. 1974. Проблема древнего города и археологические памятники Северной Бактрии (Перспективы исследования) // Древняя Бактрия (Предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана): 3—13. Л.

1976. Кушанские поселения и кушанская археология (Некоторые результаты работ Бактрийской экспедиции в 1973—1975 гг.) // Бактрийские древности

- (Предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана): 3—17. Л.
1977. Зар-тепе — кушанский город в Северной Бактрии // История и культура античного мира: 138—144. М.
1981. Кушанская эпоха в древней истории Узбекистана (вопросы периодизации и хронологии) // ОНУз 4: 30—38;
- 1981а. Кушанская эпоха в древней истории Узбекистана (вопросы типологии поселений и культурогенеза) // ОНУз 6: 36—43.
1985. Северная Бактрия [в античную эпоху] // Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии: 250—272, 397—411. М.
1986. Кочевнические компоненты кушанского археологического комплекса // Проблемы античной культуры: 258—264. М.
- Мирбабаев А. К.* 1989. Из истории культовой традиции: символика петуха // Борбад, эпоха и традиции культуры: 288—295. Душанбе.
- Никонов В. П.* 1990. К истории бактрийско-восточнотуркестанских культурных связей // Формирование и развитие трасс Великого шелкового пути в Центральной Азии в древности и средневековье. ТД: 173—174. Ташкент.
- Пидаев Ш. Р.* 1990. Монетные находки из Мирзакултепа // Нумизматика Узбекистана: 32—39. Ташкент.
- Пугаченкова Г. А.* 1971. Скульптура Халчаяна. — М.: Искусство.
1973. Новые данные о художественной культуре Бактрии // Из истории античной культуры Узбекистана: 78—128. Ташкент.
1979. Искусство Бактрии эпохи кушан. — М.: Искусство.
1989. Образы юечжийцев и кангюйцев в искусстве Бактрии и Согда // Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана. В свете новых открытий Узбекстанской искусствоведческой экспедиции: 96—110. Ташкент.
- Пугаченкова Г. А., Ртвеладзе Э. В.* 1990. Северная Бактрия — Тохаристан. Очерки истории и культуры (древность и средневековье). — Ташкент: Фан.
- Пугаченкова Г. А., Э. В. Ртвеладзе и др.* 1978. Дальверзинтепе — кушанский город на юге Узбекистана. — Ташкент: Фан.
- Ртвеладзе Э. В.* 1984. Кушанская крепость Кампыр—тепе (Исследования и открытия) // ВДИ 2: 87—106.
1989. Кушанская богиня // Вехи времен. Рассказы о памятниках истории и культуры Узбекистана. Альманах '89: 65—68. Ташкент.
1999. Великий шелковый путь. Энциклопедический справочник: Древность и раннее средневековье. — Ташкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси.
- Савчук С. А.* 1984. Предметы малого искусства из Кампыртепа // ОНУз 7: 39—41.
1989. У Оксийской переправы // Вехи времен. Рассказы о памятниках истории и культуры Узбекистана. Альманах '89: 69—75. Ташкент.
- Ставиский Б. Я.* 1977. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. — М.: Наука.
- Auboyer J., Darbois D.* 1968. Afghanistan und seine Kunst. — Prague: Artia.
- Azarpay G.* 1986. Art in Iran. VI. Pre-Islamic Eastern Iran and Central Asia // Encyclopaedia Iranica II, fasc. 6: 595—603. London; New York.

- Bivar A. D. H.* 1983. The History of Eastern Iran // The Cambridge History of Iran 3 (1): The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods: 181—231. Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney.
- Bromberg C. A.* 1992. An Iranian Gesture at Miran // Bulletin of the Asia Institute. New Ser. 5 (1991): 45—58. Bloomfield Hills.
- Bussagli M.* 1963. Painting of Central Asia. — Geneva: Editions d'Art Albert Skira.
- Cribb J.* 1984/1985. The Sino-Kharosthi Coins of Khotan: Their Attribution and Relevance to Kushan Chronology // The Numismatic Chronicle 144: 128—152; 145: 136—149. London.
1993. The “Heraus” coins: their attribution to the Kushan king Kujula Kadphises, c. AD 30—80 // Essays in Honour of Robert Carson and Kenneth Jenkins: 107—134. London.
- Dubs H. H.* 1957. A Roman City in Ancient China. — London: The China Society.
- Geiger W.* 1882. Ostfiranische Kultur im Altertum. — Erlangen: Verlag von Andreas Deichert.
- Ghosh A.* 1947/1948. Taxila (Sirkap), 1944—1945 // Ancient India IV: 41—84. New Delhi.
- Grenet F.* 1986. Palais ou palais-temple? Remarques sur la publication du monument de Toprak-kala // Studia Iranica 15, fasc. 1: 123—135. Paris.
- Litvinsky B. A., Vorobyova-Desyatovskay. V. I.* 1996. Religions and religious movements — II // History of civilizations of Central Asia III: The crossroads of civilizations: AD 250 to 750: 421—448. Paris.
- Marshall J.* 1951. Taxila. An Illustrated Account of Archaeological Excavations carried out at Taxila under the Orders of the Government of India between the Years 1913 and 1934. II, III. — Cambridge: Cambridge University Press.
- Nikonorov V. P.* 1997. The Armies of Bactria, 700 BC — 450 AD. 1—2. — Stockholm: Montvert Publications.
- Nikonorov V. P., Savchuk S. A.* 1992. New Data on Ancient Bactrian Body-Armour (in the Light of Finds from Kampyr Tepe) // Iran XXX: 49—54. London.
- Pougatchenkova G. A.* 1978. Les trésors de Dalverzine-tépé. — Leningrad: Éditions d'Art Aurore.
- Rowland B.* 1965. Art along the Silk Roads: A Reappraisal of Central Asian Art // Harvard Journal of Asiatic Studies 25 (1964—1965): 248—264. Cambridge (Mass.).
1977. The Art and Architecture of India. Buddhist. Hindu. Jain. — Harmondsworth: Penguin Books.
- Rtveladze E. V.* 1996. Kampir-Tepe: Structures, Written Documents, and Coins // Bulletin of the Asia Institute. New Ser. 8 (1994): 141—154. Bloomfield Hills.
- Sarianidi V.* 1985. Bactrian Gold from the Excavations of the Tillya-tepe Necropolis in Northern Afghanistan. — Leningrad: Aurora Art Publishers.
- Sims-Williams N., J. Cribb.* 1996. A New Bactrian Inscription of Kanishka the Great // Silk Road Art and Archaeology 4 (1995/96): 75—142. Kamakura.
- Stein A.* 1921. Serindia. Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China I, IV. — Oxford: Clarendon Press.
- Yaldiz M.* 1987. Archäologie und Kunstgeschichte Chinesisch-Zentralasiens (Xinjiang). — Leiden; New York; København; Köln: E. J. Brill.

CENTRAL ASIA AND THE ARSACID KINGDOM

Introductory remarks

Our sources concerning the Iranian Arsacid state (from the middle of the 3rd century BC to the beginning of the 3rd century AD) are rather poor and their historical interpretation is not beyond dispute. The basic evidence for the study of Parthia are testimonies of the Greek and Roman authors. In spite of the fact that most of those testimonies view the Arsacids from the outside they still constitute the most solid base for an approach to Parthian history. The peoples of Central Asia and events which took place on the eastern borders of Iran were as a rule of little importance to the ancient western historians. However, some writers of antiquity, above all Apollodorus of Artemita and Pompeius Trogus in Justin, provide valuable accounts on Parthian history in the northeast. On the other hand, extensive evidence for Parthia and Central Asia is provided by Chinese records (Pulleyblank 1968; Hulšewé 1979; Leslie, Gardiner 1982; Posch 1998). The study of Parthian and Central Asian history in the last decades has made considerable advances mainly through the accumulation of new archaeological, numismatic and epigraphic materials (cf. Masson 1987a; Harmatta (ed.) 1994; Masson (ed.) 1994; Invernizzi (ed.) 1995; Olbrycht 1998; 1998a; 1998b; Wieshöfer (ed.) 1998).

The history of the vast territory of Central Asia is linked with the relationship between nomad and sedentary populations. The steppe expanses of Central Asia have been traditionally a land of roaming nomads (Masson (ed.) 1975; Daffinà 1982; Moškova (ed.) 1992). Unlike agricultural production, the pastoral nomadic economy was not self-sufficient. The nomads had to interact with the surrounding sedentary areas to gain access to certain foodstuffs as well as the products of urban manufacture. For that phenomenon, there are striking analogies in the nomadic-Chinese interaction; steppe tribes often waged war on China to gain goods, grain, weapons or silk (Barfield 1989; Jagchid, Symons 1990). The south-western areas of Central Asia, particularly Bactria, Sogdiana, Farghana and Chorasmia, on the other hand, were centres of a highly developed sedentary culture with numerous cities and smaller settlements (Košelenko (ed.) 1985). This culture was rooted in the achievements of the Central Asian Bronze Age (cf. Dani, Masson (eds.) 1992). As a rule, there was no exact natural frontier between the domains of the nomadic and sedentary communities and the latter were exposed to dynamic and mobile steppe neighbours. In such circumstances, various relations between steppe

and sown land determined the development of ancient Central Asia (Masson 1987; Masson (ed.) 1989; Olbrycht 1998; 1998a).

Historically, the western areas of Central Asia (Western Turkestan) came to be associated more closely with the Iranian Plateau. While the links between Central Asia and Iran under the Achaemenids and Sasanians have been investigated, the extent and nature of Parthian penetration in Central Asia still remain almost unknown. By combining literally sources, epigraphic, numismatic and archaeological data it is possible to create a fuller picture of Parthian history and to vindicate the observation that the peoples of Central Asia played to some extent a key role in the development of cultural and political history of the Arsacid empire. I do not intend in this place to analyse such a huge problem in its totality. But it is necessary to show some new observations on the issue and to define a new interpretative framework better suited to help with understanding of Arsacid history.

1. The Rise of the Arsacid Kingdom in the Transcaspian Plains and North-eastern Iran

The emergence of the Arsacid state has been the subject of considerable debate. In the middle of the 3rd century BC there appeared on the northeastern border of Iran a people previously barely known. This people, the Aparni, under Arsaces, within a few years changed the balance of power in the whole region. Moreover, the clan of Arsaces introduced into the scene of Central Asian, Iranian and world history an ethnic and linguistic entity whose cultural characteristics remain disputable. Yet, such considerations notwithstanding, it should not be lost from sight that the origins of the Arsacids were tied with the nomadic world of Turkestan. The political developments of early Arsacid history can only be explained in a coherent fashion by showing the sphere of interaction between the nomadic and sedentary peoples in northeastern Iran and Central Asia (cf. Olbrycht 1998 and 1998a).

Under the Achaemenids, different forms of co-existence between nomads and sedentary population were developed in Central Asia and northeastern Iran (Olbrycht 1996: 148 ff.). The Iranian steppe tribes interacted with the sedentary communities in Sogdiana (Obel'čenko 1992: 219 ff.; Mandel'stam 1992: 108), in the middle course of the Syr Darya (Negmatov 1989), and particularly in Chorasmia (Vajnberg 1992a). Finds of Persian imports from the south Urals as far as the Altai show the impact of the Achaemenid culture. Alexander's campaigns in Central Asia dealt shuttering blow to the relation of nomads with the sedentary areas. The pastoral steppe tribes were driven back and cut off from the settled population. It is significant that nomadic peoples, who during the campaigns of Alexander had played an important part in the Achaemenid army, supported Bessos-Artaxerxes and Spitamenes against the Macedonians. In all

areas adjoining to the steppe expanses (Parthyaia, Areia, Margiana, Transoxiana) the resistance to the conqueror was stronger than elsewhere in Iran. Moreover, the sedentary population of these frontier provinces gained the support of nomads: the Sakas from beyond the Syr Darya, the Dahae as well as the Massagetae (Olbrycht 1996: 150ff.). The socio-political system of the Hellenistic civilisation — in contradistinction to that of the Achaemenid period — isolated the nomads from the sedentary areas. Here, it will be sufficient to recall that Antiochus I created a huge wall around the city of Merv to defend the province of Margiana from the raids of nomads. Seleucus I und Antiochus I tried to safeguard the north-eastern borders of the Seleucid state, and their generals Patrokles and Demodamas carried out military actions in Western Turkestan.

In the Hellenistic period, southern areas of Western Turkestan (especially Bactria and parts of Sogdiana) and Iran experienced a great urban growth. The cities were instruments of colonisation and served as military as well as economic centres (cf. Košelenko 1979; Masson (ed.) 1985: 258 ff.; Olbrycht 1996). On the other hand, nomadic tribes, roaming beyond the frontiers of the Hellenistic world, tried to gain more influence on the borderland and challenge the restrictive Hellenistic system. Thus, the Dahae who had lived in the lands along the lower course of the Syr Darya up to the borders of Sogdiana and Chorasnia at the time of Alexander, by the middle of the 3rd century BC advanced to the frontiers of the Seleucid kingdom in the vicinity of Parthyaia and Hyrcania. In addition, some steppe tribes including the Dahae penetrated the Seleucid territory and the areas of Margiana and Areia (see Wolski 1993: 24 ff.; Olbrycht 1996: 159 f.). An important role amongst the Dahae tribes played the Aparni who occupied the areas on the Ochos river (i. e. on the Usboi) to the north of Hyrcania and Parthyaia (Strab. 11.8.2—3; 11.9.2—3. Cf. Olbrycht 1992).

In the second half of the 3rd century BC, the Seleucid state experienced a number of defeats and rebellions (Wolski 1999). As a result, Seleucid hegemony in north-eastern Iran and in Bactria weakened. In the meantime, the tribes of the Dahae were frequently invading agricultural areas of Hyrcania and Parthyaia, laying a local population under tribute which was an important source of revenue for nomadic aristocracy (Strab. 11.8.3). Finally, the Aparni under subjugated Parthyaia and Hyrcania (in the 30s of the 3rd century BC). Seleucid attempts to regain the lost satrapies failed and the Arsacids consolidated their position in northeastern Iran (Wolski 1974; 1993: 37 ff.; 1996). Many factors contributed to the establishment of the Arsacid kingdom. Any convincing reconstruction of early Arsacid history should take into account not only political events but also cultural circumstances as well as social components of this development. These questions are still being discussed and are explained in different ways by different scholars (cf., e. g., Wolski 1996; Wiesehöfer 1996; Olbrycht 1998: 51 ff.). It is now possible to say that the Arsacid kingdom came

into existence in the sphere of interaction between the sedentary world of Iran and the northern steppe expanses of Western Turkestan and very quickly managed to achieve the status of a world power. For this reason it is desirable to gain a better understanding of the importance of nomadic components in the emerging and further history of Parthia.

2. Nomadic and Central Asian links of the early Arsacids

A key question in the early history of the Arsacid kingdom is the extent and nature of nomadic penetration in northeast Iran. In this respect, the historian of Parthia must bear the results of the archaeological excavations conducted in contemporary Turkmenistan in mind. At present, there is evidence that the Aparni moved partially onto the sedentary territories of ancient northeastern Iran. Archaeological materials testify to the fact that some nomadic clans settled down within the province of Parthyaia as their cemeteries were situated in the areas which were inhabited by the agriculturists. These burial places consisted mainly of catacomb graves, stretching in a north-south direction. Such burials have been discovered in Parthyaia at the foot of the Kopeth Dagh mountains (Bezmein, Kizyl-Češme und Chas-Kjariz), on the Sumbar river and at Mešrepi-Tachta near Čukur in the Chodžakal valley (Olbrycht 1998: 247 ff.). They are to be associated with the Dahae (Maruščenko 1956; Nikonorov 1987: 34 ff.; Olbrycht 1998: 250 ff.). Similar catacomb burials are also attested further to the north in the Transcaspien plains on the Usboi and in the vicinity of the Balkhan mountains (Jusupov 1986: 37 ff.; Nikonorov 1987: 33 ff.; Vajnberg, Jusupov 1992: 128). Moreover, similar funerary structures have been uncovered in some other areas of Central Asia including the Sarykamysh basin, Transoxiana, and the area belonging to the so-called Sarmatian culture.

In the 2nd century BC — 1st century AD, the presence of the nomadic Dahae on the periphery of Chorasmia and Parthia is attested in epigraphic sources, i.e. in an ostrakon from Kosha-depe in Parthyaia (Livshits 1977: 168, 185) and in an inscription from Burly-kala in Chorasmia (Livšic, Mambetulaev 1986: 39 ff.). The location of the Dahae on the border of Chorasmia may be also surmised from a passage by Pomponius Mela (3.42, based apparently upon a valuable source of the 2nd—1st century BC) which situates the Dahae astonishingly exactly in the great curve of the river Oxos (Amu Darya-Usboi), i. e. in the periphery of Chorasmia. As a matter of fact, on the western periphery of Chorasmia, in the Sarykamysh basin, a large number of catacomb- and side-chamber graves has been unearthed (Vajnberg 1981; 1992a). The tombs are similar to that from Arsacid Parthyaia and may be connected with the Dahae. It is believed that some archaeological remains investigated in Dihistan north of Hyrcania are attributable to the Dahae (cf. Masson 1961).

The early history of the Arsacids is bound up not only with the Dahae and Aparni but also with the Apasiacae, a nomadic tribe belonging in all likelihood to the Massagetae. As far as can be judged by some classical accounts, the Apasiacae were always willing to give armed support to the claims of the first Arsacids, and just their help for the first Arsacids turned out to be decisive during the invasions carried out by Seleucus II and Antiochus III (Olbrycht 1998, 65). It may be surmised that the Apasiacae controlled the vast area from the lower course of the Syr Darya to the Usboi and the Caspian Sea in the 3rd century BC (P'jankov 1983: 41, 50 f.). It is believed that the tribal confederation of the Apasiacae was in possession of Chorasmia (Tolstov 1948: 17 f.). As a matter of fact, the Massagetae were not agriculturalists but at the same time are regarded in some sources as nomads having control of some sedentary territories (cf. Strab. 11.8.7). This would imply that the agricultural country of the Chorasmians was subjected to the neighbouring nomads, an assumption which may be vindicated by archaeological evidence (see Itina (ed.) 1979; Vajenberg 1981). Some light on the early Partho-Chorasmian relationship may throw suggestions resting upon a statement of Bšrānš on a common genealogy of the Chorasmian and Parthian Arsacid kings (Sal'e 1957: 118. Cf. Tolstov 1948: 234 ff.). The scanty written references concerning the tribes of the Massagetae on the Usboi during the Parthian period can be supplemented by archaeological evidence; in the course of the investigations carried out along the Usboi and in the Balkhan Mountains burial places and religious centres (such as Ičanly-depe and Garaul-depe) of nomadic and semi-nomadic population have been revealed, being assigned to the Massagetae (Jusupov 1986; Vajenberg, Jusupov 1992). During the pre-Arsacid and Arsacid period peoples living to the north of the Usboi basin seem to have stayed in close contact with the Dahae and the Arsacid Parthians. This may be surmised from the last excavations in the north-western part of the Ustjurt plateau at Bajte. Here, a large number of stone statues surrounded by burial-grounds dated to the 5th—3rd centuries BC have been discovered (Ol'chovski, Galkin 1990; Zuyev, Ismagilov 1994). The dress and weapons of the Bajte sculptures show similarities to some Parthian objects such as the "Prince" of Shami.

After the conquest of Parthyaia and Hyrcania, Arsaces I had to rule not only over the pastoral Aparni but also over the settled population of northeastern Iran. The question of the character of socio-economic relations within the Arsacid kingdom is extremely complex. It is clear, however, that the principal influence on the social structure of the early Arsacid kingdom as well as of the Parthian state as a whole was exerted by the nomadic legacy of the Aparni. This inheritance is discernible in the social structure of Parthia which was closely connected with the military organisation of society (cf. Iust. 41.2.5—6; 41.3.4; Plut. Crass. 21.14—23. This problem has been examined by Košelenko 1980.

Cf. Wolski 1967; 1981; Nikonorov 1992). Moreover, it influenced Parthian military practices (Nikonorov 1987; 1994). The kinship of the Parthians and of the nomads as reflected in the similarity of customs, dress, and the way of life, is testified by many ancient authors (see, e. g., Strab. 11.9.2; Mel. 3.33 f.; Plin. nat. hist. 6.29; Iust. 41.1—3). In such circumstances it is not difficult to understand the statements of some ancient authors concerning the “Scythian” beginnings of the Arsacid Parthia (Iust. 2.1.3; 2.3.6; Arr. Parth. frg. 1.2; Strab. 11.9.2; Curt. 6.2.14; Plin. nat. hist. 6.113). The aristocracy of the Aparni became the ruling class in Parthia. The old Iranian nobility of Parthyaia was presumably not exterminated — it appears from the fact that the language of the Arsacid Parthians was actually that of the old sedentary population of Parthyaia (see Sundermann 1989: 120 with further references). However, it contained a number of eastern Iranian elements originating apparently in the tongue of the Dahae. According to Justin (41.2.3), the language of the Arsacid Parthians was a mixture of Median and Scythian.

Arsaces, having become master of Parthyaia, Hyrcania and the adjacent Transcaspian steppe territories, had to define and put into practice a new policy for these regions. In spite of the warlike reputation which the Arsacids attained they were a clan quick to realize and profit by the advantages of peace. The Arsacids showed the ability to adopt prompt and efficiently many achievements of sedentary cultures. Thus, the establishment of the Arsacid coinage, that was in denominations Hellenistic, took place already under Arsaces I; the first issues show in script and iconography certain features which go back to Achaemenid and nomadic traditions (Olbrycht 1998: 66 ff.). The discoveries at Old Nisa/Bagir indicate that the Arsacid Parthians learned to appreciate Hellenistic culture at least from the 2nd century BC onwards. Already Arsaces I attached great importance to the erection of fortifications and strongholds, having apparently adapted certain concepts of Hellenistic policy (cf. Iust. 41.5.1ff.; Amm. 23.6.4. See Olbrycht 1992—93). Besides Hellenistic and Achaemenid also Central Asian nomadic components contributed to the ideology and policy of the early Arsacids (Košelenko 1971; Olbrycht 1997).

3. The development of the Parthian empire and its position in Central Asia

Under Mithradates I (about 170—138 BC), Parthia became the most significant state power in Iran and Western Turkestan. In the east, Mithradates I invaded the Graeco-Bactrian kingdom and annexed some its western regions including in all likelihood Margiana (cf. Iust. 41.6; Strab. 11.11.2). The Parthian conquests in Iran, Mesopotamia and Western Turkestan marked the establishment of a new empire in the territories from the Euphrates to the Indus, the Usboi and the Amu Darya. The new status of the Arsacid state as a regional power defined a new character of the links between Parthia and Central

Asia. In the meantime, the attacks of the Hsiung-nu against the Yüeh-chih set in motion many nomad tribes of Central Asia. The Yüeh-chih migration forced some groupings to move into the territory held by the Arsacids. Two Parthian kings — Phraates II and Artabanos I — lost their lives in encounters against the Sakas and the Tocharoi. Consequently, the Sakas overran and plundered the eastern Iranian provinces of Parthia (see Daffinà 1967; Olbrycht 1998: 77 ff.). The nomadic migrations of the 2nd century BC altered radically the political, ethnic and social situations of the invaded Sogdiana, Bactria, and eastern Iran. From this period onwards, the Parthian empire was faced on its eastern and north-eastern borders by different tribes, kingdoms and principalities dominated by nomads. As time passed, the most conquerors, influenced by local populations, became sedentary, but their culture and organisation of rule maintained in many respect closely linked to the tradition of their nomadic descendance (Masson 1987; Masson (ed.) 1989). At the same time, however, the development of commerce and urban growth are discernible under the nomadic suzerainty (cf. Pugačenkova et al. (eds.) 1987; Pugačenkova, Rtveladze 1990: 46 ff.; Olbrycht 1998: 120 ff.).

It was Mithradates II (124/3—88/87 BC) who successfully fought several times with the Scythians and renewed Parthian power in Central Asia as documented by Justin (42.2.4—5) and Strabo (11.9.2). He conquered the areas of western Bactria; the Arsacid coin finds in western Bactria begin from the time of Mithradates II (see Rtveladze 1992; Rtveladze 1993/4: 87; Rtveladze 1995a). Moreover, Mithradates II probably subjugated the middle course of the Amu Darya (including the Amul region). Control of the middle Amu Darya was an essential preliminary to any conquest in the region, whether in Sogdiana or in northern Bactria (cf. Masson 1993). The dominant position in Western Turkestan in the area from the Caspian Sea to the Amu Darya basin belonged ever since for more than two centuries to Parthia. Moreover, Arsacid efforts must have stimulated an interest in commerce. As a result, diplomatic and trade relations were established between Parthia and China (Pulleyblank 1992: 424 ff.).

In the history of the Parthian kingdom the 1st century BC was the period of significant political, economic and cultural development. Arsacid influence touched on the affairs of many peoples of Central Asia and eastern Iran. This may be surmised from written and, most importantly, numismatic sources. In the 1st century BC, Parthian authority seems to have extended over western Bactria and the adjacent regions of what today is Afghanistan, if one judges by the number of Arsacid coins found there and by some literary accounts. In eastern Iran and Bactria, local clanchiefs began to over stamp Arsacid coins with their countermarks and later to produce imitations of Arsacid drachms (Sellwood 1980: 294 f.; Zejmal' 1983: 132 ff.). The nomads of Central Asia were often involved in internal struggles in Parthia. Thus, Sinatruces (78/78—70/69 BC) re-

gained his kingdom with the assistance of the Sacaraucae (Lucian. *Macrob.* 15.). His and his son's, Phraates III, royal tiara, as depicted on coins, has details obviously of nomadic origin, including strings of deer-shaped appendages, which make references to religious symbolism of Central Asian nomadic tribes (Olbrycht 1997: 45 ff.). We hear that Phraates IV (ca. 38-3/2 BC) fled to the "Scythians" when his rival Tiridates entered Ctesiphon (Just. 42.5.5f.). It should be noted that Phraates IV's son, Vonones I, was a relative of a rex Scytharum (Tac. *ann.* 2.68.). It is striking that just the issues of those Arsacids whose close contacts to the eastern nomads are reflected in written sources gained currency among peoples living in Western Turkestan and eastern Iran and were imitated as well as countermarked there. Thus, a number of coins issued under Sinatruces and his son Phraates III have been found on the middle Amu Darya and in western Bactria, in the alleged country of their allies Sacaraucae; Sinatruces' and Phraates III's coins are attested at Mirzabekkala and Kerki (Pilipko 1976), and at Alt Termez (Rtveladze 1993/4: 87). A number of coins of Phraates IV and their imitations have been discovered in southern Tajikistan, Uzbekistan and northern Afghanistan (Zejmal' 1983: 129 ff.; Pugačenkova, Rtveladze 1990: 45 ff.; Olbrycht 1998: 118 f.).

In the 1st century A.D., there were many episodes which show the connections of the Parthians with the peoples of Central Asia. With Artabanos II (about AD 10/11—39/40), who was related to the Central Asian Dahae (Tac. *ann.* 2.3.1; 6.41.2.), a new branch of the Arsacids was placed on the throne (Olbrycht 1998: 138 ff.). The old Parthian countries Hyrcania and Parthyaia as well as the Dahae from the Transcaspian plains were the political mainstay of the new king (Jos. *ant.* 18.100; Tac. *ann.* 6.44.1; Dio 58.26.3). In the 40s of the 1st century AD during the struggles between the successors of Artabanos II, Gotarzes II (supported by the Hyrcanians and the Dahae), and Vardanes (ruled Media Atropatene), many areas of northeastern Iran were devastated (Olbrycht 1997a: 81 ff.). The fighting rivals met in the plains of Bactria (Tac. *ann.* 11.8.4). Meanwhile, the struggles between Vardanes I and Gotarzes II involved Hyrcania and the Transcaspian plains. On the river Erindes (probably the Rûd-e Atrak) Gotarzes II was defeated and the victorious Vardanes subjugated some areas as far as the stream Sindes (Tac. *ann.* 11.10. 2) which is surely to be located north of Iran proper, for Vardanes entered territory situated outside the previous borders of Parthia (Tac. *ann.* 11.10.3). It is possible that Vardanes' enterprise reached the Aral Sea area (see Olbrycht 1997a: 87 ff.). In particular, Chorasmia might have been affected by the Parthian actions. It is noteworthy that one Vardanes' coin minted in Mihrd~tkirt has been found in Chorasmia (Nikitin 1991: 120 f.).

Internal troubles in the Arsacid empire in the first half of the 1st century AD weakened its position in Central Asia and in all likelihood accelerated the consolidation of the Yüeh-chi clans in eastern Bactria. Nevertheless, Par-

thia maintained the paramount power in Turkestan up to the mid 1st century AD. Tacitus (ann. 11.8.4) und Josephus Flavius (ant. 20.87) refer to Bactria in the context of Parthian internal affairs under Vardanes (AD 39/40—45) and at the beginning of the reign of Vologases I (AD 50—79). In addition, according to the Chinese Annals Hou Han-shu, Kao-fu/Kabul, an important center of eastern Afghanistan, was about the mid 1st century AD under Parthian control (Pulleyblank 1968: 248).

It was under Vologases I (about AD 50—79) when Arsacid authority in Bactria and the Hindukush area was shaken and Parthian influences in Central Asia were limited. In the east, the Kushans, who had consolidated their power under a series of capable kings, became from the 50—60s of the 1st century AD the major rivals of the Parthians. Ch'iu-chiu-ch'üeh, being identified as Kujula Kadphises, united the clans of the Yüeh-chih and invaded An-hsi/Parthia. According to the Hou Han-shu, chapter 118: "The king (Ch'iu-chiu-ch'üeh) attacked An-hsi and took the territory of Kao-fu. He also overthrew P'u-ta and Chi-pin and completely annexed these countries" (Pulleyblank 1968, 247f.). In all probability, the Parthian engagement in Armenia against Rome (from about AD 52 to 62) and internal rebellions of a filius Vardanis (ca. 55—58) as well as of the Hyrcanians (ca. 58—61) could have tempted the Kushan rulers to expand their power. Certain western sources provide important indications concerning the serious troubles of the Parthians in the east under Vologases I (Periplus of the Erythraean Sea, 47; Tac. ann. 15.1. Cf. Olbrycht 1998b: 136 ff.). In such circumstances, it is not difficult to accept that Kujula Kadphises, a contemporary of Gotarzes II and Vologases I, in the 50—60s of the 1st century AD might have expanded his power at the expense of Parthia. It must be pointed out, however, that the main direction of Kushan expansion led to India, not to the west. To sum up, after a long time in the second half of the 1st century AD, the Arsacids were confronted in the east by a well-organised and dangerous state instead of many weak tribes and principalities. As a result, Arsacid economic and to some extent political influence in Central Asia, especially in Bactria, became limited. Nevertheless yet Pacorus II (around AD 78—110) tried to establish diplomatic links to China apparently as a countermeasure against the Kushans (Leslie, Gardiner 1982: 283 f.). At the same time, a Chinese diplomatic mission led by Kan Ying reached T'iaoh-chih, probably the southwestern regions of the Parthian empire (AD 97 — Leslie, Gardiner 1982: 283).

According to the information at our disposal, in the 2nd century AD the Parthian empire centred its activity merely in Iran proper, Mesopotamia and Armenia. Documentary evidence of this period in the history of Central Asia is extremely scarce. The peace of the Parthian empire in the east may have been disturbed by a conflict with the Kushan state (Harmatta (ed.) 1994: 432). It is probable that Parthia remained in control of the Amul region on the mid-

dle course of the Amu Darya. At any case, Margiana remained the main Parthian bastion in the northeast. The city of Merv enjoyed an exceptional importance in the “Silk Route” trade (cf. Masson 1991) and was for the Arsacids a key to control the adjoining areas of Central Asia. It appears that Margiana was in the late Parthian period temporarily to some extent independent (in particular, under Sanabares) but as a rule its sovereigns issued coins modeled on the Arsacid pattern (Pilipko 1980). A number of fortified centres emerged in the Merv oasis in the late Arsacid period (mainly in the 2nd century AD).

On the whole, the Parthian empire was surrounded in the east and north by a number of strong tribes and states. Some ancient authors repeatedly reflect the significance of the Central Asian frontier in Parthian policy. Thus, Pompeius Trogus in Justin (41.1.1) states that: (sc. Parthi) praetera cum gravibus Scythicis et vicinalibus bellis adsidue vexati variis periculorum certaminibus urgerentur. In addition, Pliny the Elder (nat. hist. 6.50) reports on the neighbours of Parthia in the north-east: multitudo populorum innumera et quae cum Parthis ex aequo degat, and adds furthermore: Pertinent (sc. Parthi) ad Scythas, cum quibus ex aequo degunt (nat. hist. 6.112. See also Solin. 49.7 and 55.1). For the classical writers, the Central Asian neighbours of the Arsacid kingdom were mostly nomads. At our disposal we also have Chinese testimonies which maintain that in Turkestan Parthia bordered many nomadic and seminomadic peoples, including the Yen-ts'ai (in the Aral region), the Great Yüeh-chih (in Bactria) and the K'ang-chü (in the Syr Darya basin) (Posch 1998).

4. The Parthian presence in Central Asia — some observations

Archaeological materials provide some clear indication of vivid intercourse between the Parthians and peoples of the Bactrian area. Thus, amongst the objects unearthed at Kampyr-tepe on the Amu Darya (western Bactria) a strong Parthian influence is discernible. Moreover, Arsacid coins of the 1st century BC and 1st century AD have been found at this site (Rtveladze 1995). In the burials of Tillja-tepe, Parthian coins (Košelenko, Sarianidi 1992: 27) and objects influenced by Parthian art has been revealed (Pugačenkova, Rempel' 1986: 22). At the site of Chalčajan in the Surchandarya valley (northern Bactria), G. A. Pugačenkova has excavated a palace which probably belonged to a pre-Kushan sovereign. The inventory from this site contained objects with striking Parthian affinities (see Pugačenkova 1990).

The problem of the interrelation between Chorasmia and Parthia has not been convincingly interpreted. Documentary evidence for this issue is extremely scarce (Masson 1966; Vajnberg 1977; Olbrycht 1998, *passim*). Close connections between the Arsacid kingdom and Chorasmia can be deduced from certain epigraphic data. It is believed that the creation of the Chorasmian script was strongly influenced by the royal chancelleries of Arsacid Parthia

(Livshits 1968: 436. Cf. Livšić 1970: 162). These strong influences must have been tied with the predominant position of Parthian power in Chorasmia. Such an assumption may be supported by a newly discovered inscription from southern Chorasmia. Here, at Chumbuz (on the left bank of the Amu Darya not far from Chazarasp), a pottery fragment with a text has been found. The document can imply that at least southern Chorasmia was under Parthian control in the 1st century BC (Livšić, Mambetullaev 1986: 38). The Arsacid control of Chorasmia with certain adjacent areas in Transoxiana may be surmised from Chinese records of the early Han period which claim that An-hsi/Parthia bordered the Kuei River (Amu Darya) and even the people of Yen-ts'ai being located on the Aral (Watson 1961: 268). The political and strategic importance of Chorasmia for Arsacid policy in Western Turkestan seems to have remained valid throughout the whole history of Parthia.

In the period between the 10s and the 30s of the 1st century AD (Livšić 1984: 253), a new era was introduced in Chorasmia. The so called Chorasmanian era was presumably connected with the establishment of a new dynasty and remained in use for eight centuries. The origins of the dynasty are unclear. It seems that some features of Chorasmanian coinage in the 1st—2nd centuries AD were imitated from the Arsacid pattern (Masson 1966; Olbrycht 1998: 222). Presumably, the establishment of a new dynasty in Chorasmia took place in connection with Parthian activities in the east under Artabanos II. V. M. Masson (1966) has stressed that political links between Chorasmia and Parthia, especially because of Kushan danger, must have been close. In Chorasmia, some Parthian coins struck in Margiana under Sanabares have been found (Vajnberg 1977: 176). On the other hand, turquoise from Chorasmia has been discovered at Parthian Merv (Pruger 1976: 51 ff.).

Under the Arsacids, international trade developed on a scale previously unknown. The main sources of information on the trade in Central Asia during the Parthian period are Chinese records (see Lubo-Lesničenko 1994). There are material traces of Parthian commercial activities in the interior of Central Asia. Parthian coin finds are attested near Kokand, in the vicinity of Karakol near Issyk-kul lake and at Chodñent (cf. M. Masson 1930: 91; 1933: 8). It is noteworthy, that Mithradates II's coin has been found in eastern Turkestan (Olbrycht 1998: 104, note 153).

New material concerning the peoples on the Central Asian borders of Parthia has been gained through the recent excavations by archaeologists. Close ties are discernible in archaeological evidence between north-eastern Iran and the Usboi-area. A considerable number of pottery from Parthia has been unearthed on many sites of the Usboi-region in nomadic burial grounds (Pilipko, Košelenko 1985: 224). On the Usboi, the Parthian fortress Igdy-kala has been revealed (Jusupov 1986, 154ff.). The presence of Parthian pottery (Jusupov

1986: 154 ff.) and ostraca (Livšić 1984a: 32) place the fortress firmly within the political borders of the Arsacid empire. Its establishment far from the sedentary areas of Parthyaia took place probably in the 2nd or 1st century BC and manifests the importance of the Transcaspiian area, notably of the Usboi basin, in the policy of the Arsacids. On the other hand, on the Usboi some funerary rituals (ossuaries) and a number of ceramics from Chorasmia may also imply that the latter was somewhat linked with that region (Vajnberg, Jusupov 1992: 125 ff.).

In reconstructing the political history of Central Asia and Parthian Iran it is necessary to keep in mind the existence of close cultural, ethnic and religious affinities between these areas — many phenomena in their civilisation are rooted in similar cultural background. Languages used by the people of Western Turkestan and Iran were closely related. It is evident from Chinese records that there was a strong resemblance between the languages used by the peoples from Farghana to the east up to Parthia: “To the west of Ta Yüan and as far as the state of An-hsi there are many different languages spoken, but they are in general the same, and people understand each other clearly” (Hulsewé 1979: 136). According to Eratosthenes in Strabo (15.2.8.), the Iranians, named as the peoples of Ariane, “speak approximately the same language, with but slight variations”. Sources concerning religion are scanty, but it appears that Zoroastrianism (although in different forms) was the predominant religion both in northeastern Parthia and in Chorasmia, Sogdiana as well as some other areas of Central Asia (see Grenet 1984: 81 ff. and 247 ff.). The calendar systems of Parthia, Chorasmia and Sogdiana were derived from the Zoroastrian calendar (Livšić 1975: 327 ff.).

Concluding remarks

This attempt at reinterpretation of some aspects of Arsacid history remains more often than not unfinished and incomplete. Nevertheless, from this brief sketch it should be evident that from its very beginning the Parthian empire maintained closely related to the peoples of Central Asia. These political, economic and cultural links are clearly indicated by written sources, numismatic data and archaeological materials.

It should be noted that the Arsacid kingdom was founded by a Central Asiatic people of nomadic origin in a border zone between Iran and Turkestan. The establishment and development of the Parthian state, which maintained politically, economically and culturally linked with the peoples of Central Asia, had in many respects fundamental consequences for the history both Iran and Central Asia. From the very beginning the kingdom created by Arsaces I had developed specific features having contained nomadic and sedentary elements. As a result, Parthia became a state which, although it had been established by nomads, possessed an expanding agricultural and urban eco-

conomic basis. The importance of the nomadic heritage in the course of Arsacid history has not been recognised for a long time. Nevertheless, the above mentioned new discoveries in Parthyaia, in the Usboi basin and in Ustjurt may set the research of many aspects of the nomadic-Parthian affinities upon a new course. The Arsacids, although of nomadic origin — or maybe just therefore — enabled to create a successful socio-economic system. In this respect, there are significant similarities between the development of the Arsacid kingdom and that of the Kushans (for the latter, see Masson 1986; 1987).

It must be borne in mind that the relationship between the peoples in north-eastern Iran and Central Asia was not always one of conflicts and struggles. Throughout the whole timespan of the Arsacid epoch, the links between Iran and the peoples of Central Asia were extremely differentiated and ranged from conquest and political predominance to trade and cultural relationship. The Arsacids carried out an active policy with regard to their Turkestan neighbours. Chinese historical annals (the Shih-chi, Han-shu, and Hou-Han shu) considered Parthia (An-hsi) as a major state in Western and Central Asia. In the west, the Arsacid kingdom crushed the power of the Seleucids and, in fact, blocked Roman eastward progress. Parthia under the Arsacids occupied a key position between the Mediterranean world to the west and Central Asia to the east (Olbrycht 1998b). As a kind of conclusion, I would like to stress one point: it is necessary to recognize the immense importance of Central Asia in the course of Arsacid history. The study of Parthia can no longer be isolated from the history of Western Turkestan.

- Annanepesov M. A., Masson V. M. (eds.).* 1992. Merv v drevnej i srednevekovoj istorii Vostoka III: Merv i parfjanskaja epoha. Ashgabad.
- Barfield T. J.* 1989. The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China, Cambridge (Mass.).
- Daffinà P.* 1967. L'immigrazione dei Saká nella Drangiana / Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente. Centro Studi e Scavi Archeologici in Asia. Reports and Memoirs IX. Roma.
1982. Il nomadismo centrasiatico I. Roma.
- Dani A. H., Masson V. M. (eds.).* 1992. History of Civilization of Central Asia I: The Dawn of Civilization: Earliest Times to 700 B. C. Paris.
- Funck B. (ed.).* 1996. Hellenismus. Beiträge zur Erforschung von Akkulturation und politischer Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters // Akten des Internationalen Hellenismus-Kolloquiums 9 — 14. März in Berlin. Tübingen.
- Grenet F.* 1984. Les pratiques funéraires dans l'Asie Centrale sédentaire de la conquête Grecque a l'Islamisation. Paris.
- Harmatta J. (ed.).* 1994. History of Civilization of Central Asia. Vol. II: The Development of Sedentary and Nomadic Civilization: 700 B.C. to A.D. 250. Paris.
- Hulsewé A. F. P.* 1979. China in Central Asia. The Early Stage: 125 B.C. — A.D. 23. An Annotated Translation of Chapters 61 and 96 of the History of the Former Han Dynasty (Sinica Leidensia XIV). Leiden.

- Invernizzi A. (ed.)*. 1995. In the Land of the Gryphons. Papers on Central Asian archaeology in antiquity. Firenze.
- Itina M. A. (ed.)*. 1979. Kočevniki na granicah Chorezma. Moskva.
- Jagchid S., Symons V. Y.* 1990. Peace, War and Trade along the Great Wall. Nomadic-Chinese Interaction through Two Millennia. Bloomington.
- Jusupov Ch.* 1986. Drevnosti Uzboja. Ashchabad.
- Košelenko G. A.* 1971. Carskaja vlast i ee obosnovanie v rannej Parfii // Istorija iranskogo gosudarstva i kul'tury: 212—218. Moskva.
1979. Grečeskij polis na ellenističeskom Vostoke. Moskva.
1980. Les cavaliers parthes. Aspects de la structure sociale de la Parthie // DHA 6: 177—199.
1985. (ed.). Drevnejšie gosudarstva Kavkaza i Srednej Azii. Moskva.
- Koshelenko G. A., Sarianidi V. I.* 1992. Les monnaies de la nécropole de Tillia-tepe (Afghanistan) // Studia Iranica 21: 21—32.
- Leslie D. D., Gardiner K. H. J.* 1982. Chinese Knowledge of Western Asia during the Han // T'oung Pao 68: 254—308.
- Livshits V. A.* 1968. The Khwarezmian Calendar and the Eras of Ancient Chorasmia // AAntASH 16: 433—446.
- Livšic V. A.* 1977. New Parthian Documents from South Turkmenistan // AAntASH 25: 157—187.
1970. Chorezmijskij kalendar' i éry drevnego Chorezma // Palestinskij sbornik 21: 161—169.
1975. Zoroastrijskij kalendar // E. Bickerman. Chronologija drevnego mira: 320—332, Moskva.
1978. Novye parfjanskije nadpisi iz Turkmenii // Istorija i archeologija Srednej Azii: 138—147. Aščabad.
1984. Dokumenty // Ju. A. Rapoport, E. E. Nerazik (eds.) Toprak-kala. Dvorec / Trudy Chorezmskoj archeologo-etnografičeskoj ekspedicii XIV: 251—286. Moskva.
- 1984a. Novye parfjanskije nadpisi iz Turkmenii i Iraka // Epigrafika Vostoka 22: 18—40.
- Livšic V. A., Mambetullaev M. M.* 1986. Ostrak iz Chumbuz-tepe // G. F. Girs, E. A. Davidovič, M.-N. O. Osmanov (eds.). Pamjatniki istorii i literatury Vostoka: 34—45. Moskva.
- Lubo-Lesničenko E. I.* 1994. Kitaj na shelkovom puti. Moskva.
- Mandel'stam A. M.* 1992. Kočevoe naselenie Sredneazijskogo meždureč'ja v poslednie veka do našej éry i pervye veka našej éry // Moškova (ed.): 107—115.
- Maruščenko A. A.* 1959. Kurgannye pogrebenija sarmatskogo vremeni v podgornoj polose Južnogo Turkmenistana // Trudy Instituta istorii, archeologii i étnografii Akademii nauk Turkmenskoj SSR 5: 110—122. Aščabad.
- Masson M. E.* 1930. Monetnye nachodki, zaregistrirovannye v Srednej Azii za 1928 i 1929 gg. / Uzbekistanskij gosudarstvennyj nauchno-issledovatel'nyj institut. Nauchnaja Mysl' 1. Samarkand — Taškent.
1933. Monetnye nachodki, zaregistrirovannye v Srednej Azii v 1930 i 1931 godach / Materialy Uzkomstarisa 5. Taškent.
- Masson V. M.* 1961. K istorii parfjanskogo i rannesrednevekovogo Dachistana // Izvestija Akademii Nauk Turkmenskoj SSR 2: 36—43.
1966. Chorezm i kušany // Épigrafika Vostoka 17: 79—84.

1975. (ed.). Rannie kočevniki Srednej Azii i Kazachstana. Leningrad.
1985. Severnaja Baktريا // G. A. Košelenko (ed.): 250—272.
1986. Kočevnicheskie komponenty kušanskogo archeologičeskogo kompleksa // G. A. Košelenko (ed.). Problemy antičnoj kul'tury: 258—264. Moskva.
1987. Vzaimodejstvie raznourovnevych tradicij v gorodskoj kul'ture Baktрии i Sogda // Pugačenkova G. A. et al. (eds.): 72—76.
- 1987a. Das Land der Tausend Städte. Wiesbaden.
1989. (ed.). Vzaimodejstvie kočevych kul'tur i drevnich civilizacij. Alma-Ata.
1991. Merv — stolica Margiany. Mary.
1993. Drevnij Amul' — stolica sredneamud'arinskogo regiona // V. Atamamedov (ed.), Drevnij Amul'. Problemy istorii i kul'tury Srednej Amudar'i: 7—13. Čhardžev.
- Masson V. M. et al. (eds.). 1994. New Archaeological Discoveries in Asiatic Russia and Central Asia / Archaeological Studies 16. Sankt-Petersburg.
- Moškova M. G. (ed.). 1992: Stepnaja polosa Aziatskoj časti SSSR v skifo-sarmatskoe vremja. Moskva.
- Negmatov N. N. 1989. Sako-sogdijskij sintez na srednej Syrdar'e // V. M. Masson (ed.): 292—301.
- Nikitin A. B. 1991. Monetnye nachodki iz rajona gorodishšča Šach-senem // Skotovod y zemledel'cy levobereznogo Chorezma: 120—121. Moskva.
- Nikonov V. P. 1987. Vooruženije i voennoe delo v Parfii (unpublished PhD thesis), Leningrad.
1992. O strukture voinskogo soslovija v parfjanskom gosudarstve // Annanepesov M. A., Masson V. M. (eds.): 18—20.
1994. Sredneaziatskie katafraktarii kak produkt vzaimodejstvija voennyh shkol Zapada i Vostoka v epochu rannego ellinizma // V. M. Masson (ed.). Vzaimodejstvie drevnich kul'tur i civilizacij i ritmy kul'turgeneza: 47—51. Sankt-Petersburg.
- Obel'čenko O. V. 1992. Kul'tura antičnogo Sogda: po archeologičeskim dannym VIII v. do n.é. — VI v. n.é. Moskva.
- Olbrycht M. J. 1992: Problemy istoričeskoj geografii Turkmenistana v éllinističeskij i aršakidskij periody // Annanepesov M. A., Masson V. M. (eds.): 21—22.
- 1992/3. Some Remarks on Hellenistic Influence upon the Fortification of Northeastern Iran in the Arsacid Period // Folia Orientalia 29: 131—151.
1996. Die Beziehungen der Steppennomaden Mittelasiens zu den hellenistischen Staaten (bis zum Ende des 3. Jahrhunderts vor Chr.) // B. Funck (ed.): 147—169.
1997. Parthian King's Tiara — Numismatic Evidence and Some Aspects of Arsacid Political Ideology // Notae Numismaticae 2: 27—65.
- 1997a. Vardanes contra Gotarzes II. — einige Überlegungen zur arsakidischen Politik ca. 40 — 51 n. Chr. // Folia Orientalia 33: 81—100.
1998. Parthia et ultiores gentes. Die politischen Beziehungen zwischen dem arsakidischen Iran und den Nomaden der eurasischen Steppen. München.
- 1998a. Die Kultur der Steppengebiete und die Beziehungen zwischen Nomaden und der seßhaften Bevölkerung // J. Wiesehöfer (ed.): 11—43.
- 1998b. Das Arsakidenreich zwischen der mediterranen Welt und Zentralasien (ca. 50—150 n.Chr.) // E. D'browa (ed.): Ancient Iran and the Mediterranean World. Papers of the Colloquium Held at the University of Cracow in September 1996: 123—159.

- Ol'chovskij V. S., Galkin L. L.* 1990. Kul'tovyy kompleks na Ustjurte // SA. 4: 196—206.
- Pilipko V. N.* 1976. Nachodki parfjanskich monet na Amudar'e // Pamjatniki Turkmenistana 2: 24—25.
1980. Parfjanskije bronzovye monety so znakom Ĭ pod lukom // VDI 4: 105—124.
1985. Poberež'e Srednej Amudar'i // Košelenko (ed.): 243—249.
- Pilipko V. N., Košelenko G. A.* 1985. Severnaja Parfija // Košelenko (ed.): 209—225.
- P'jankov I. V.* 1975. Massagety Gerodota // VDI 2: 46—70.
1983. Chorezm v antičnoj pismennoj tradicii // N. N. Negmatov (ed.). Chorezm i Muchammad al-Chorezmi v mirovoj istorii i kul'ture: 38—56. Dushanbe.
- Posch W.* 1998. Chinesische Quellen zu den Parthern // J. Wiesehöfer (ed.): 355—364.
- Pruger E. B.* 1976. K voprosu o syr'evykh istočnikakh biryuzy s arheologičeskikh pamyatnikov Yuzhnoy Turkmenii (po materialam gorodishch starogo Merva) // Izvestija Akademii Nauk Turkmenskoy SSR. SON 1: 48—54.
- Pugačenkova G. A.* 1990. Parfjanskij sled v Severnoj Baktirii // Archeologija Srednej Azii. Tezisy dokladov: 82—83. Taškent.
- Pugačenkova G. A., Rempel' L. I.* 1986. O zolote bezymjannykh carej iz Tillja-tepe (k problemje stilja i svjazej) // Iz istorii kul'turnykh svjazej narodov srednej Azii i Indii: 5—24. Taškent.
- Pugačenkova G. A. et al. (eds.)*. 1987. Gorodskaja kul'tura Baktirii-Tocharistana i Sogda. Materialy sovsotsko-francuzskogo kollokviuma (Samarkand 1986). Taškent.
- Pugačenkova G. A., Riveladze É. V.* 1990. Severnaja Baktirija-Tocharistan, Taškent.
- Pulleyblank E. G.* 1968. Chinese Evidence for the Date of Kaniska // A. Basham (ed.). Papers on the Date of Kaniska. 247—258. Leiden.
1992. Chinese-Iranian Relations I. In pre-Islamic times // Encyclopaedia Iranica 5: 424—431.
- Riveladze É. V.* 1992. O zone parfjanskich vladenij v zapadnoj Baktirii // Annanepesov M. A., Masson V. M. (eds.): 33—34.
- 1993/4. Coins of the Yuezhi Rulers of Northern Bactria // Silk Road Art and Archaeology 3: 81—95.
1995. Découvertes en numismatique et épigraphie gréco-bactriennes à Kampyr-tepe // RN 150.: 20—24.
- 1995a. Parthia and Bactria // Invernizzi A. (ed.): 181—190.
- Sal'e M. A.* 1957. Aburejchan Biruni (973—1048). Izbrannye proizvedenija I. Taškent.
- Schmitt R. (ed.)*. 1989. Compendium linguarum Iranicarum. Wiesbaden.
- Sellwood D.* 1980. An Introduction to the Coinage of Parthia. London.
- Sundermann W.* 1989. Parthisch // Schmitt R. (ed.): 111—137.
- Tolstov S. P.* 1948. Drevnij Chorezm. Moskva.
- Vajnberg B. I.* 1977. Monety drevnego Chorezma. Moskva.
1979. Kurgannye mogil'niki Severnoj Turkmenii (Prisarykamyškajaja del'ta Amudar'i) // Itina M. A. (ed.): 167—177.
1981. Skotovodčeskie plemena v drevnem Chorezme // Kul'tura i iskusstvo drevnego Chorezma. Moskva.
1992. Parfija i Chorezm (Aspekty političeskikh vzaimootnošenij s točki zrenija archeologii) // Annanepesov M. A., Masson V. M. (eds.): 36—39.
- 1992a. Pamjatniki skotovodčeskikh plemen v levoberežnom Chorezme // Moškova M. G. (ed.): 116—122.

- Vajnberg B. I., Jusupov Ch. 1992. Kočevniki severo-zapadnoj Turkmenii // Moškova (ed.): 122—129.
- Watson B. 1961. Records of the Grand Historian of China. Transl. from the Shih chi of Ssu -ma Ch'ien. Vol. II. New York-London.
- Wiesehöfer J. 1996. Discordia et Defectio — Dynamis kai Pithanourgia. Die frühen Seleukiden und Iran // Funck B. (ed.): 29—56.
- Wiesehöfer J. (ed.). 1998. Das Partherreich und seine Zeugnisse. Colloquium Eutin 1996 / Historia. Einzelschriften 122. Stuttgart.
- Wolski J. 1974. Arsace I^{er}, fondateur de l'État parthe // Acta Iranica 3: 159—199.
1980. La frontière orientale dans la politique de l'Iran arsacide // Folia Orientalia 21: 235—244.
1981. L'aristocratie foncière et l'organisation de l'armée parthe // Klio 63: 105—112.
1993. L'Empire des Arsacides / Acta Iranica 32. Lovanii.
1996. Les débuts de l'État parthe et ses contacts avec l'Asie Centrale // Convegno internazionale sul tema: La Persia e l'Asia Centrale da Alessandro al X secolo, Roma 1994 / Atti dei Convegni Lincei 127: 179—185. Roma.
1999. The Seleucids. The Decline and Fall of Their Empire. Krakow.
- Zejmal' E. V. 1983. Drevnie monety Tadžikistana. Dushanbe.
- Zuyev V. Yu., Ismagilov R. B. 1994. Ritual complexes with statues of horsemen in the Northwestern Ustyurt // Masson V. M. (ed.): 54—57.

РЕЗЮМЕ

Возникновение и развитие Парфянского государства имели во многих отношениях фундаментальные последствия для истории как Ирана, так и Средней Азии. С самого начала царство, созданное Аршаком I, сочетало в себе кочевые и оседлые элементы. В результате Парфия стала государством, которое, несмотря на факт его основания номадами, обладало развитым сельскохозяйственным и городским экономическим базисом. Важность кочевнического наследия в истории Аршакидов не признавалось в течение долгого времени. Однако новые открытия в Парфии, в долине Узбоя и на Устюрте позволяют значительно продвинуть изучение многих аспектов родства среднеазиатских кочевников с парфиянами. Аршакиды, пусть и номады по происхождению, а, быть может, именно поэтому, сумели создать удачную социально-экономическую систему. В этом отношении обращает на себя внимание значительное сходство в процессах развития держав Аршакидов и Кушан (см.: Массон 1986; 1987). Аршакиды продемонстрировали способность быстро и эффективно воспринять многие достижения оседлых культур.

Исторически юго-западные области Средней Азии оказались более тесно связанными с Иранским плато. Некоторые регионы, особенно Бактрия, Согдиана, Фергана и Хорезм были центрами высокоразвитой оседлой культуры с многочисленными городами и поселениями. Развитие других областей, включая равнины Закаспия, определялось влиянием кочевого и полукочевого населения степных и пустынных районов. На протяжении всей аршакидской эпохи отношения между Ираном и народами Средней Азии были очень дифференцированными, а их диапазон колебался от завоевания и политического господства до торговых и культурных связей.

О СТОЛИЧНЫХ ЦЕНТРАХ ДАВАНИ (ДРЕВНЕЙ ФЕРГАНЫ)

В китайских хрониках эпохи Хань имеются названия двух таких городов — Гуйшань и Эрши. Но конкретные указания для локализации их отсутствуют. Более определенные предположения высказаны о местоположении города Гуйшань. В “Ши цзы” — исторических записках истории Китая с древнейших времен до I в. до н. э., составленных Сыма Цянем, широко использованы отчеты Чжан Цяня — знаменитого путешественника и дипломата, по поручению императора Хань посетившего примерно в 125 г. до н. э. Давань и соседние с ним западные страны. В этой хронике наименование столицы Давани не указано, но в примечании выдающегося русского китаиста Н. Я. Бичурина со ссылкой на позднего комментатора приведено название столицы — город Гуйшань (Бичурин 1853; 1950: 149¹). В более поздней хронике “Цянь Ханьшу” сказано “Правление даваньского владетеля в городе Гуйшани” (Бичурин 1853; 1950: 186). В этой же хронике, когда речь идет о войне с Даванью, в качестве главного города страны называется Эрши, а командующий ханьским войском получил почетное наименование Эршыский (Бичурин 1853; 1950: 163).

Получается, что в Давани в один и тот же период было две столицы — Гуйшань и Эрши. Это положение позднее А. Н. Бернштам объяснил хронологической сменой — переносом столичных центров.

В литературе высказаны разные мнения о местоположении г. Гуйшань. Преобладают сопоставления с современным городом Ура-Тюбе, в 40 км от Ходжента (Hirth, Chavannes 1896: 529; Грум-Гржимайло 1926: 74). Недавно появилось соотнесение этого города с Кокандом (Боровакова 1989). Наиболее обосновано отождествление города Гуйшань с Касаном. По заключению В. В. Бартольда этот город был столицей во II—I вв. до н. э. и позднее и сохранил свое столичное положение до арабского завоевания (Бартольд 1900; 1963: 176; 1927; 1960: 219). Это заключение основано на сопоставлении независимых китайских (Chavannes 1903: 148) и арабских источников (Бартольд 1900: 176). Имеются эпиграфические данные о захвате Касана в начале IX в. полководцем ал Фадл ибн Сахл (Михайлова 1951: 5). Следовательно, Касан сохранял столичное положение на протяжении почти тысячелетия до возвышения Ахсыкета.

¹ Примечание 3 — “Китайцы в сие время столицу в Давани называли Гуйшань Ганму. 127 до Р. Х.”.

Отождествление города Гуйшаня с Касаном вслед за В. В. Бартольд-ом приняли С. П. Толстов и М. П. Грязнов в “Истории СССР” (1939).

В ходе тщательного обследования Ферганы в 1946—1947 гг. и открытия крупнейшего Мархаматского городища А. Н. Бернштам отождествляет его с другим столичным городом Ферганы — Эрши. И впервые высказывает мнение, что в докушанский период столицей Давани являлся город Эрши, а позднее, в кушанский период столицу перенесли на север Ферганы в Касан — город Гуйшань (Бернштам 1947: 117; 1948; 1952). В одной из работ он точно определяет дату переноса, связывая с утверждением кушанской династии, очевидно в I в. н. э. (Бернштам 1947а: 87). В ряде работ 1947—1952 гг. А. Н. Бернштам развивает положение о хронологической последовательности смены столичных центров Давани. Иное объяснение сосуществованию двух столиц высказано в моем “Отчете о работах Ферганского отряда ЛОИА АН СССР в 1986 г.” (Заднепровский 1986).

Поскольку ни Чжан Цань, ни информаторы о походе ханьских войск на Давань не сообщают о переносе столицы, остается одна возможность — предполагать сезонное перемещение. В тех же китайских хрониках мы находим сведения о том, что в соседнем Кангюйском государстве было две столицы — летняя и, очевидно, зимняя: “семь дней пути до летнего владельца местопребывания” (Бичурин 1853; 1950: 184). О двух сезонных столичных центрах у парфян сообщает Страбон (XI.13.1). Весьма вероятно, что в жарких странах Азии широко распространен был обычай использования двух сезонных столиц. Учитывая климатические условия Ферганы, можно полагать, что город Гуйшань (Касан) в северной Фергане служил местом пребывания правителя и правительства в летнее время и этим объясняются особенности топографии и небольшие его размеры, а во второй столице обитали в остальные сезоны.

75 лет тому назад появилось предположительное сопоставление столичного города Эрши с современным Ошом (Zach 1924: 128—129). Недавно была предпринята попытка обосновать эту локализацию ссылкой на расположение рядом с городом известной горы Тахти-Сулейман — Гуйшень-чень — город у высокочтимой горы (Боровкова 1989: 56).

Против этой локализации Л. А. Боровковой я выступил резко в рецензии на ее книгу (Заднепровский 1991: 156—157). Эта рецензия, к сожалению, осталась неизвестной в Оше и, в частности, ошским историкам, которые поддержали сопоставление Л. А. Боровковой (Смадияров 1998: 20—21; Малтаев 1998: 10). Еще одно отождествление античного города с Ошом предложил В. М. Массон по материалам Ак-Бууринского городища, расположенного южнее Оша.

Третье сопоставление Оша с Даваньским городом принадлежит мне. Тщательное обследование разрушенного городища Ооз-Дебе на

правом берегу р. Ак-Бууры позволило определить его местонахождение. Исследование Ооз-Дебе начал фрунзенский археолог О. Береналиев в 1973—1975 гг. Затем оборонительные стены на площади 20 га были целиком срыты и на этом участке заложен большой виноградник. Имеются веские доводы рассматривать это городище как наиболее вероятную кандидатуру на отождествление с Ошом Даваньского периода. Дело в том, что во всем Ош-Карасуйском оазисе найдено только одно городище такого большого размера.

Количество претендентов, как видим, увеличилось и окончательное решение зависит от результатов раскопочных работ 1999 г.²

Спорный вопрос о местонахождении Даваньского Оша остается пока открытым. Вместе с тем, в результате раскопок 1998 г. на Акбууринском городище установлено, что во всех частях обнаружены материалы VII—VIII вв. и это позволяет отнести его к доарабскому времени (Хамидов 1998). А точнее следует определить это городище как многослойный памятник (Заднепровский 1960: 152). Однако, раскопки на этом памятнике не завершены и окончательное решение о возникновении и начальном этапе истории городища — дело будущего.

- Бартольд В. В.* 1900; 1963. История культурной жизни Туркестана / Бартольд В. В. Собр. соч. 2. 1. — М.: Издательство восточной литературы. 1927; 1960. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / Бартольд В. В. Собр. соч. 1. — М.: Издательство восточной литературы.
- Бернштам А. Н.* 1947. Из истории Восточной Ферганы и Алая: Краткий отчет археологической экспедиции 1946 г. // ИКИРГФ АН СССР 6: 115—119. 1947а. Древняя Фергана // КСИИМК 21: 86—88. 1948. Араванские наскальные изображения и даваньская (ферганская) столица Эрши // СЭ 4: 155—161. 1952. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая / МИА СССР 26. М.; Л.
- Бичурин Н. Я.* 1853; 1950. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. 2.
- Боровкова Л. А.* 1989. Запад Центральной Азии во II в. до н. э. — VII в. н. э. Историко-географический обзор по древнекитайским источникам. — М.: Наука.
- Грум-Гржимайло Г. Е.* 1926. Западная Монголия и Урянхайский край. 2.
- Заднепровский Ю. А.* 1960. Археологические памятники южных районов Ошской области (середина I тыс. до н. э. — середина I тыс. н. э.). Фрунзе.

² Статья написана весной 1999 г., за несколько месяцев до смерти Ю. А. Заднепровского. К сожалению, автору не суждено было осуществить исследовательские планы полевого сезона 1999 г.

1986. Отчет о работах Ферганского отряда ЛОИА АН СССР в 1986 г. // Рукописный архив ИИМК РАН, ф. 35.
1991. (Рецензия): Л. А. Боровкова. Запад Центральной Азии во II в. до н. э. — VII в. н. э. Историко-географический обзор по древнекитайским источникам. Москва. 1989 // Восток. 3. — М.: Наука.
- Малтаев К. Ж.* 1998. Ошское поселение бронзового века: Факты и гипотезы // Все про Ош. 1.
- Михайлова А. И.* 1951. Новые эпиграфические данные для истории Средней Азии IX в. // ЭВ 5: 10—20.
- Мякинников В.* 1998. Найден античный Ош: (Мнение В. М. Массона) // Наша газета. Ош. 11.02.
- Смадияров С. А.* 1998. Ош в политической жизни государства Давань // Все про Ош. 1.
- Толстов С. П., Грязнов М. П.* 1939. История СССР. С древнейших времен до образования древнерусского государства. М.; Л. На правах рукописи.
- Хамидов М.* 1998. Найден доарабский Ош?: Новые открытия археологов проливают свет на неизвестные страницы нашей истории (Беседа с В. М. Массоном) // Эхо Оша. 29.10.
- Chavannes E.* 1903. Documents sur les Tou-Kine (Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции VI.
- Hirth F., Chavannes E.* 1896. Hirth F. Ueber fremde Einflüsse in chinesischen Kunst. München, Leipzig: Рецензия: Chavannes E. // Journal Asiatique 8.
- Zeich E.* 1924. Einige Verbesserungen zu de Groot "Die Hunnen der Vorchristlichen Zeit" // Asia Major. 1. 1. Leipzig.

ОБ АВЕСТИЙСКОМ “СЕМИРЕЧЬЕ”

О стране “Семиречья” (Harpa-Hindu) говорится в священной книге зороастрийцев Авесте, в той ее части, которая называется Видевдадом (Вендидадом), в первой главе (фаргарде) последнего (§ 18). “Семиречье” входит здесь в состав стран, созданных Ахура-Маздой. Описание каждой из этих стран построено по общей схеме: место (или поселение) и страна такая-то создана благим богом Ахура-Маздой, а злой дух Ангра-Манью сотворил там беды такие-то. Текст Видевдада составлен на авестийском языке, но сопровождается буквальным пехлевийским переводом, часто переходящим в комментарий.

О стране “Семиречья” сообщается следующее: “Как пятнадцатое лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, Семиречье, но многопугубный Ангра-Манью сотворил в качестве бича страны несвоевременные телесные нарушения и несвоевременную (или: неумеренную) жару”. В этом переводе я ориентировался на перевод Ф. Вольфа (Wolff 1960: 319), опиравшегося, как известно, на словарь Х. Бартоломе (Bartholomae 1904). Другие исследователи переводят этот отрывок примерно так же (например: Christensen 1943: 49, 51), иногда — с некоторыми вариантами. Особенно это касается последней части отрывка, где говорится о бедах страны. Опираясь на пехлевийское толкование, ее переводят: “ненормальные (или: несвоевременные) регулы и чрезмерную жару” (например: Darmesteter 1960: 15; Markwart 1938: 132).

Видевдад — одна из позднейших частей Авесты по времени своего оформления: составителям его уже известна греко-римская система мер; язык его испорчен и, если и находился еще в живом обращении, то, скорее всего, лишь в качестве культового языка в среде составителей этого текста.

По всем такого рода признакам создателями Видевдада справедливо считают магов Атропатены позднеаршакидского времени (Фрай 1972: 55, 149, 213; Бойс 1987: 116, 117; Бойс 1983: 1159). Вместе с тем с не меньшим основанием полагают, что материал, которым располагали составители Видевдада, в основном восходит к доахеменидскому времени, судя по почти полному отсутствию следов политических реалий более позднего времени (Дьяконов 1971: 141, 142; Бойс 1975: 276; Schwartz 1985: 666). В частности, материал интересующего нас списка стран датируют даже IX—VII вв. до н. э. (Gnoli 1987: 45). Были предприняты попытки выделить в списке разные хронологические слои, исходя из характера творений злого духа; интересующий нас параграф списка и сле-

дующий за ним (§ 18, 19) были признаны самыми поздними добавлениями мидийских магов (Christensen 1943: 60, 61). Именно слова, обозначающие ахримановы творения, часто оказываются “подложными” (spurious), среди них есть обратные “реконструкции” из среднеперсидских (Herzfeld 1947: 738, 745).

Смысл интересующего нас списка определялся учеными по-разному; в нем видели описание то путей расселения иранских народов, то хода распространения зороастрийской религии, то состава какого-либо иранского государства — особенно часто Аршакидского на том или ином этапе его истории и т. д. (обзор различных точек зрения см.: Gnoli 1980: 59-63; 1987: 45). Мне кажется, что во всех этих случаях современный исследователь невольно “вчитывает” в древний текст свои интересы и проблемы, менталитету древнего составителя текста совершенно чуждые.

Свою точку зрения по вопросу о смысле и истории данного списка я уже не раз высказывал (Пьянков 1996: 15, 19-22; 1995а: 29, 30, 35; 1995: 52, 53; 1990: 51, 52). Повторю ее вкратце.

В первоисточнике списка за основу принято очень древнее представление о материке (каршваре) Хванирата, омываемом двумя мировыми реками, Вахви-Датьей и Рангхой, по краям и еще восемнадцатью реками — между ними. В эти рамки и вставлено описание “лучших” стран и рек, созданных Ахура-Маздой. Чем славен материк Хванирата? Тем, что здесь было создано больше всего блага, а злым духом — больше всего вреда, здесь жили Каяниды и герои, здесь возникла “добрая вера маздаяснийская”, здесь родится спаситель Сошьянс (Бундахишн, XI, с. 40; Чунакова 1997: 276, 277). Поэтому для заполнения рамок был взят материал, во-первых, из священного предания о жизни и странствиях пророка Заратуштры, во-вторых, из героического эпоса о Каянидах. Таково происхождение первоисточника.

Из этого первоначального рассказа о материке Хванирата и были сделаны извлечения — одно составителями Видевдада в виде списка стран, который и является предметом нашего рассмотрения, другое еще позже составителями Бундахишна в виде списка рек (XX, с. 8—13; Чунакова 1997: 293—296). Из этого же первоисточника были взяты и сведения, кроме самых поздних, о творениях злого духа.

Но поскольку и странствия пророка, и основные события эпоса происходили в пределах одной этнической общности (центральноиранской), в границах “авестийского” мира, то состав списка должен более или менее соответствовать этой общности. Последняя вновь проявляется в Ариане античных источников; она характеризуется общностью языка (различные авестийские диалекты) и культуры, археологическим вы-

ражением которой являются комплексы “язовского” круга (Яз I—III), впервые фундаментально изученные В. М. Массоном (Массон 1959).

Вот здесь и встает вопрос об идентификации авестийского Семиречья. Дело в том, что авестийское *Naṛta-Hindu* точно соответствует ведийскому *Sapta-Sindhavas*, т. е. древнему названию индийского Пенджаба. Обычно считают, что и авестийское Семиречье означает ту же страну (так, например: Gnoli 1980: 52, 64; 1987: 46; Schwartz 1985: 640; Herzfeld: 343; Nyberg 1938: 323; Markwart 1938: 132, 133). Дело мало изменится, если считать, что этим древнейшим Семиречьем была область правых притоков Инда, таких, как Кабул, Гомаль и Курум (Gieger 1882: 89, 90). И представление об авестийском Семиречье как индийской стране появилось, по-видимому, очень рано. Его придерживались сами мидийские маги — составители Видевдада, судя по ахримановым творениям, которые они приписывали Семиречью: неумеренной жаре и несвоевременным регулам. Последнее, как полагают, является намеком на индийский обычай ранних браков (Darmesteter 1960: 15 n. 43). Правда, это представление вряд ли древнее упомянутых магов; напомним, что формулы бед Семиречья — одно из самых поздних добавлений в список стран. Но если авестийское Семиречье действительно находилось в Индии, то с таким заключением трудно будет согласовать изложенное выше толкование списка “лучших” стран.

Здесь необходимо обратиться к одному очень интересному свидетельству Бируни. Знаменитый средневековый ученый пишет, что как в Индии имеется “соединение пяти рек” (Пенджаб), так и к северу от нее, около Термеза, происходит “соединение семи рек”, но маги Согда “смешали оба эти случая, потому что они говорят, что сумма семи рек есть Синд, а его истоки — Баридиш” (Бируни, Индия, XXV, 130; Бируни 1963: 242). Речь идет о том, что зороастрийцы Согда (как и их далекие предшественники, маги Мидии — составители Видевдада) перенесли авестийское Семиречье с верховьев Амударьи в Индию. И хотя Бируни не учитывает, что в древности и индийский Пенджаб назывался Семиречьем (Markwart 1938: 95), все же его свидетельство нельзя не принять во внимание (Humbach 1973: 51, 52; Pawlinson 1872: 493, 494). Тем более, что зороастрийцы Согда, видимо, перенесли в Индию не только Семиречье, но и страну Баридиш. Возможно, что эта последняя — то же, что и древняя страна Паретака (“Речная страна”, от *paraíta-*, обзор этимологии см.: Gnoli 1980: 65 n. 45; ср. другую позднюю передачу того же названия: Паредун: Marquart 1905: 33) в верховьях Амударьи (Пьянков 1982: 43—47; Ртвеладзе 1981: 99, 100; обзор локализаций см.: Литвинский 1963: 270).

Итак, учитывая все изложенное, можно прийти к следующим выво-

дам. Авестийская страна Семиречье, она же Паретака, охватывала всю область истоков Амударьи выше Термеза (о самих “семи реках” см.: Bernard, Francfort 1978: 27—31; Markwart 1938: 52—54, 94). Эта страна являлась частью “авестийского” культурного мира доахеменидской эпохи, о чем свидетельствуют многочисленные памятники “язовской” культуры в долинах рек амударьинского бассейна как северной (Сарианиди, Кошеленко 1985: 187, 188), так и южной (Garden, Lyonnet 1978/1979: 111, 132—137, 145, 150—154) части страны. В связи с какими-то событиями из жизни пророка Заратуштры или древних героев — какими именно, сейчас трудно сказать — она была упомянута в древнейших частях Авесты и благодаря этому попала в список стран, созданных Ахура-Маздой.

По мере того, как поздняя зороастрийская традиция, хранимая магами, теряла живую связь со своими истоками, терялось и реальное представление о стране Семиречья. Она стала ассоциироваться с Индией. Такой смысловой переход, видимо, объясняется тем, что слово *hindu* к этому времени утратило свое первоначальное нарицательное значение “река” (Markwart 1938: 132) и стало восприниматься только как собственное название “Инд”. О завершении этого перехода свидетельствует пехлевийский комментарий к названию “Семиречье” (Darmesteter 1960: 14 п. 42), в котором потребовалось объяснить, почему страна называется “Семь Индов”. Ко всему прочему, искать Индию в числе “лучших” стран заставляла зороастрийцев исламского мира во времена Бируни новая ситуация, когда Индия стала одним из их надежных убежищ (Humbach 1973: 51, 52).

Бируни Абу-Рейхан-Мухаммед ибн-Ахмед. 1963. Избранные произведения. — Ташкент: Издательство АН УзССР.

Бойс М. 1987. Зороастрийцы. Верования и обычаи. — М.: Наука.

Дьяконов И. М. 1971. Восточный Иран до Кира // История Иранского государства и культуры: 122—154. — М.: Наука.

Литвинский Б. А. 1963. Борьба народов Средней Азии против греко-македонских захватчиков // История таджикского народа 1: 236—274. — М.: Наука.

Массон В. М. 1959. Древнеземледельческая культура Маргианы. — М.; Л.: Издательство АН СССР.

Пьянков И. В. 1982. Бактрия в античной традиции. — Душанбе: Дониш.

1990. Некоторые вопросы этнической предистории таджикского народа // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана 2: 50—62. — М.: Издательство АН СССР.

1995. Ариана по свидетельствам античных авторов // Восток 1: 39—55. — М.: Наука.

1995а. Некоторые вопросы этнической истории древней Средней Азии // Восток

- 6: 27—46. — М.: Наука.
1996. Зороастр в истории Средней Азии: проблема места и времени // ВДИ 3: 3—23. — М.: Наука.
- Ртвеладзе Э. В.* 1981. Ксениппа-Паретака // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье: 95—101. — М.: Наука.
- Сарианиди В. И., Кошеленко Г. А.* 1985. Северная Бактрия // Древнейшие государства Средней Азии и Кавказа: 187—192. — М.: Наука.
- Фрай Р.* 1972. Наследие Ирана. — М.: Наука.
- Чунакова О. М.* 1997. Зороастрийские тексты. — М.: Восточная литература РАН.
- Bartholomae Ch.* 1904. Altiranisches Worterbuch. Strassburg.
- Bernard P., Francfort H.-P.* 1978. Etudes de geographic historique sur la plaine de' AiKhanoum. Paris.
- Boyce M.* 1975. A History of Zoroastrianism 1. Leiden; Koln.
1983. Parthian Writings and Literature // The Cambridge History of Iran 3 (2): 1151—1165. Cambridge.
- Christensen A.* 1943. Le premier chapitre du Vendidad et l'histoire primitive des tribus iraniennes. Kobenhavn.
- Darmesteter J.* 1960. Le Zend-Avesta 2. Paris.
- Gardin J.-C., Lyonnet B.* 1978/1979. Prospection de la Bactriane Orientale // Mesopotamia 13/14: 99—154. Firenze.
- Geiger W.* 1882. Ostiranische Kultur im Alterthum. Eriangen. GNOLI, Gh. 1980. Zoroaster's time and homeland. Naples.
1987. Avestan geography // Encyclopaedia Iranica 3 (I): 44—47.
- Herzfeld E.E.* 1947. Zoroaster and his world. Princeton.
1968. The Persian Empire. Wiesbaden.
- Humbach H.* 1973. Al-Biruni und die Sieben Strome des Awesta // Bulletin of the Iranian Culture Foundation 1 (2): 47—52.
- Markwart J.* 1938. Wehrot und Arang. Leiden.
- Marquart J.* 1905. Untersuchungen zur Geschichte von Eran. Leipzig.
- Nyberg H. S.* 1938. Die Religionen des alten Irans. Leipzig.
- Rawlinson H.* 1872. Monograph on the Oxus // Journal of the Royal Geographical Society 42: 482—512.
- Schwartz M.* 1985. The old Eastern Iranian world view according to the Avesta. The religion of Achaemenian Iran // The Cambridge History of Iran 2: 640—697.
- Wolff F.* 1960. Avesta. Die heiligen Biicher der Parsen. Berlin.

СКУЛЬПТУРНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ЮЖНОАРАВИЙСКОГО ПОРТА КАНА

Археологические раскопки, которые проводились на городище Кана с 1985 г. сначала Советско-Йеменской, а затем Российско-Йеменской комплексной экспедицией, привели к открытию весьма многочисленного и разнообразного материала, характеризующего развитие его культуры в I—VI вв. н. э. Особый интерес к этому памятнику определяется тем, что Кана в древности являлась главным портом Хадрамаута, через который осуществлялись морские коммуникации между странами Средиземноморья и Индией, а также проходил трансаравийский путь благовоний (Седов 1989: 136—137; Виноградов 1993: 72; Piotrovskij, Sedov 1994: 212—216; Sedov 1998: 275—279). Как это ни странно, но раскопки дали совсем немного предметов, относящихся к области искусства. В этой связи особое значение приобретают находки трех образцов местного скульптурного искусства, в разное время обнаруженные в различных частях городища: обломок алтарика, украшенного рельефными изображениями голов диких козлов; каменная плита с рельефным изображением орла и каменная статуэтка сидящей женщины.

Обломок алебастрового жертвенного столика (рис. 1) был найден в 1987 г. в заполнении одного из строительных комплексов на участке I. Этот комплекс относится к позднему этапу функционирования Каны, то есть к V—VI вв. н. э. Длина обломка — 12,5 см, ширина — 11 см, высота — 8,5 см. Он относится к левой части столика, который представлял собой достаточно массивное изделие на профилированных ножках; одна из ножек сохранилась. На лицевой боковой грани столика сохранилось рельефное изображение четырех голов животных (высота рельефов — 1 см). Судя по многочисленным аналогиям, это изображения голов диких козлов-ибексов.

Фризы из повторяющихся голов ибексов на Юге Аравии были характернейшей деталью орнамента архитектурных деталей, а также и отдельных предметов (Cleveland 1965: 30; Doe 1971: 104). Вытянутые, сильно стилизованные мордочки, рельефно переданные глаза, крутые рога — все эти детали можно видеть на очень многих памятниках местного древнего искусства (Cleveland 1965: 30—35, pl. 53—59; Van Beek 1969: 292, fig. 116; Radt 1973: Taf. 13, 37, 38a, b). Однако, рога на обломке из Каны отсутствуют, что, возможно, следует объяснить тем, что жертвенный столик использовался достаточно долго, поверхность его не раз подравнивалась, и в результате этого рога ибексов были просто сре-

заны. Что касается южноаравийских жертвенных столов, то более крупные их образцы иногда имели сливы в виде голов быков, изображения которых также весьма типичны для местного искусства (Costa 1978: 31, № 43, Taf. XIII).

Каменная плита с изображением орла (рис. 2) была обнаружена также в 1987 г. и также в заполнении одного из строительных комплексов на участке I, относящемся к V—VI вв., таким образом по контексту находки плита вполне синхронна описанному выше предмету. Плита имеет размеры 20.5 x 18.5 см, толщина — около 5 см, высота рельефа — 0.7 см. Обратная ее сторона абсолютно необработана, так что имеются все основания считать, что она была облицовочной.

Орел на плите изображен фронтально с распушенными крыльями и расставленными ногами, голова повернута влево. Перья тулова и крыльев переданы очень схематично, суммарно, и вообще изображение выглядит достаточно грубым, но отнюдь не примитивным. Образ орла, как известно, был и остается весьма популярным в искусстве. Изображения этой царственной птицы можно найти на многих позднеантичных рельефах, предметах торевтики и т.д. Известны они и среди южноаравийских древностей.

В Государственном музее Саны имеется каменная плита и обломок плиты с фронтальным изображением орла, повернувшего голову вправо (Radt 1973: 11, Taf. 14a, b), по стилю они очень близки канской находке. Значительно более интересными в собрании этого музея представляются другие экспонаты, где орел передан совсем иначе, в более сложных композициях. Очень любопытна в этой связи плита с изображением орла, сражающегося со змеями (Costa 1978: 36, cat. 67, tabl. XVI). Орел здесь представлен фронтально, повернув голову влево и терзая таким образом одну из змей, вторая змея в это время кусает его в голову справа. А. Фахри, правда, считал, что здесь, возможно, изображены не две змеи, а всего одна, но зато двухголовая (Fakhry 1952: 128). Он же отмечал, что этот рельеф, по всей видимости, нельзя считать чисто декоративным, поскольку Орел (Наср) был на Юге Аравии божеством, а змеи также имели важное значение в местных доисламских религиозных представлениях (Fakhry 1952: 129). П. М. Коста также полагает, что изображение на этой плите следует связывать с мифом о цикле жизни и смерти в аспекте их вечной борьбы (Costa 1978: 36).

Этот автор считает, что орел изображен еще на одной плите из музея Саны. Крупная птица здесь изображена фронтально, голова повернута вправо, но что особенно любопытно — каждая ее нога опирается на головы козлов-ибексов, а фон изображения состоит из стилизованных пальмовых листьев, которые другим исследователям дают, по мнению

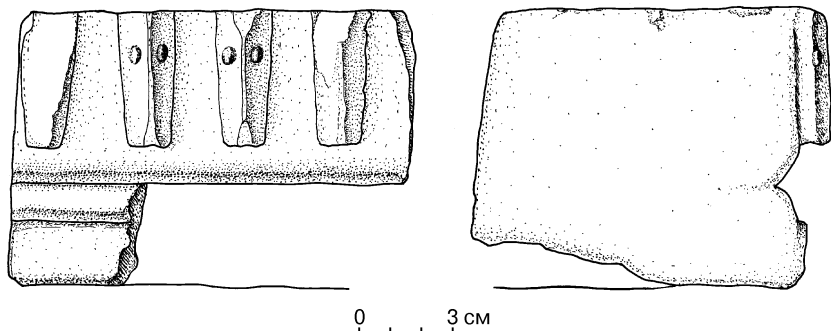
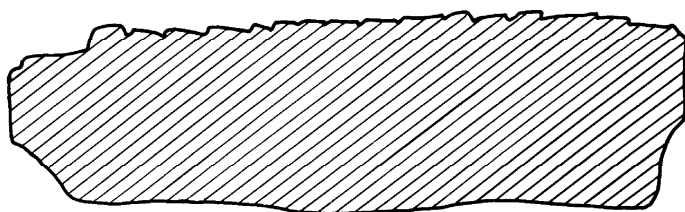


Рис. 1. Обломок алебастрового жертвенного столика.

П. М. Косты, ошибочное впечатление, что птица представляет собой павлина (Costa 1978: 42, cat. 76, tabl. XXII). Не удивительно, что и это изображение признается связанным с мифологией, поскольку орел в южноаравийской религии, как уже говорилось, имел связь с солнцем, а ибексы — с луной (Costa 1978: 42). Рассуждения П. М. Косты чрезвычайно интересны, но в отношении этого рельефа, все-таки приходится согласиться с теми исследователями, которые предпочитали видеть в представленной здесь птице не орла, а павлина. Дело в том, что у нее нет характерного орлиного изгиба клюва, а сзади, всего скорей, изображены не “стилизированные пальмовые листья”, а обыкновенный павлиний хвост (Radt 1973: 12, Taf. 43a, b).

Женская статуэтка из твердого известняка (рис. 3) была обнаружена под полом помещений III—IV крупного строительного комплекса, исследованного на участке V в 1988 г. (Виноградов 1993: 73). Этот комплекс относится к V—VI вв., то есть стратиграфически данная находка является наиболее ранней по сравнению с описанными выше, поскольку залегает в слое III—IV вв. Не исключено, что ее можно относить к еще более раннему времени, — у статуэтки отбита голова, руки, часть левой ноги, и вообще она отличается некоторой окатанностью, то есть могла находиться в использовании достаточно долго. Высота скульптурки — 8 см.

Статуэтка изображает тучную сидящую женщину, длинная одежда которой не скрывает невысокую грудь, складки жира на животе, широкие бедра и т. д. Складки одежды при этом абсолютно не проработаны, одежда как бы просто прилипла к телу. На шее женщины можно рассмотреть остатки ожерелья. Скульптурные изображения тучных дам достаточно характерны для доисламского искусства Юга Аравии, но при



0 3 см

Рис. 2. Облицовочная каменная плитка с изображением орла.

этом они отличаются некоторой “кубовидностью”, схематичностью очертаний (Cleveland 1965: 13, pl. 28, 29; Costa 1978: 29—30, cat. 31, tabl.

IV; Radt 1973: 13, Taf. 21). Находка из Каны выделяется безусловной реалистичностью изображения и ведет нас в круг совсем других образов, связанных не только с местной, но и с античной изобразительной традицией.

Её следует сопоставлять с одной из самых знаменитых скульптурных находок, обнаруженных на Юге Аравии, которая вошла в литературу под названием *Lady Bar'at*. Эта бронзовая статуя сидящей женщины была открыта при раскопках столицы Катабана, города Тимны, в руинах дома, которые датируются приблизительно концом I в. до н. э. На её постаменте имеется надпись с посвящением богине Зат-Химьям от некой женщины, имя которой и дало название статуе (Segal 1955: 214; pl. 61, fig. 16, 17). Опубликовавшая эту находку Б. Сегал писала, что *Lady Bar'at* изображает, так сказать, южноаравийскую матрону — главу местного клана (Segal 1955: 214).

Против такого понимания выступила Ж. Пирен, которая считала, что *Lady Bar'at* — это не фигура жрицы-дедикантки, а изображение самой богини Зат-Химьям (Pirenne 1960: 341, 343; 1962: 257—260; 1965: 126—127). Французская исследовательница сопоставила эту находку, прежде всего, с александрийскими изображениями богини Исиды (Pirenne 1960: 341—343; 1965: 126—127). В этой связи, правда, следует подчеркнуть, что антропоморфные изображения южноаравийских богов до сих пор отчетливо не известны (Will 1998: 387, Kat. Nr. 458), по этой причине в статуе, скорей, следует видеть типизированный портрет местной знатной женщины.

Продолжая сопоставления с александрийскими образцами, С.Я. Берзина предложила весьма любопытную концепцию. По ее мнению, интересующая нас статуя восходит к изображениям Арсиной III, матери Птолемея V, обожествленной вскоре после смерти в 205 г. до н. э. (Bersina 1988: 105). Она была уподоблена Исиде, результатом чего стало появление изображений Арсиной-Исиды, в том числе и статуй. Одна из таких египетских статуй, возможно, попала на Юг Аравии в Катабан около 200 г. до н. э., став прототипом *Lady Bar'at*. Сама же эта статуя, по мнению С. Я. Берзиной, датируется не позднее I в. до н. э. и изображает местную знатную даму (Bersina 1988: 106). Гипотеза Ж. Пирен о том, что скульптура изображает не смертную женщину, а богиню, у этой исследовательницы, как видим, тоже не нашла поддержки.

Е. Виль, один из крупнейших специалистов в области эллинистического и римского искусства на Востоке, указывал на связь *Lady Bar'at* не с александрийской, а, прежде всего, с сирийской изобразительной традицией (Will 1995: 833—842; 1998: 282). Как видим, в отношении этой статуи разгорелась настоящая дискуссия и высказано немало различных

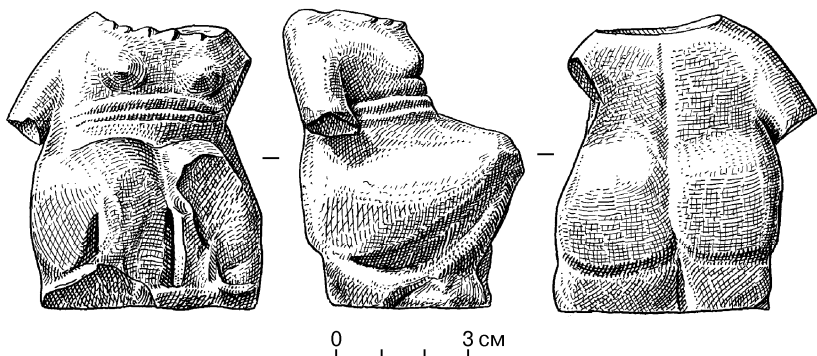


Рис 3. Каменная статуэтка сидящей женщины.

точек зрения. В настоящей работе вряд ли имеет смысл вдаваться во все их подробности и выяснять, кто из уважаемых исследователей больше приблизился к истине. Главное заключается в том, что находка из Каны, также как и *Lady Bar'at*, всего скорее, копировали в миниатюре какую-то знаменитую статую, при этом не просто по общему замыслу, но и в деталях — положение рук, ног, наличие ожерелья на шее и пр. При безусловном сходстве двух статуй, в них имеются и различия. Наиболее существенным из них, разумеется, не следует считать различие в размерах; на нашей находке абсолютно не проработаны складки одежды, что чуждо эллинистической традиции и очень характерно для южноаравийской. Складывается впечатление, что каменная скульптура на Юге Аравии была тесно связана с местной традицией, а бронзовая, напротив, больше следовала античным образцам (Will 1998: 282).

В заключение хотелось бы обратить внимание, что все охарактеризованные скульптурные находки, обнаруженные при раскопках Каны, находят вполне убедительные аналогии в южноаравийских материалах, что, казалось бы, вполне естественно и закономерно. Однако здесь имеется один нюанс, заключающийся в том, что культура этого порта на берегу Индийского океана, как показывают многолетние раскопки, весьма своеобразна. И своеобразие это заключается в том, что она носит ярко выраженный смешанный характер, отличаясь от самобытной материальной культуры внутренних районов древнего Йемена. Местные детали здесь проявляются притушенном виде; любопытно, что даже керамика южноаравийских типов представлена на памятнике в весьма небольшом количестве (Виноградов 1993: 74—75). В памятниках искусства все выглядит иначе, — здесь мы не видим ни римских бронз, ни рельефов, вы-

полненных в эллинистической традиции, ни даже терракотовых статуэток. Все эти особенности, разумеется, требуют дальнейшего специального изучения.

- Виноградов Ю. А.* 1993. Новые данные о южноаравийском порте Кана (I—VI вв. н. э.) // *АВ* 2: 72—79.
- Седов А. В.* 1989. Археологические исследования в вадии Хадрамаут // *ВДИ* 2: 135—142.
- Bersina S. Ya.* 1988. In the Ways of Sarapis, Isis and Harpokrates // *Ancient and Medieval Monuments of Civilization of Southern Arabia*: 92—112. Moscow.
- Cleveland R. L.* 1965. An Ancient South Arabian Necropolis / *Publications of the American Foundation for the Study of Man* IV.
- Costa P. M.* 1978. The pre-islamic antiquities at the Yemen National Museum. Roma.
- Doe B.* 1971. Southern Arabia. — London: Thames and Hudson.
- Fakhry A.* 1952. An Archaeological Journey to Yemen (March-May, 1947). I. Cairo.
- Piotrovskij M. B., Sedov A. V.* 1994. Field-Studies in Southern Arabia // *Ancient Civilizations* I, 2: 202—219
- Pirenne J.* 1960. Notes d'archéologie sud-arabe. I // *Syria* XXXVII: 326—347.
1962. Notes d'archéologie sud-arabe. III // *Syria* XXXIX: 257—262.
1965. Notes d'archéologie sud-arabe. IV // *Syria* XLII: 109—136.
- Radt W.* 1973. Katalog der Staatlichen Antikensammlung von Sana und anderer Antiken im Jemen. Berlin.
- Segall B.* 1955. Sculpture from Arabia Felix. The Hellenistic Period // *American Journal of Archaeology* 59 (3): 207—214.
- Sedov A. V.* 1998. Der Hafen von Qâni' — das Tor zum Jemen in frühnachchristlicher Zeit // *Jemen. Kunst und Archäologie im Land der Königin von Saba'*: 275—279. — Wien: Kunsthistorisches Museum.
- Van Beek G. V.* 1969. Hajar Bin Humeid. Investigations of a Pre-Islamic Site in South Arabia. Baltimore, Maryland.
- Will E.* 1995. De la Syrie au Yémen: problèmes de relations dans le domaine de l'art // *Will E. De l'Euphrate au Rhin. Aspects de l'hellénisation et de la romanisation du Proche-Orient*: 833—842. Beyrouth.
1998. Die Kunst Südarabiens unter dem Einfluss Griechenlands und Roms // *Jemen. Kunst und Archäologie im Land der Königin von Saba'*: 281—283. — Wien: Kunsthistorisches Museum.

КАВАД ИЛИ КАВУС? ДРАХМЫ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ НАСЛЕДНИКА САСАНИДСКОГО ТРОНА

При атрибуции ряда серебряных монет из частного собрания в Санкт-Петербурге мое внимание привлекли три сасанидские драхмы, датируемые предположительно временем Кавада I (489—497, 499—531), но имеющие существенные отступления от традиционной иконографии этого шаханшаха и сопутствующей символики. Появились сомнения и относительно чтения имени “монетного синьора” на лицевой стороне монет. Отклонения от “нормы” оказались настолько серьезными, что предварительное определение пришлось поставить под вопрос и обратиться к информации письменных (нарративных) источников, повествующих о времени Кавада I, его взаимоотношениях с эфталитами, о маздакитском движении. Из тьмы забвения стало возникать имя старшего сына шаханшаха, Кавуса, симпатизировавшего маздакитам и за это отрешенного отцом от престолонаследия в пользу младшего сына (и брата Кавуса) — Хосрова Ануширвана или Хосрова I.

Отголоски этой истории, как кажется, нашли отражение и в денежной эмиссии того времени.

Логика доказательства требует начать с описания трех необычных монет, которые мы обозначили как драхмы А, В и С.

Драхма А (рис. 1, *1a*, *1б*). Хорошей сохранности, вес 3.38 г, диаметр — 28 мм, соотношение осей — 11/12 час.

Л. ст.: В одинарном круге “елочкой” и штрихами — бюст правителя, голова повернута вправо. Изображение лишено стилизации, характерной для иконографии сасанидских эмиссий, оно передает черты пожилого человека с продолговатым черепом, крючковатым носом и окладистой бородой; полностью отсутствует традиционная прическа за головой правителя. Под ухом — серьга в виде двух точек. Шейное ожерелье обозначено изогнутой точечной линией, брошь — четырьмя точками, крестообразно. От каждого плеча к середине груди спускаются по две ленты, переданные точечными линиями. За лентами справа и слева — по две точки, обозначающие наплечные украшения. Над плечами вместо традиционных бантов — нечто, напоминающее растительный орнамент. Если левую фигуру (над правым плечом) можно трактовать как вариант банта, то правая настолько отошла от своего прообраза, что скорее похожа на растение или цветок (рис. 1, *1a*). Корона состоит из диадемы — плоской шапочки с округлым возвышением посередине, на



Рис. 1. Драхма Кавуса (А): 1а — лицевая сторона, 1б — оборотная сторона; драхма Кавуса (В): 2а — лицевая сторона, 2б — оборотная сторона.

котором на штанге с чашечкой крепится шар, а справа и слева от штанги — крылья короны. Шар и крылья выполнены в технике штриха.

Астральная символика включает: а) звездочку перед лицом правителя, на уровне глаз; б) астральную пару (!) за диадемой; в) астральную пару за шеей; г) полумесяц у бороды; д) по одной астральной паре на внешнем поле в положениях 3 час., 6 час., 9 час. и 12 час.

Легенды справа — *kwsw 'p(swn)* “Кавус приум(ножающий)”¹. Первую можно прочесть иначе — *kw'u*, и тогда оценочный эпитет следует отнести к Каваду. Однако, на известных нам драхмах этого шаханшаха усеченная форма его имени не встречается.

¹ О значениях *abzwn* и его производных см: Bailey 1981: 156—158.

Об. ст. драхмы А типологически идентична реверсам большинства серебряных монет Кавада I: практически совпадают изображения внутри круга — форма аташдана на трехступенчатом основании и вытянутые фигуры жрецов в виде вертикально поставленных жердей. Вместе с тем, головные уборы жрецов — островерхие кулахи; на драхмах Кавада у жрецов шарообразные головные уборы. За кругом по внешнему полю симметрично (в положениях 3, 6, 9 и 12 час.) расставлены астральные пары, но скобочка (дужка) полумесяца во всех четырех позициях обращена вогнутой стороной вовнутрь (к центру монеты). В известных нам серийных выпусках Кавада I астральная символика на кромке *об. ст.* отсутствует вовсе.

Дата чеканки *čhlsy* “34” (год царствования Кавада I) соответствует 522 г. н. э. Неизвестный монетный двор NB (?) указывает на его северную локализацию.

Драхмы В (рис. 1, 2а, 2б) и **С**. Обе — хорошей сохранности.

В: вес — 3,25 г, диаметр — 26 мм, соотношение осей — 1/2 час.

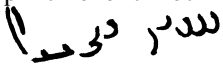
С: вес — 2,77 г (обрезана), диаметр — 24 мм, соотношение осей — 11 час.

При различии метрологических характеристик не подлежит сомнению, что обе монеты биты одной парой штемпелей. Типологически они повторяют драхму А, только В и С имеют на *л. ст.* дополнительную, сплошную окружность, отделяющую рубчатый круг от внутреннего изображения. Растительный орнамент (?) перед лицом правителя здесь увеличен, он занимает большую часть пространства и напоминает скорее рвущиеся вверх языки пламени, нежели листья. Элементы украшений, астральная символика и легенды с именем правителя — те же, что и на *л. ст.* драхмы А.

Заметные различия *об. ст.* по сравнению с драхмой А:

а) наличие дополнительных изогнутых линий в нижней части изображения, как бы соединяющие в одно целое алтарь и стоящих рядом священнослужителей (жрецов);

б) наличие в верхней оконечности пламени (справа и слева) дополнитель-

ной легенды  *yzdyn(w)yl'č* “Йазден-Вираз” [букв. “восстанавливающий (возрождающий, охраняющий) божественное”]².

Год чеканки драхм В и С и монетный двор — те же, что и на драхме А, как видно из соответствующих легенд.

² О семантике второй части сложного имени см.: Bartholomae 1904: Col. 1454; Nyberg 1974: 213. В пехлевийской литературе известно сочинение, названное по имени жреца (Арда-Вираз, «хранитель Арты»), посетившего в летаргическом сне потусторонний мир. На сасанидской печати засвидетельствовано имя *Varbz-bandag* (досл. «вассал/слуга Вараз»; Gignoux 1986: no. 1005).

По стилистике исполнения об. ст. все три драхмы принадлежат времени Кавада I. Отчетливая датировка и аналогии с поздними эмиссиями Кавада еще более усиливают первое впечатление. Но легенда “Кавус” на л. ст. связывает эмиссию с именем старшего сына шаханшаха. Ко времени чеканки монеты (522 г.) Кавус в течение ряда лет был наместником прикаспийской провинции Падешхваргар (Табаристан).

Кавад доверил ему эту горную область после расправы над прежним наместником из аристократического рода Гушнаспшах (Гушнаспад?)³. Изображение пожилого “монетного синьора” на драхме смущать не должно: Каваду в те годы было уже за семьдесят, старшему сыну — около пятидесяти лет.

Нестандартность зороастрийской символики на л. ст. монет можно объяснить отступлением от традиции, вызванным маздакитскими симпатиями царевича. По утверждению византийского историка Феофана, Кавус был воспитан в «манихейской» (т. е. в маздакитской) вере (Christensen 1936: 349). Это вполне вероятно, если учесть, что в первой половине царствования Кавад вынужден был пойти на союз с маздакитами ради усмирения высшей знати. Мусульманские историки акцентируют внимание на социальной программе маздакитского движения (идее имущественного равенства) и практически ничего не сообщают об учении Маздака. Из отдельных намеков можно заключить, что он проповедовал дуализм и во многом расходился с учением Заратуштры (Biruni 1879: 192), а также выступал в качестве реформатора и создателя универсальной религии (Сейасат-наме 1346/1967: 239—240). Разоблачение манипуляций Маздака со священным огнем, который говорил человеческим голосом, вызывает ассоциации с сотворением чуда, имевшего прецедент в пророческой практике: к чуду вешего огня прибегнул пророк Заратуштра, когда пытался обратить в свою веру царя Виштаспу (Molé 1961: 22—23). В данном случае Маздак сознательно следовал известной традиции. В связи с этим, не является ли “растительный орнамент” перед лицом правителя символом вешего огня, излагающего Кавусу волю Ахурамазды? (рис. 1, 2а).

В 519 г. встал вопрос о наследнике сасанидского трона. К тому времени шаханшах Кавад с помощью эфталитского войска упрочил свое положение в стране и стал искать поддержки у средней знати и зороастрийского жречества. При выборе наследника он отдал предпочтение младшему сыну, Хосрову — непримиримому врагу маздакитов. В своем

³ Christensen 1936: 348; Машкур 1367/1988: 706. В сасанидской эпитафике имя Гушнаспда более распространено (Gignoux 1986: no. 413).

решении Кавад пытался заручиться поддержкой императора Юстина (Christensen 1936: 350; Машкур 1367/1988: 707). Кавус оставался в Падишхваргаре наместником вплоть до смерти Кавада. К чеканке драхм от своего имени, хотя и по эре царствующего шаханшаха, на монетном дворе NB? (очевидно, провинциальный монетный двор) его подвигла несправедливость отца. При Каваде этот монетный двор функционировал с большими перебоями. Парук отмечает непрерывную эмиссию драхм Кавада здесь в 34—41 гг. его правления (то есть с 522 по 529 гг. включительно; Raguck 1944: 114, no 126, pl. VIII). Гебль с уверенностью называет в этой связи только 35 и 38 гг. (523 и 526 гг.; Göbl 1954: taf. 9). Иллюстративным материалом обе информации не подкрепляются. Не ясно также, попадались ли известным нумизматам монеты Кавуса, которые легко можно принять за периферийные (“варварские”) эмиссии Кавада. В богатой коллекции драхм Кавада из собрания Государственного Эрмитажа их нет. Вполне возможно, что Кавус и ограничился только двумя выпусками: первый, пробный, представлен монетой А, второй, “основной” — монетами В и С. На драхмах второго выпуска четче прописана маздакитская символика, добавлена на об. ст. легенда, очевидно, фиксирующая эпитет Маздака — “Восстанавливающий божественное”.

В конце 528 г. или начале 529 г. маздакитское движение было разгромлено. Расправа над еретиками была спровоцирована их попыткой посадить на трон своего ставленника Кавуса. Хосров упредил события, навязав противникам религиозный спор. На его стороне были мобеда и христианские епископы. После словесного поражения маздакиты подверглись избиению Nöldeke 1879: 465; Christensen 1936: 354—355). После смерти Кавада в 531 г. Кавус сделал безуспешную попытку оспорить право младшего брата на трон. Спустя некоторое время по приказу Хосрова опасный претендент был убит (Christensen 1936: 356—357; Машкур 1367/1988: 852).

Четыре десятилетия правления шаханшаха Кавада I, отмеченные религиозными и социальными потрясениями, жесткой внутривосточной борьбой, дошли до нас в изложении его современников и более поздних авторов XI—XII вв. Нумизматический материал служит ценным дополнением к сведениям историков и очевидцев. Помимо необычных драхм Кавуса существует целая серия медных монет Кавада с двойным изображением (на лицевой и оборотной сторонах). Атрибуцией личности на об. ст. этих монет и обстоятельствами эмиссии исследователи занимаются уже полтора века. Последняя интерпретация, связывающая их чеканку с господством маздакизма в стране (Mochiri 1998: 52—54), представляется наиболее вероятной.

- Bailey H. W.* 1981. *Bailey Opera minora* // Ed. by M. Nawabi. *Articles on Iranian Studies*. 1. Shiraz.
- Bartholomae Sh.* 1904. *Altiranisches Wörterbuch*. Strassburg.
- Biruni.* 1879. *The Chronology of Ancient Nations. An English Version of the Arabic Text of the Athâr ul-Bâkiya of Albîrûnî*. Translated and Edited by E. Sachan. London.
- Christensen A.* 1936. *L'Iran sous les Sassanides*. Copenhagen.
- Gignoux Ph.* 1986. *Noms propres sassanides en Moyen-Perse épigraphique* // *Iranisches Personennamenbuch II. Mitteliraniache Personennamen*. 2. Wien.
- Göbl R.* 1954. *Aufbau der Münzprägung* // *Altheim Y., Stiehl R. Ein Asiatischer Staat*: 51—128, taf. 9, Wiesbaden.
- Маукур М. Д.* 1367/1988. Та'рӯх-е сейâсӯ-йе сâсânîйân, та'лиф-е доктор мохаммад-джавад-е машкур: бахш-е аввал — 705—708, бахш-е доввом — 652—854. Техрân.
- Molé M.* 1961. *Le problime des sectes zoroastriennes dans les livres pehlevis* // *Oriens*. 13—14: 1—28. Leiden.
- Mochiri M. I.* 1998. *Les monnaies de Kavбd I a double effigie* // *Proceedings of the Third European conference of Iranian Studies*. Part 1: 45—54, pl. 3—7. Wiesbaden.
- Nöldeke Th.* 1879. *Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, aus der arabischen Chronik des Tabari übersetzt und mit ausführliche Erläuterungen und Ergänzungen versehen*. Leiden.
- Nyberg H. S.* 1974. *A Manual of Pahlavi*. II. Wiesbaden.
- Paruck F. D. J.* 1944. *Mint-marks on Sasanian and Arab-Sasanian Coins* // *JNSI* 6: 79—151, pl. IV—IX. Bombay.
- Сейâсат-нâме, та'лиф-е хвâдже незâм ал-молк. 1346/1967. Техрân.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР В РЕГИОНЕ РАССЕЛЕНИЯ ДРЕВНИХ ТЮРОК. VI—X вв.¹

С VI века на территории Южной Сибири появляются тюрки-туго — создатели единой тюркской державы (545—745 гг.). Разгромив эфталитов и северо-китайские царства, объединив Степь и Согдиану, они сумели достичь как политического, так и экономического могущества. Границы нового государства степняков в конце VI века сомкнулись на западе с Византией, на юге с Персией, на Востоке с Китаем. Тюркский каганат занимал самостоятельную позицию в диалоге между Западом и Востоком, являлся интегрирующей силой в степях Евразии. Коллективы, находившиеся на перекрестке активных культурных трансляций, постоянно получали стимул дальнейшего саморазвития (Савинов 1994: 5). У тюрков это нашло отражение в развитии собственной культуры, которая характеризуется распространением общих черт на довольно широких пространствах у различных этнических групп тюркской языковой семьи. Наиболее наглядно это проявилось в остатках материальной культуры, свидетельства которых зафиксированы при исследовании погребальных памятников древних тюрков в Саяно-Алтайском нагорье.

С середины VI в. на территории евразийских степей вместе с алтайскими тюрками распространился характерный для них погребальный ритуал — захоронение человека с конем (рис. 1) с последующим сооружением поминальной ограды (рис. 2), а порой и с установлением каменного изваяния. Древние тюркские скульпторы пытались запечатлеть облик современника. Чаще всего мы видим воина, изображенного стоящим с сосудом в руке. Четко фиксируются одежда, головной убор, серьги, пояс с тщательной прорезью бляшек и подвесных деталей, иногда меч или кинжал.

В результате проведенного типологического анализа набора вещей из погребений человека с конем, на Саяно-Алтайском нагорье в VI—X вв. удалось установить общие закономерности в развитии форм вещей, выявить их индивидуальные особенности в периоды их бытования. Определелись и районы локализации отдельных типов. Интересно отметить, что среди многообразия категорий погребального инвентаря, дающих представление об облике материальной культуры тюрков-туго в целом, некоторые категории вещей наиболее ярко отражают ее развитие во времени. К таким категориям следует отнести наборный пояс, серьги, тесла, зеркала, накладки на луки, удила, стремена, подпружные пряжки,

¹ Работа выполнена при поддержке Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации. Грант в области гуманитарных наук № 38.

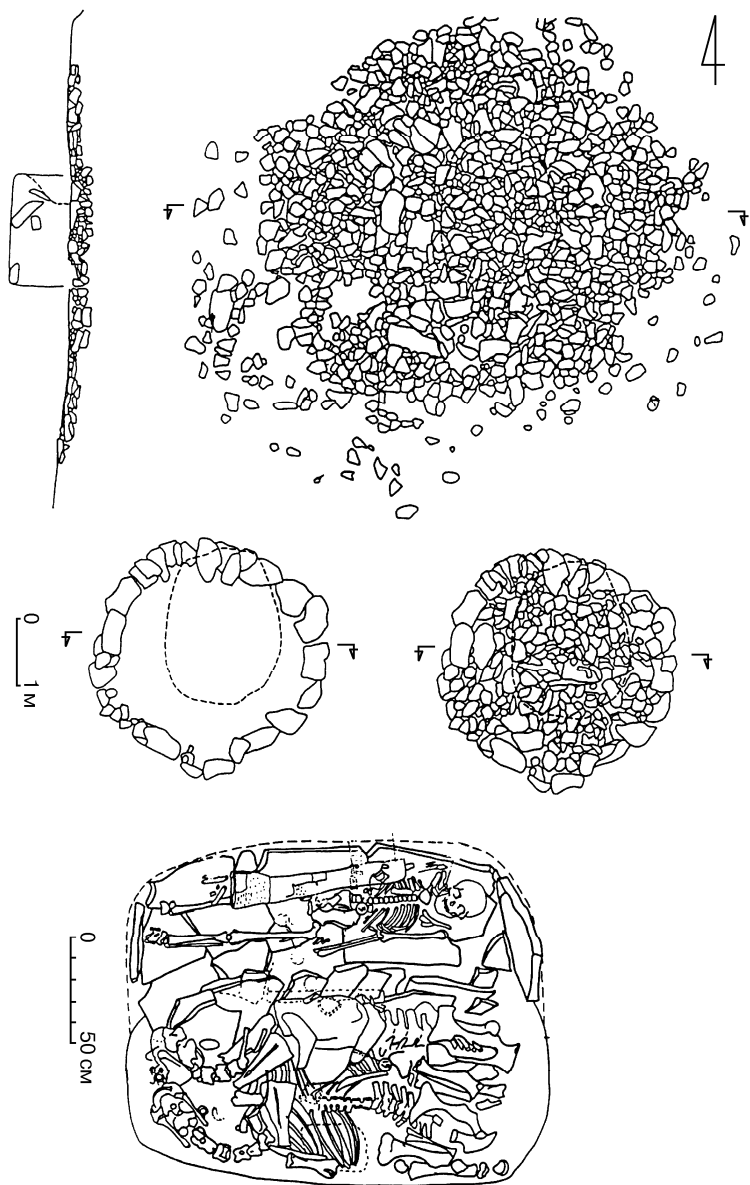
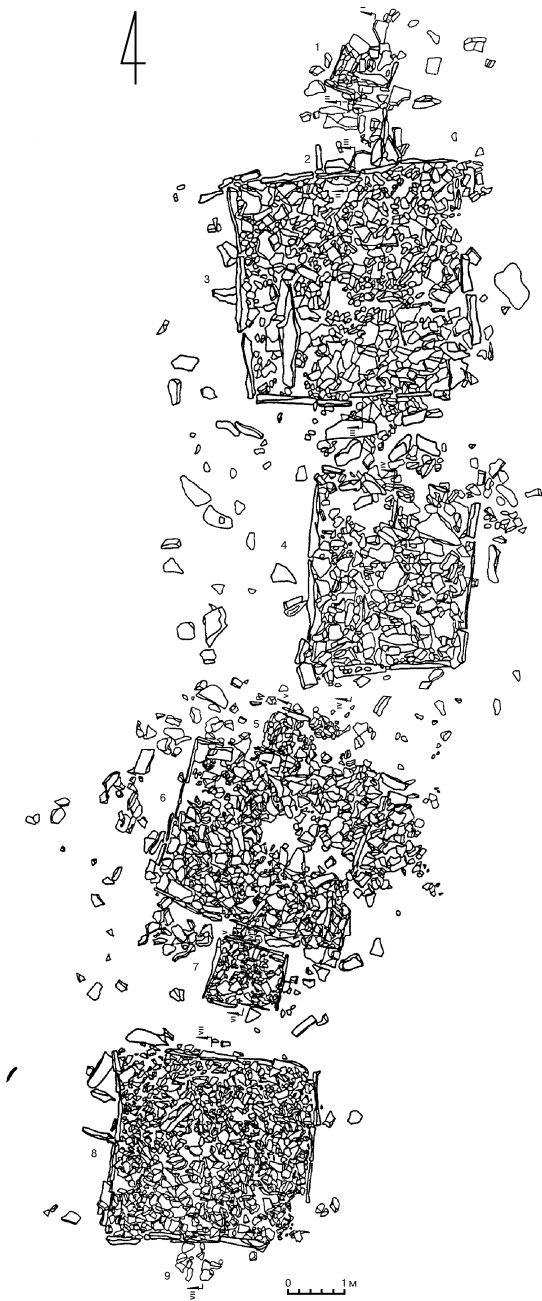


Рис. 1. Могильник Аймырлыг, погребение VIII-52.

4



седла. В процесс изучения были выявлены устойчивые комплексы некоторых категорий погребального инвентаря, бытовавшего в определенное время. Это позволило выделить хронологические этапы существования древнетюркской материальной культуры как самостоятельно, так и во взаимодействии с культурой других племен (рис. 3). Таких этапов три. Они соответствуют времени могущества государственных объединений, известных по письменным источникам: древнетюркский, уйгурский, кыргызский (древнехакасский).

Древнетюркский период (VI — первая половина VIII вв.). Как известно в 552 г. тюрки-тугу разбили войско жуань-жуаней, в подчинении которых находилось население Центральной Азии. Долина Орхона становится местом основных кочевий “голубых тюрок”, центром нового государства Центральной Азии, которое заняло огромную территорию от Большого Хингана до Аму-Дарьи (Гумилев 1957). При завоевании таких обширных земель тюрки-тугу не сразу начали насаждать свои обычаи и верования. Этот процесс шел постепенно. Лишь с установления Второго тюркского каганата, укрепившись на территории Южной Сибири и Центральной Азии алтайские тюрки более интенсивно стали осваивать близлежащие территории. Это и проявилось в материальных остатках.

Раннему этапу древнетюркского периода (середина VI — начало VII вв.) соответствует известный в литературе “кудыргинский” тип памятников. Особенностью его является присутствие в погребениях человека с конем наборных ременных поясов с ажурными небольшими бляшками (рис. 3, 6, 7, 8) и удлиненными наконечниками. Согласно предложенной классификации, к ранним памятникам можно отнести лишь те погребения, в которых при умершем вместе с наборным поясом встречаются каплевидные серьги (рис. 3, 9). Относительно оружия “кудыргинского” этапа известно, что оно наследует форму хуннских и позднешурмакских традиций. Срединные накладки на лук имеют плавно срезанные углы с нарезками для склеивания (рис. 3, 13). В паре с ними встречаются удлиненные изогнутые концевые накладки (рис. 3, 14). Существование последних не следует ограничивать только этим этапом. В памятниках Тувы они встречаются в погребениях более позднего времени — VIII—IX вв. В этот же набор входят стрелы, которые представлены железными трехлопастными черешковыми наконечниками. Они имели треугольные и трапециевидные лопасти с отверстиями (рис. 3, 15, 16). Хранились такие стрелы опереньями вниз. По мнению ряда исследователей, находилось они в колчанах со срезанным верхом (Гаврилова 1965: 29). Однако, заметим, что сохранность

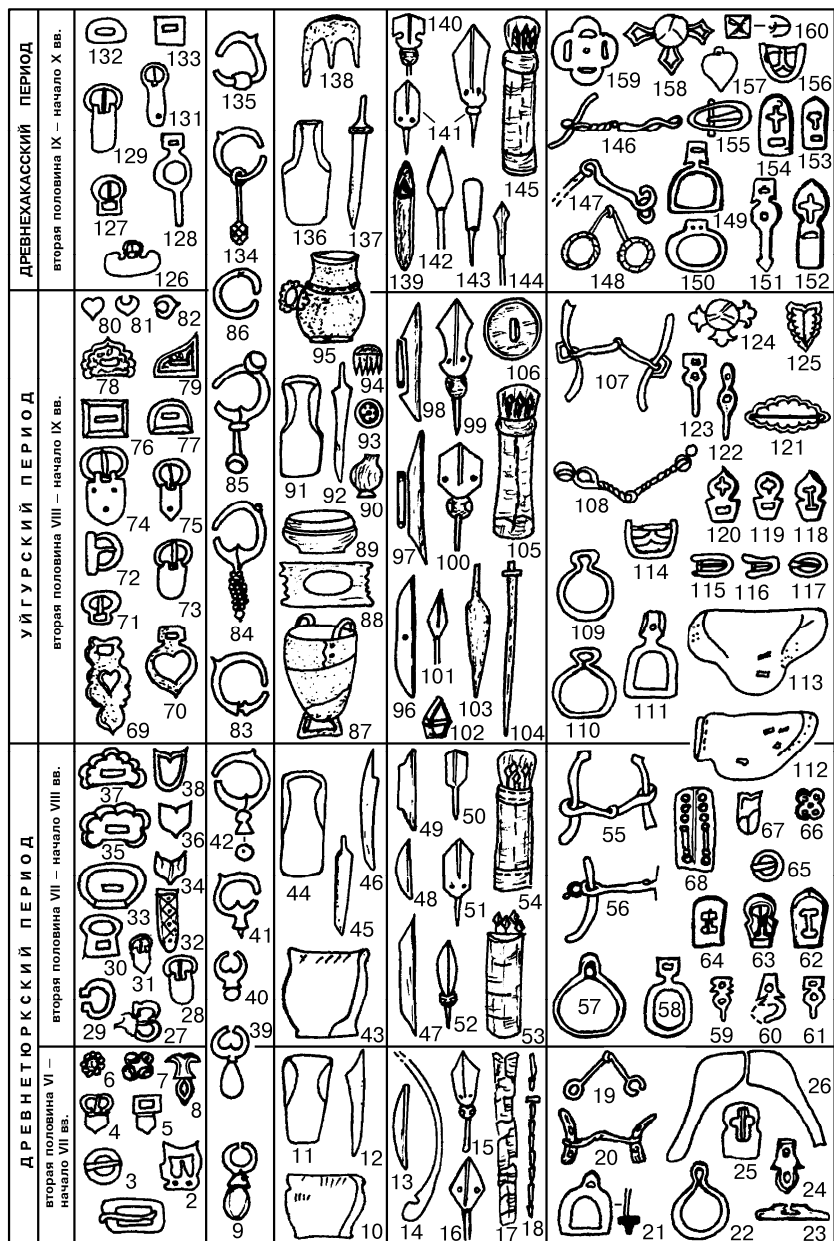


Рис. 3. Хронологическая таблица тюркских древностей из погребений человека с конем Саяно-Алтая в VI—X вв.: 1 — Кудыргэ 7; 2, 11, 28, 52, 53 — Кокэль 23; 3, 7, 12, 66 — Кудыргэ 13; 4, 6, 13, 14, 18, 26, 31, 32, 64 — Кудыргэ 9; 5, 15, 16, 23, 57 — Кудыргэ 11; 8, 9, 17 — Кудыргэ 5; 10, 24 — Кудыргэ 22; 19, 21 — Улуг-Хорум; 20 — Кудыргэ 1; 22, 25, 63 — Кудыргэ 15; 27, 37 — Каат-Ховак; 29, 77, 96, 133 — Аймырлыг I, V-5; 30, 127 — Катанда II-2; 33 — Туяхта 3; 34, 115, 116 — Курай III-2; 35, 59, 61 — Кокэль 22; 36, 134 — Курай II-4; 38 — Курай IV-1, п. 2; 39 — Кудыргэ 12; 40 — Кудыргэ 10; 41 — Катанда 11. 5 (I I 7); 42, 56, 125 — Узунтал VI-1; 43, 79 — Туяхта 4; 44, 88, 90 — Кокэль 2; 45, 95, 155 — Курай IV-1; 46, 50 — Аймырлыг I, XXI-3; 47, 55 — Бай-Даг 16; 48 — Кокэль 13; 49, 119 — Даг-Аразы II-3; 51, 54, 130, 131, 132 — Аймырлыг I, V-2; 58, 68 — Кудыргэ 8; 60 — Кокэль 47; 62 — Курай IV-2; 65, 72 — Монгун-Тайга 58-IV; 67 — Курай II-2; 69, 81 — Кара-Чоога 4; 70, 80, 107, 156 — Монгун-Тайга 57-XXXVI; 71 — Бар-Бургазы 111-9; 73 — Часкал 11-4; 74 — Улуг-Хову 54; 75 — М-ДА II, 13; 76, 118, 129, 139 — Даг-Аразы II-1; 78, 126, 136, 137 — Узунтал I-2; 82 — Курай II-3; 83, 148, 150 — Курай VI-1; 85 — Ак-Туруг 5; 86 — Узунтал V-1; 87, 104—106, 111, 114 — Даг-Аразы V-I; 89, 98—100, 122 — Даг-Аразы II-14; 91, 102, 140 — Аймырлыг I, VIII-52; 93, 124, 138, 151 — Даг-Аразы II-6; 94 — Узунтал VIII-1; 97 — Мугур-Саргол; 101, 110, 112, 113 — AI VIII-52; 103 — Улуг-Бюк; 107, 156 — Монгун-Тайга 57-XXI; 108 — Саглы-Бажи IV-25; 109 — Даг-Аразы III-10; 117 — Катанда 11-5; 120 — Туяхта 4; 121, 142—145 — Даг-Аразы II-8; 123 — Монгун-Тайга 58-X; 128 — Аргалыкты IX-1; 135 — Капчалы 11-2; 141 — Аймырлыг I V-3; 146 — Даг-Аразы II-2; 147 — Даг-Аразы III-14; 154, 149 — Курай IV-3; 152, 153 — Туяхта 9; 157 — Джаргалынты 2; 159 — Туяхта I; 160 — Гаштык.

фрагментов колчанов из погребений не позволяет соотнести кудыргинский экземпляр с каким-либо типом колчанов. К тому же, в этот период уже пользовались колчанами со “щитком” (карманом).

В набор конского снаряжения на этом этапе входят орнаментированные облицовки — накладки на луку седла. В комплексе с седлом присутствуют роговые подпружные пряжки с округлой головкой и сплошным вырезом в месте крепления язычка (рис. 3, 25). Кроме того, встречаются стремена трех типов, выделенные по форме петли. Петля бывает восьмеркообразная (рис. 3, 22). Такая форма известна на Саяно-Алтайском нагорье с давних пор. Встречается петля в виде пластины (рис. 3, 21). Удила представлены гладкими двухсоставными двукольчатыми экземплярами (рис. 3, 19), которые обычно были предназначены для роговых двудырчатых псалий и имели на концах звеньев кольца довольно, большого диаметра. С VII в. н. э. получают распространение роговые псалии с железной скобой и железные стержневые псалии с одной петлей.

Вышеописанные типы предметов погребального инвентаря встречаются в основном в памятниках Горного Алтая, правда, известно одно впускное погребение в Туве — Улуг-Хорум (Грач 1982). Вероятно, последнее является свидетельством начала продвижения алтайских племен на близлежащей территории.

Поздний этап древнетюркского периода (вторая половина VII — середина VIII вв.) — хронологически соответствует существованию Второго тюркского каганата, то есть до 745 г. В это время погребения человека с конем встречаются по всей его территории. В наборе погребального инвентаря некоторые формы предметов совершенствуясь, изменяются. В гарнитуре поясов VII—VIII вв. появляются накладные бляхи полуовальной формы со срезанными краями (рис. 3, 33). К поясу подвешиваются сумочки с предметами обихода и ножи. Последние сохраняют форму с односторонним уступом и плавным дугообразным переходом острия лезвия к черешку (рис. 3, 46). Одновременно появляются ножи с прямой спинкой и двусторонними уступами (рис. 3, 45). Известные по изображениям на каменных изваяниях коленчатые ножи “уйбатского” типа в древнетюркских погребениях с конем на Саяно-Алтайском нагорье не выявлены.

Среди украшений, по-прежнему встречаются каплевидные серьги, но уже с “мысыком” на основном кольце (рис. 3, 39). С начала VIII в. появляются серьги с подвеской-раструбом. Происходит смена в подвеске, но основное кольцо остается прежним (рис. 3, 42).

В число предметов вооружения входят колчаны со “щитком” (рис. 3, 54) и набором железных трехлопастных наконечников стрел. В наборе конского снаряжения появляются целые однолопастные седла, полки которых имеют вырез в нижней части (рис. 3, 112). Вместе с ними в подпруге встречаются роговые подпружные пряжки с округлой головкой и сплошным вырезом для крепления к ремню. Седлам и пряжкам этого типа соответствуют стремяна, близкие к кудыргинским — с восьмеркообразной петлей (рис. 3, 57). Встречаются стремяна и с пластинчатой петлей (рис. 3, 58), которые продолжают существовать позже.

В конскую упряжь входят также блоки для чумбура. В VII—VIII вв. они представлены короткими пряжками (рис. 3, 59—61). В VIII в. наконечник блока несколько удлиняется.

Интенсивное развитие формы всех отмеченных вещей происходит в VII—IX вв.

Уйгурский период (VIII—IX вв.). После гибели Второго Тюркского каганата территория Саяно-Алтайского нагорья была завоевана уйгурами (745—840 гг.). Оставшиеся на этой территории турки-тугю, вынужденные подчиниться завоевателям, все же сумели сохранить свои обычаи и традиционный способ захоронения человека с конем. На наш

взгляд, уйгуры, в некоторой степени, считаясь с могуществом и авторитетом тугю на мировой арене, отвергли далеко не все существующие у них обычаи и, вероятно оставили и даже сами восприняли то лучшее, что некогда отличало племена, покоренные ими. В свое время, в силу подчинения, тюркская военная аристократия должна была считаться с новыми порядками завоевателей. Такое взаимодействие двух этнических групп, безусловно, нашло отражение в материальной культуре племен Саяно-Алтае в VIII—IX вв. Именно поэтому для данного периода характерно такое разнообразие типов предметов древнетюркского комплекса.

Наборные ременные пояса встречаются нескольких видов: прямоугольные с прорезью бляхи на одном ремне с лунницами; полуовальные со срезанными краями вместе с прямоугольными; либо на ремне только одни прямоугольные бляхи с прорезью (рис. 3, 76.) На таких поясах чаще всего присутствуют лировидные подвески — ранговые знаки погребенного (рис. 3, 69, 70). Подвески известны по изображениям на каменных изваяниях данного периода, а также на миниатюрах и в храмовых росписях в Хочо и Турфане в IX—XIII вв. (Gabain 1961). Интересно следующее наблюдение: как показало изучение, пояса таких типов, которые раньше были отнесены исследователями к VII—VIII вв. (Курай IV—1/2, Туяхта-4), существовали позже — в VIII—IX вв. С VIII в. появляются новые по оформлению пояса, с бляхами-оправами порталльной формы с вырезными внешними краями (рис. 3, 78, 79).

Предметы быта, обихода по материалу и форме близки предыдущим, однако вместе с тем появляются и новые черты. В погребениях тюрков-тугю присутствуют целые зеркала (рис. 3, 93) и сопутствующие им гребни (рис. 3, 94). Среди утвари встречается чернолаковая посуда (рис. 3, 89), серебряные и латунные кувшинчики (рис. 3, 95), а также железные клепаные котлы на поддоне с двумя ручками (рис. 3, 87). На смену деревянным приборам для добывания огня приходят железные кресала. В оружии намечается ряд изменений. Наряду с прежними, появляются новые формы наконечников стрел: трехлопастные с выемками на лопастях (рис. 3, 99). Все чаще присутствуют в колчанах наконечники стрел с упорами при переходе от пера к черешку. Серединные боковые накладки на луки становятся крупнее и с более вытянутыми заостренными концами (рис. 3, 97, 98). Все чаще появляются накладки со вставной центральной срединной лопаточкой. Защитное вооружение представлено находками деревянного щита (рис. 3, 106) панцирных доспехов во фрагментах. Конское снаряжение этих погребений представлено устойчивым набором: двухлопастными седлами (рис. 3, 113), часть из которых покрыта черным лаком, железными подпружными пряжками на вертлюге (рис. 3, 114) и массивными стременами с петлей и пластиной на шейке (рис. 3,

111). Встречаются и восьмерковидные стремяна (рис. 3, 119), но чаще в комплексе с двухлопастными седлами с прямым завершением крыла. В этот период для сбруи коня, как правило, используются гладкие однокольчатые удила с S-видными псалиями (рис. 3, 107). В узде, кроме традиционных украшений, появляются листовидные накладные бляхи (рис. 3, 121), ременные наконечники с вырезанными фигурными краями (рис. 3, 123), а также “тройники” — распределители ремней (рис. 3, 124).

Так предметы, обычные по форме и материалу для древнетюркских погребений человека с конем VI—VIII вв. продолжают свое интенсивное развитие в VIII—IX вв. под действием уйгурского влияния, сохраняя при этом свои черты и в последующем периоде.

Кыргызский или древнехакасский период (IX—X вв.). После двадцатилетней войны древние хакасы вытеснили уйгуров с территории Саяно-Алтайского нагорья и включили в состав своего государства земли бывшего Тюркского и Уйгурского каганатов. Кыргызы подчинили их население на длительное время IX—XII вв. Однако, некоторое время эти этнические группы продолжали свое существование на старых территориях, в том числе и оставшиеся тюрки-туго, которые сохранили свои обычаи захоронения человека с конем. Естественно, что в погребальном инвентаре таких захоронений, наряду с предметами древних тюрков, встречаются вещи новых форм и назначений, привнесенных завоевателями.

Традиции древних тюрков сохраняются в оформлении наборных поясов. Наряду с ранее известными формами накладных блях появляются в наборе округлые бляшки с прорезью (рис. 3, 132). Все чаще встречаются детали пояса, выполненные из железа. Пышность в украшении, присущая древнехакасским поясам в редких случаях получает отражение в находках из погребений человека с конем. К поясу, по-прежнему, привешиваются предметы быта и обихода. Среди них встречаются ножи с прямым уступом при переходе от черешка к лезвию, а также ножи с упором (рис. 3, 137). Появляются втулчатые тесла с ярко выраженными плечиками (рис. 3, 136). Следуя традиции древних хакасов, тюрки-туго при погребении умершего заменяют целые зеркала обломками.

В вооружении наряду с сохранившимися старыми формами появляются и новые. Боковые срединные накладки на луки становятся овально-вытянутыми, подобно тем, которые широко распространены в Восточной Европе (рис. 3, 139). Встречаются экземпляры с прорисовкой знаков отличия. В наборе стрел вместе с древнетюркскими трехлопастными наконечниками присутствуют типично хакасские тупоугольные, четырехгранные и другие. В сбруйном наборе с тюркскими вещами существуют древнехакасские предметы. В украшении узды используются “тройники” — распределители ремней, ромбовидные накладные бляхи, налоб-

ники и пр. (рис. 3, 158). С остатками седел встречаются железные оковки или части железных облицовок-накладок на луку седла. Тюркские роговые подпружные пряжки сохраняют те же конструкции, правда, выполнены иногда на круглых пластинах. Железные пряжки на вертлюге несколько меняют форму: сужается дужка пряжки (рис. 3, 155). Стремена, как правило, с пластинчатой петлей подквадратной формы (рис. 3, 150). На подножках стремян все чаще встречаются различные вырезы. В набор конской упряжи в этот период входят однокольчатые гладкие удила с S-видными псалиями, а также витые двукольчатые и однокольчатые удила с кольчатыми псалиями (рис. 3, 148).

Таким образом, на протяжении всех периодов существования тюрков-тугу на Саяно-Алтайском нагорье форма предметов погребального инвентаря, характерных для погребений человека с конем, совершенствуется в рамках тюркских традиций. Однако следует отметить, что если во времена уйгурского владычества тюрки-тугу заимствовали только некоторые новые формы погребального инвентаря, то кыргызское (древнехакасское) влияние проявилось в сосуществовании в одном погребальном комплексе как тюркских, так и кыргызских вещей.

Так анализ погребального инвентаря с привлечением новейших материалов дает возможность представить более полно облик материальной культуры древних тюрков-тугу в Центральной Азии в первом тысячелетии нашей эры, которая впитала в себя как “внутренние”, так и “внешние” трансляции. Очевидно, что в период VI—X вв. в степях Центральной Азии в культуре местного населения прослеживается общая линия единой тюркской традиции при активном взаимодействии как уйгурских, так и древнехакасских элементов.

С приходом этнических объединений на территории бывших тюркских каганатов были расшатаны устои некогда могущественного племени тюрков-тугу, которые в X в., по сведениям китайской придворной хроники, “были крайне слабы...” и постепенно теряют свое этническое имя.

Гаврилова А. А. 1965. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.

Грач В. А. 1982. Средневековые впускные погребения из кургана-храма Улуг-Хорум в Южной Туве // Археология Северной Азии. Новосибирск.

Гумилев Л. Н. 1957. Древние тюрки. — М.: Наука.

Савинов Д. Г. 1994. Введение // Культурные трансляции и исторический процесс (палеолит — средневековье). СПб.

Gabain A. M. 1961. Das uigurische Königreich von Chotsho 850—1250. — Berlin: Akademie-Verlag.

БУЛАТНАЯ СТАЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОГО ТАЛЬХИРА

Средневековое городище Талгар, отождествляемое со средневековым селением Тальхир (Тальхиза), находится в 25 км восточнее Алматы, на южной окраине современного города Талгара.

В течение 30 лет с перерывами на городище ведутся археологические исследования экспедициями Института археологии Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан¹. В результате работ получена большая информация о характере городской застройки, городском жилище, о торговле, ремеслах (Савельева 1994).

Среди ремесленных изделий выявлена многочисленная коллекция изделий из железа, стали и чугуна. Изучение технологии изготовления изделий позволило установить, что кузнечное ремесло в XI—XIII вв. совершило качественный скачок. В производстве изделий кузнецы использовали разнообразные технологические приемы: 1) свободную кузнечную ковку; 2) кузнечную сварку; 3) поверхностное науглероживание; 4) закалку изделий; 5) паяние медью; 6) чугунное литье.

В археологических материалах Талгара были выявлены изделия из стали ледебуритного класса (тигельной стали), что является открытием современного металловедения и имеет большое научное значение. Во-первых, потому, что расширяет представление об ареале использования тигельной (булатной) стали (Средний Восток, Средняя Азия, Семиречье). Во-вторых, металлографическое и химическое изучение найденных образцов проливает дополнительный свет на внутреннюю структуру высококачественного сплава и технологию его получения, секреты которого до сих пор были утеряны.

Удивительные свойства булатной стали давно привлекали внимание человека. В эпоху средневековья клинки из узорчатого булата ценились как незаменимое оружие. В новое время в связи с развитием промышленности и повышением требований к инструментальной стали, к булату обращаются ученые и металлурги Англии (М. Фарaday), Франции (Г. Бреан, М. Мериме, Г. Турай), Германии (Г. Карстен), России (П. П. Аносов). Создание и широкое распространение легированных сталей и композиционных материалов с заданными физическими и механическими свойствами привело к постепенному угасанию практического интереса к булату.

¹ До 1991 г. — Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР.

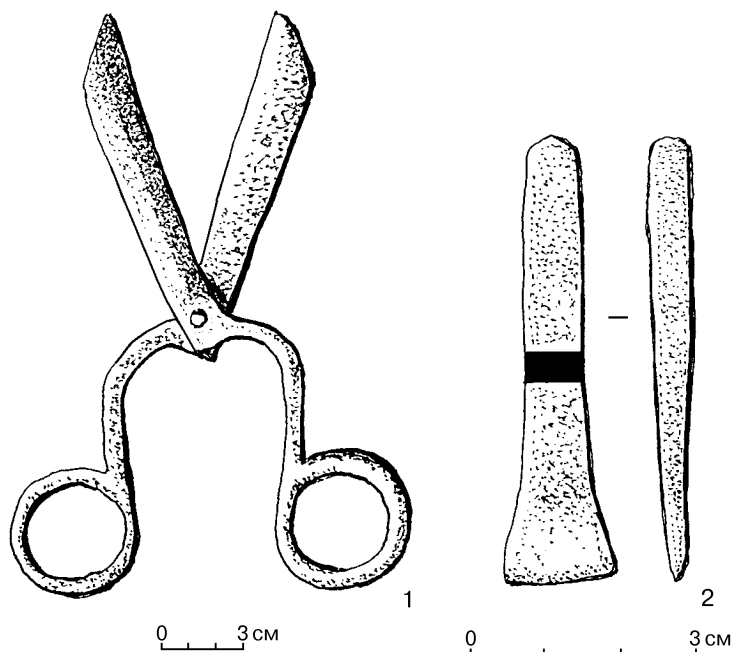


Рис. 1. Тальгар. 1 — ножницы; 2 — зубило.

Несмотря на это, историки сохранили свое внимание к узорчатой стали. Наибольших успехов в этом отношении добились зарубежные исследователи (M. Sache, S. Smith, J. Wandswoth, J. Verhoeven, A. Pendray, D. Peterson, J. Allan). Ими дана общая характеристика булата, рассмотрены возможные методы его получения. Сфера интересов отмеченных авторов — Ближний и Средний Восток.

В России металлографические исследования археологического материала ведутся с 50-х годов XX в. Основателем нового научного направления, сделавшего огромный вклад в изучение древнерусской металлообработки, явился Б. А. Колчин. Он отмечал в материалах Древней Руси наличие только сварочного булата и полное отсутствие литой стали (1953).

В среднеазиатских городах производство булатной стали началось, вероятно, в первой половине II тыс. н. э. Основывается данная мысль главным образом на политической ситуации в регионе — завоевательной политике газневидов, хорезмшахов и, в особенности, военных походов Тимура. В результате войн с завоеванных территорий вывозились мастера и ремесленники для поселения в городах Средней Азии, в том

числе кузнецы и оружейники, среди которых могли находиться и мастера по производству булата. К сожалению, судить более определенно мы не имеем возможности, так как история становления развития железной индустрии в регионе не изучена, а имеющиеся аналитические данные весьма незначительны (Папахристу 1985).

В связи с вышеизложенным, исключительный интерес представляют находки из булатной стали, выделенные в ходе металлографических исследований металлических изделий средневекового города Тальхира, датированные X—XIII вв. Эти находки расширяют и конкретизируют наши представления об истории развития металлообрабатывающего производства городов Семиречья и позволяют по-новому оценивать железную индустрию Среднеазиатского региона. Вместе с тем они являются реальным подтверждением существования в изучаемой области местного металлообрабатывающего производства тигельной стали.

Технологическое изучение изделий из железа и железноуглеродистых сплавов городища Талгар выявило два предмета, изготовленных из тигельной стали — шарнирные ножницы и зубило (рис. 1, 1).

Шарнирные ножницы по конструкции близки современным: две половинки, состоящие из лезвия и рукоятки, заканчивающейся круглым сомкнутым кольцом, подвижно соединены штифтом. Общая длина ножниц — 23 см. Длина режущих полотен — 10,5 см. Судя по другим находкам, подобной формы ножницы (общие пропорции, угол изгиба рукоятей, оформление колец) использовали в хозяйстве местного населения. Макро- и микроструктурный анализ поперечного сечения рабочего лезвия показал, что ножницы откованы из сверхуглеродистой (гиперуглеродистой) тигельной стали ледебуритного класса и закалены в холодной воде. Микроструктура имеет полосчатое строение, состоит из мартенситной основы, включений карбидов в виде игл и зерен, отдельных зон ледебуритной эвтектики. Некоторые зоны ледебуритной эвтектики раздроблены в ходе пластической обработки металла в горячем состоянии и вытянуты по линииковки.

Для изучения возможного рисунка на внешней поверхности одно из рабочих полотен было отполировано, протравлено химическим реактивом и подвергнуто микроскопическому изучению. Благодаря тому, что разные структурные составляющие неодинаково реагируют на действие кислоты, четко видно узорчатое строение стали, представляющее собой сочетание темной матрицы (мартенсит), светлых карбидных включений в виде сетчатых (игольчатых) ответвлений, крупных и мелких скоплений угловатой формы, и зон ледебуритной эвтектики. Микротвердость структурных составляющих: мартенсита — $841\text{—}890 \text{ кг/мм}^2$, карбидов — $1144\text{—}1413 \text{ кг/мм}^2$, ледебурита — 1314 кг/мм^2 .

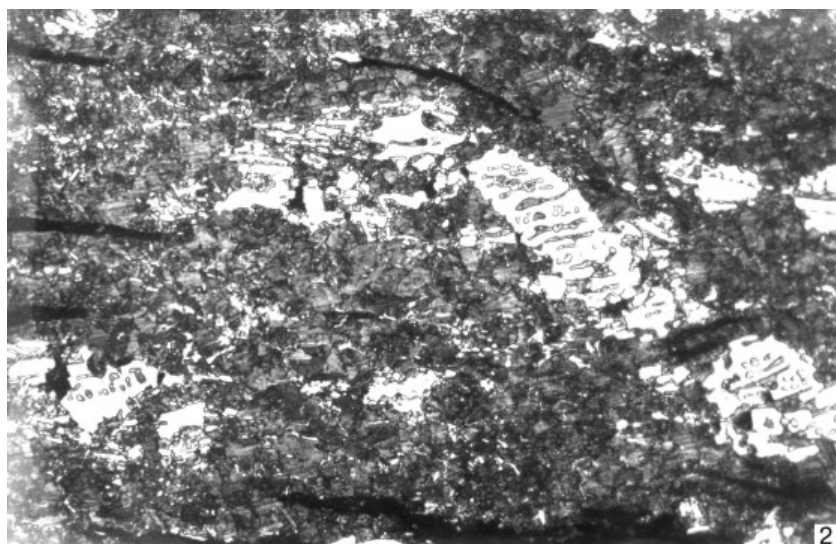
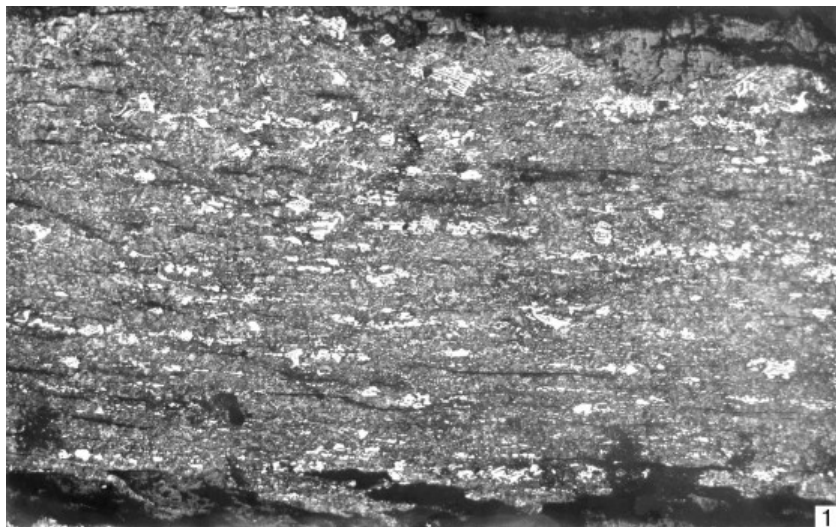


Рис. 2. Тальгар. Микроструктуры поперечного сечения зуба:
1 — увеличение 100; 2 — увеличение 500.

Для уточнения технологии получения стали был проведен химический анализ на стилоскопе СЛ-2 для выявления карбидообразующих элементов (ванадий, вольфрам, марганец, молибден, никель, хром)². Так как известно, что в современной металлургии их используют для выплавки стали ледебуритного и карбидного класса. Проведенный анализ показал полное отсутствие легирующих элементов. Второе изделие представляет собой небольшое зубило, со слегка расширенным лезвием, предназначенное для рубки холодного металла. Длина его — 6 см, ширина лезвия — 1.5 см (рис. 1, 2). Его могли успешно использовать кузнецы, жестианщики и ювелиры. Металлографическое исследование показало, что зубило отковано из сверхуглеродистой ледебуритной стали и подвергнуто термической обработке (закалке). Микроструктура металла состоит из троостита, включений карбидов железа (Fe_3C) и ледебуритной эвтектики (рис. 2, 2). Карбидные включения вытянуты по линииковки (рис. 2, 1). Микротвердость троостита — 412—557 кг/мм², ледебурита — 446—1225 кг/мм².

Имеющиеся в нашем распоряжении аналитические данные позволяют по-новому рассмотреть проблему получения сверхуглеродистой стали и ее последующей обработки. Современные исследователи, рассматривая данную проблему, исходят из посылки наличия естественных примесей (или искусственных добавок) легирующих карбидообразующих элементов, зафиксированных ими в достаточно мизерном количестве — не более 0.03 %. С нашей точки зрения такой концентрации легирующих элементов недостаточно для образования карбидов и ледебуритной эвтектики. Судя по имеющимся материалам, средневековые мастера использовали для этих целей совершенно иной технологический прием, состоящий из нескольких стадий. По свидетельству ал-Бируни для получения узорчатой стали в тигле последовательно плавил мягкое железо, а затем в расплав добавляли определенное количество чугуна (“даус” по терминологии ал-Бируни) в виде мелкого порошка. Искусство плавления на данном этапе состояло в том, чтобы вовремя остановить процесс, не допуская полного слияния исходных материалов. В результате, как пишет ал-Бируни, “...частицы их обоих располагаются попеременно, так что каждая в отдельности ясно видна по их двум оттенкам; называется этот узор фиринд” (1963: 235). Сведения ал-Бируни хорошо согласуются с данными металлографии изделий. Исходя из сказанного, очевидно, что укорачивая или удлиняя время плавки можно было уменьшить либо черноту узора, либо белизну. На заключительном этапе

² Анализ проведен инженером-рентгенологом Г. А. Соломатиной в лаборатории металловедения Кемеровского технологического института.

слитки в тиглях медленно остывали вместе с печью. Постепенное охлаждение стали в тигле, по наблюдению П. П. Аносова (1954: 146), способствовало развитию кристаллизации и образованию узоров.

Полученные слитки булатной стали использовали для производства оружия и инструмента. Мастера вырабатывали и хранили свои приемыковки металла и не выдавали их секретов.

Специфика обработки булата состояла в том, что проковку ведут медленно, при небольшом нагреве, в очень узком интервале температур. Контроль за температурой осуществлялся по цветам побежалости (нагрев не более мясо-красного каления; ковка при светло-красном калении). Если заготовку нагреть добела, как это делается при обработке железа и обычной стали, то при твердом булате он лишается ковкости и рассыпается, а при мягком теряет узоры (Аносов 1954: 146—147).

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, открытые нами булаты относятся к одной группе тигельной стали ледебуритного класса, имеющей специфические признаки макро- и микроструктуры по сечению и на поверхности изделия. Они отличаются крайней структурной и химической неоднородностью и состоят из стальной основы, включений карбидов и отдельных зон ледебуритной эвтектики. По классификации П. П. Аносова они могут быть включены в группу твердых булатов. Использование булата на Востоке в качестве инструментальной стали на много столетий предвосхитило подобное явление в европейских странах.

Во-вторых, получение гиперуглеродистой стали было обусловлено специфической технологией ее производства, главными компонентами которой являются: использование специальных печей и невысоких тиглей, многоступенчатость процесса производства, последовательная плавка в одном тигле сначала железа, а затем чугунного порошка, прекращение нагрева до полного растворения двух составляющих и медленное остывание металла в тигле вместе с печью.

В-третьих, горячая обработка булатной стали велась нетрадиционными методами с помощью медленной проковки и при низком нагреве.

Савельева Т. В. 1994. Оседлая культура северных склонов Заилийского Алатау в VIII—XIII вв. Алматы.

Колчин Б. А. 1953. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси. М.

Папахристу О. А. 1985. Черная металлургия северной Ферганы. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М.

Бируни. 1963. Минералогия. Собрание сведений для познания драгоценностей.

Перевод А. М. Беленицкого, редакция Г. Г. Лемлейна, Х. К. Баранова и

А. А. Долининой, статьи и примеч. А. М. Беленицкого и Г. Г. Лемлейна. Л.

Аносов П. П. 1954. Собрание сочинений. М.

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА СРЕДНЕЙ АЗИИ

В мировоззрении и духовной жизни народов Средней Азии поры раннего и развитого средневековья наряду с другими религиями определенное место занимало и христианство. Открытие в этом историко-культурном регионе ряда уникальных христианских памятников, таких как церковь Хароба Кошук (VII—VIII вв.; Пугаченкова 1954: 15—19), монастырь “Овальный дом” в Мерве (VII—VIII вв.; Туркменистан; Дресвянская 1974: 155—181), церковь на территории Старого Термеза (X—XII вв.; Узбекистан; Альбаум 1951: 34—41), церковь на городище Ак Бешима (Кызласов 1959: 231—233) и церковь-монастырь Таш Рабат (IX—XI вв.; Кыргызстан; Пантусов 1902: 15—23) свидетельствуют о длительной истории этой религии в Средней Азии.

Кроме того, по средневековым письменным источникам известно также о христианских церквях, существовавших и в других центральных городах и селениях Средней Азии. По сообщениям Ибн Хаукаля, к югу от Самарканда, в районе современного Ургута, в местности Шавдор в X веке существовало христианское селение Вазкард, где располагались церковь, монастырь и кельи. Население были выходцами из Ирака (Ibn Haugal 1964: 485). По данным Ибн Хаукаля и Аль-Истахри в западных границах Чача располагалось христианское селение Винкард. Известно также, что Исмаил Самани во время похода в Тараз превратил христианские церкви в Таразе и в городе Мирки в мусульманские мечети. По сообщениям бухарского историка Наршахи, в Бухаре, близ ворот Аттарон, на месте христианской церкви была возведена мечеть арабского племени Бану Ханзала (Наршахи 1991: 128). Марко Поло упоминает церковь Св. Крестителя в Самарканде, построенную во второй четверти XIII в.

Археологические исследования последних лет позволяют расширить круг источников по теме христианства в Средней Азии. В конце 80-х — начале 90-х годов на территории Южного Согда (Кашкадарьинская обл. Узбекистана) в 1.5 км от столичного города Нахшаба (Насафа) нами был открыт уникальный полуподземный культовый комплекс. Исходя из крестообразной структуры и планировки центральной его части, находки башнеобразной курильницы, в стволе которой имеются три крестообразных сквозных отверстия, а также по ряду других соображений мы интерпретировали его как христианский храм (Раимкулов 1997: 110—116). Храм был двухчастный, состоял из западного и восточного комплексов (рис. 1). Западный комплекс образован помещениями 6—11, 13, восточный — помещениями 1—4, в северной части храма расположен неболь-

шой двор. Храм имел два входа. Вход в западный комплекс был со стороны двора, через крестообразный в плане коридор (пом. 13). Прямо от входа пол коридора понижался, видимо, вход был очень невысокий. Пол двора находился примерно на 20 см ниже дневной поверхности. Интересно, что пол каждого следующего помещения глубже предыдущего на 40—50 см. Перед некоторыми проходами имелись ступеньки. Помещение 9, вероятно, являлось святилищем. Вдоль всех стен его находились суфы, а в середине комнаты — четырехугольный алтарь (71 x 67 см, высотой 12 см). Пол этого помещения находился на глубине более 2 м от дневной поверхности.

Восточный комплекс состоял из трех помещений (пом. 1—3), которые были связаны друг с другом проходами, но наружного входа не имели. Рядом с пом. 3 расположена маленькая комната с очень низким сводчатым перекрытием из сырцовых кирпичей, что, возможно, свидетельствует о наличии помещений и выше, на втором этаже. Таким образом, сюда, видимо, спускались сверху, т. е. функциональная связь с этим комплексом осуществлялась из помещений второго этажа. В северо-западном углу пом. 3 обнаружена двухъярусная угловая суфа, здесь, возможно, находилась деревянная лестница для спуска. На полу пом. 3 стояли круглые полые емкости (диаметр 30—50 см, высота до 50 см) из красной керамической глины. Назначение их неясно. Помещение 1 являлось святилищем — вдоль всех его стен имелись невысокие суфы, а в южной части находился прямоугольный алтарь.

В пом. 12 найдены остатки лестницы из сырцового кирпича. Ее верхняя часть выводила на второй этаж над пом. 4. Южная часть этого архитектурного комплекса еще не вскрыта. Стены помещений храма очень плотные, сделаны из хорошо перемешанной глины, но без признаков кирпичной кладки и членений. Они сохранились на высоту местами до 2 м и составляют единый монолит.

Прослежено, что во время функционирования храма здесь проводились строительные работы, связанные с перепланировкой западного комплекса. Помещение 8 полностью, а пом. 9 до половины были заполнены песком, сверху настлан пол. По средней оси пом. 9 была сооружена поперечная стена и появилось новое маленькое пом. 10. При этом алтарь и суфа остались под полом, а новый проход был вырублен между пом. 10 и 12. Проход между пом. 7 и 8 был замурован сырцовыми кирпичами. Помещения 6, 7 и входной коридор (пом. 13) продолжали функционировать, видимо, как вспомогательные. Храм был двухэтажным (первый этаж был заглублен в землю) и имел плоское деревянное перекрытие. Снаружи это здание, видимо, не отличалось от одноэтажной окружающей застройки.

В начале VII века, по неизвестным нам причинам, храм прекратил функционирование. Перед этим здесь велись большие трудоемкие работы.

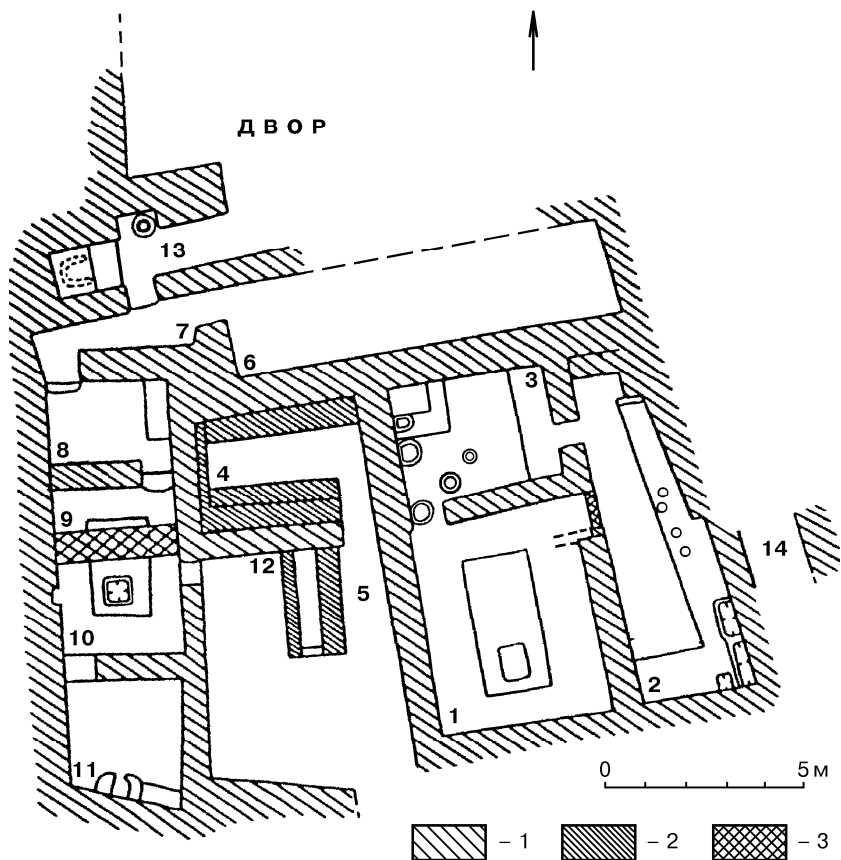


Рис. 1. Коштгепя. План раскопа.

1 — пахсовая стена; 2 — сырцовые кирпичи; 3 — поздняя стена.

Все помещения восточного и пом. 10—11 западного комплексов были доверху заполнены рыхлым песчаным грунтом, все внутренние проходы замурованы сырцовыми кирпичами. Другие помещения были просто оставлены. Аналогичные полуподземные сооружения христиан давно открыты на острове Карк в Персидском заливе (Herzfeld 1935: 1—16).

На территории Средней Азии и ранее были известны некоторые подземные сооружения. Одно из них, пещерный комплекс Кархана обнаружен в 30-е годы М. Е. Массоном. Памятник находился в 6 км к югу от столичного города средневековой области Илака-Тункета, в горной долине

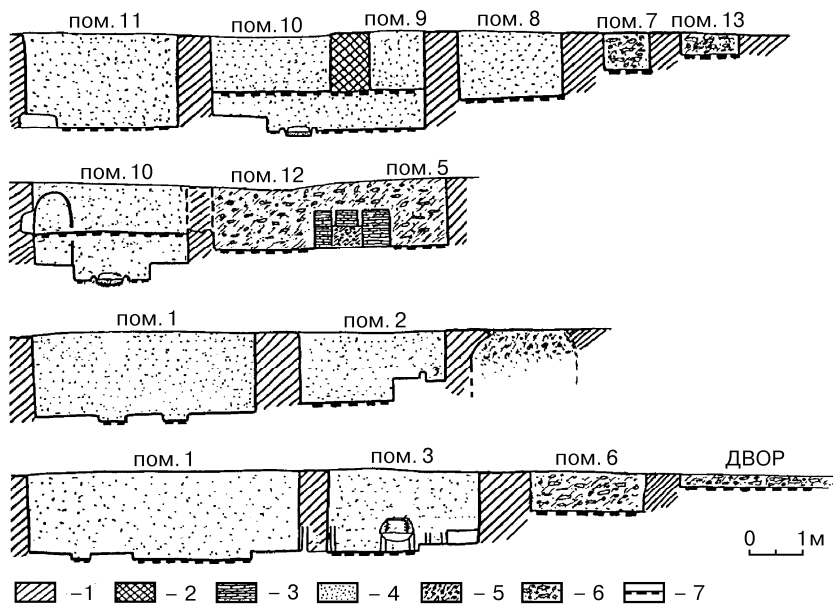


Рис. 2. Кошчепа. Разрезы помещений. 1 — пахсовая стена; 2 — поздняя стена; 3 — сырцовые кирпичи; 4 — песчанистый грунт; 5 — рыхлая земля; 6 — плотная глина; 7 — уровень пола.

Нарбексая и назывался местными жителями Кархана, т. е. “мастерская” (Массон 1953: 100—103; рис. 3). Кроме Карханы в долине Нарбексая найдены также такие археологические памятники как остатки раннесредневекового замка Холбойтепа и дворцового сооружения Муминтепа, крупное рассредоточенное раннесредневековое поселение и др.

Кархана частично была обследована М. Е. Массоном, им был снят план искусственных пещер. Пещеры были вырублены в естественном холме, на вершине которого находилось небольшое сельское поселение. Его культурные слои достигали 6 м толщины и накапливались в течение нескольких столетий. Самая ранняя, найденная здесь керамика относится к поздней поре рабовладельческого строя (Массон 1953: 100—103).

Время возникновения пещерного комплекса Карханы пока не уточнено, археологические раскопки здесь еще не велись. Судя по культурным напластованиям, которые покрывают холм, самые древние слои относятся к раннему средневековью и, вероятно, тогда же строятся пещерные сооружения под этим поселением. По мнению М. Е. Массона, пещеры разно-

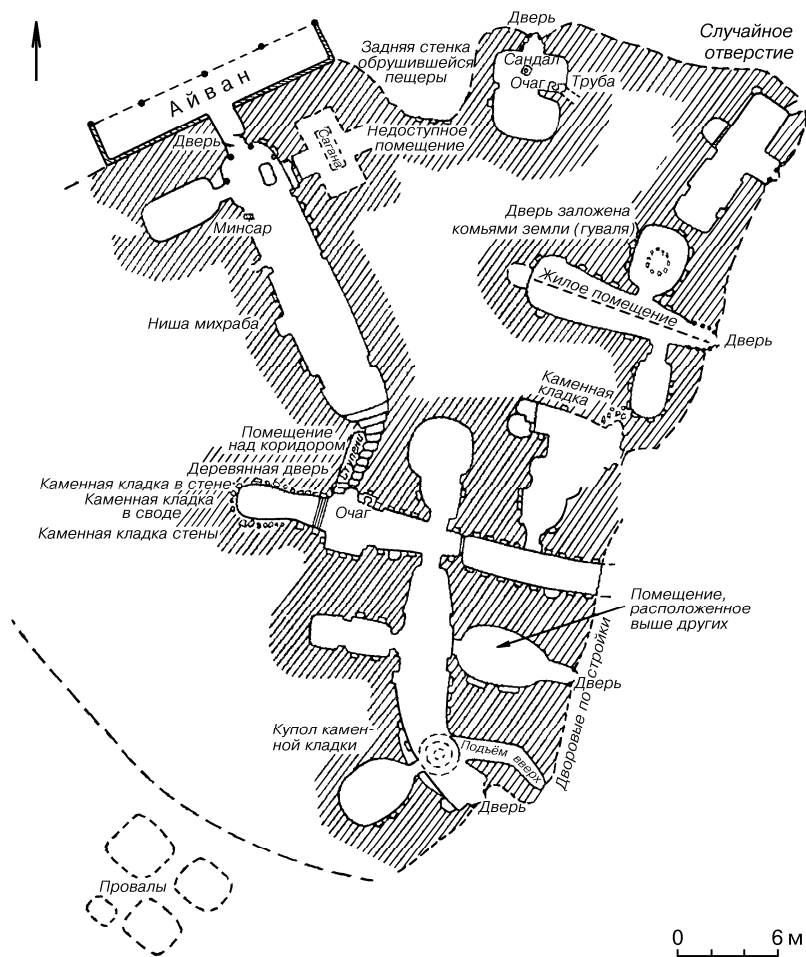


Рис. 3. Схематический план пещерных помещений Кархана (по М. Е. Массону).

временны и их сооружали в течение длительного времени. Об функциональном назначении памятника исследователь высказал предположение, что "...в Кархане мы имеем одно из помещений, где происходили собрания секты «иштан салды», якобы унаследовавшей от прежних «чирак кушей» (гасителей светильников) некоторые половые излишества в своих религиозных собраниях".

В 30-е годы большой главный зал Карханы использовали как пятничную мечеть. Главный вход находился с северной стороны, где был

айван длиной почти 14 м. Из айвана вход вел в главный зал. Главный зал представлял собой просторный, сводчатый коридор, длиной 17 м, шириной 4 м. В юго-западной стене была устроена михрабная ниша.

Открытие пещерных христианских комплексов в Средней Азии (Атаханов, Хмельницкий 1973: 187—204) и то, что все пещерные помещения Карханы крестообразные в плане, наводит на мысль о принадлежности этого пещерного комплекса древним христианам, точнее несторианам. Кроме того, самые древние культурные слои Карханы относятся к раннему средневековью и этим же периодом датируются некоторые памятники Нарбексая. По времени это совпадает с появлением христианства в Средней Азии. При обследовании Карханы предметов, связанных с христианской религией, пока не обнаружено. Видимо, в течение более тысячи лет, во время вторичного его использования, все признаки, связанные с христианством постепенно исчезли. Подобные случаи уже были отмечены исследователями при раскопках христианских церквей и монастырей.

При сопоставлении планировки и других признаков храма Коштета и Карханы выявляются некоторые сходные элементы. В описании Карханы М. Е. Массон пишет: “Из большого зала мечети десять широких и до неудобства высоких, постепенно сужающихся ступеней выводят в верхний ярус помещений, проход в которые изолируется навешанной в конце лестницы деревянной дверью” (1953 : 101). Если высота каждой ступени была примерно 35—40 см, тогда помещения верхнего яруса находились на 3.5—4 м выше большого зала.

Мы считаем, что айван на северной стороне большого зала появляется позже, когда Кархана превратилась в мечеть. Большой зал, по всей видимости, являлся святилищем христианского комплекса. Первоначально вход в него был в южном конце и сюда спускались по вышеупомянутым ступенькам. Эти ступеньки не суживались кверху, как писал М. Е. Массон, а наоборот, расширялись книзу. Как отмечено выше, святилище западного комплекса Коштета находилось на 2 м глубже двора и пол его был на 35 см ниже пола соседнего помещения 11 (рис. 2).

Южную и юго-восточную стороны Карханы, видимо, занимал двор. О его существовании свидетельствует и то, что с этой стороны был главный вход. Расположение святилищ в конце и в самой глубине комплекса, видимо, является одной из характерных особенностей христианских подземных сооружений раннесредневековой Средней Азии.

Еще одно подземное сооружение было обнаружено в 40-е годы XX века С. К. Кабановым при раскопках цитадели городища Каджартепа близ г. Карши в Узбекистане. На глубине 6 м от поверхности холма в шурфе были открыты части двух помещений, разделенных стенкой. Эти подземные камеры, по описанию автора раскопок, были вырублены в плотном лёссе стилобата, имели арочные перекрытия и очень рыхлое песчанистое

заполнение (Кабанов 1977: 14—15). Несмотря на хорошую сохранность перекрытия, помещения на Каджартепа почти до потолка были заполнены песком. Не исключено, что оно также могло принадлежать христианам.

Крупный пещерный комплекс недавно был открыт нами на западной окраине городища Афрасиаб в Самарканде. Этот уникальный памятник состоит более чем из десятка залов, помещений и коридоров.

Большинство залов расположено параллельно, в виде гребня, середину которого пересекает узкий коридор. Залы (длиной 14—17 м, шириной 2—2.5 м) расположены рядом друг с другом и имели арочные перекрытия. Все помещения комплекса были вырублены в лёссе под культурными слоями городища и расположены прямо под крепостными стенами, на глубине более десяти метров от современной дневной поверхности. Практически все помещения, залы и коридоры были искусственно заполнены рыхлым привозным грунтом с примесью обломков сырцовых кирпичей и пахсы. Возможно, этот комплекс, как и Кархана, являлся крупным пещерным культовым комплексом древних несториан Самарканда.

В настоящее время на этом памятнике нами начаты исследовательские работы. Время возникновения пещерного комплекса пока не уточнено, а прекращение его функционирования, возможно, приходится на период исламизации Самарканда. Когда древние несториане вынуждены были покинуть эти места, сооружение, как и на Коштепе в Нахшебе, было засыпано. Видимо, пещерная архитектура была представлена не только в западных районах распространения этого учения, но и на Востоке.

- Альбаум Л. И.* 1995. Христианский храм в Старом Термезе // Из истории древних культов Средней Азии. Христианство: 34—41. Ташкент.
- Атаханов Т. М., Хмельницкий С. Г.* 1973. О работе Шаартузского археологического отряда в 1968—1970 гг.: 187—204. — Москва: Наука.
- Дресвянская Г. Я.* 1974. “Овальный” дом христианской общины в Старом Мерве // ТЮТАКЭ XV: 155—181. — Ашхабад: Ылым.
- Кабанов С. К.* 1977. Нахшаб на рубеже древности и средневековья (III—VII вв.): 14—15. — Ташкент: Фан.
- Кызласов Л. Р.* 1959. Исследования на Ак-Бешиме в 1953—1954 гг. // ТКАЭЭ II: 231—233. — М.: Наука.
- Массон М. Е.* 1953. Ахангеран. Археолого-топографический очерк: 101—103. — Ташкент: Фан.
- Наршахий.* 1991. Бухоро тарихи // Мерос, Тошкент, 82—174.
- Пантусов Н. Н.* 1902. Таш-Рабат // Изв. ИАК 4: 15—23. СПб.
- Пугаченкова А. А.* 1954. Хароба Кошук // ИАН ТуркмССР, 3: 15—19. Ашхабад.
- Раимкулов А. А.* 1997. Своеобразный культовый комплекс Южного Согда // ИМКУ 2: 110—116. Самарканд.
- Herzfeld E.* 1935. Archaeological History of Iran. 1—16. London.
- ibn Nauqal.* 1964. Configuration de la terre (Kitab surat al-ard) // Introduction et traduction, avec index par J. H. Kramers et G. Wiet, t. II, Bayrouth, Paris.

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНОСТИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Реконструкция памятников древней архитектуры дело интересное, нужное и, вместе с тем, весьма трудное. Исследователи в разных странах пробовали сформулировать как и на основе чего делается реконструкция. Академик Г. А. Пугаченкова предложила 3 основных положения: общий комплекс археологических наблюдений, расчетов и привлечение близких аналогий. Все это вооружает исследователя той суммой реальных данных и возникающих на этой основе умозаключений, которые позволяют с большей или меньшей точностью воспроизвести объемно-пространственную композицию здания.

По поводу расчетов хочу добавить, что они подкреплены математикой, т. е. использована система пропорционирования¹. Кроме того необходимы творческое чутье и непрерывная профессиональная натренированность реконструктора, плюс искренний интерес к делу, ибо равнодушные — плохой помощник.

Сегодня и завтра реконструкции — это использование компьютеров, что значительно облегчает и убыстряет работу. В данной публикации автор предлагает краткий обзор своих реконструкций, выполненных под общим руководством и всегда с дружеской помощью д. и. н. В. М. Массона в 1970-е — 1980-е годы. В пользу их точности свидетельствуют два довода. В 1981 г. я показывал свои реконструкции Г. А. Пугаченковой, человеку с огромным опытом и культурой в деле научных реконструкций древности. Она все одобрила и предложила немедленно выслать ей в г. Ташкент для публикации, все в цвете, как в оригинале. В дальнейшем после 1984 г. было единственное разногласие с ней по поводу перекрытия т. н. Круглого храма в Старой Нисе. Г. А. Пугаченкова — за конусную крышу, а я — за купол. Я тогда предложил примиряющий вариант — в один период была конусная крыша, в другой мог быть купол.

Второй пример — это реконструкция общего вида г. Эбла III тыс. до н. э., опубликованная в западноевропейском журнале, целиком посвященном реконструкции этого памятника археологии. Реконструкция вида Эблы, сделанная неведомым мне коллегой, дана крупно, на развороте журнала. В ней — полное совпадение с моей реконструкцией общего вида Алтын-депе по приему композиции, ракурсу, виду архитектуры и цветовой гамме. Видеть и знать мою реконструкцию зарубежный коллега не мог.

¹ “В каждом знании столько истины, сколько математики” (Э. Кант).

Первый длительный и основной опыт я получил, работая над материалами памятника эпохи энеолита и бронзы Алтын-депе в Туркменистане (рис. 3—10) в 70-е годы. Примерно в те же годы сделаны реконструкции по материалам неолитического Песседжик-депе (рис. 1) и кушанского Зар-депе (рис. 22). В 1984 г. был в экспедиции на парфянской Старой Нисе и, как и на Алтын-депе, сделал серию реконструкций, которые частично опубликованы (рис. 16—21). В 1985 г. работал в экспедиции д. и. н. А. Аскарлова на памятнике эпохи бронзы Джаркутан в Узбекистане (рис. 13; 14). Из серии реконструкций опубликован только общий вид памятника. В 1986 г. после долгих поисков сделана реконструкция типового святилища поселения эпохи энеолита Илгынлы-депе (рис. 2). В 1987 г. д. и. н. В. Н. Пилипко ознакомил меня с парфянским памятником Гарры-кязиз к северу от г. Ашхабад. Я сделал реконструкцию общего вида и анализ, поиск смысла в плане сооружения (не опубликовано; рис. 15).

Помимо архитектуры, автором сделаны реконструкции предметов декоративно-прикладного искусства (рис. 4Д; 6) и даже внешнего облика древних людей (рис. 11; 12). Под руководством к. и. н. Л. Б. Кирчо в конце 1980-х годов был сделан оригинальный чертеж — вид в аксонометрии остатков строений нескольких горизонтов на стратиграфическом раскопе Алтын-депе (рис. 5).

В заключение хочу высказать мою глубокую благодарность В. М. Массону и всем ученым, связанным с Институтом истории материальной культуры РАН, туркменским специалистам и народу Туркменистана, на земле которого жил и работал, за возможность применить искусство художника-архитектора в помощь науке, за возможность творческой реализации в непрерывном процессе археологических открытий.

Пугаченкова Г. А. К проблеме архитектурной археологии в изучении зодчества Средней Азии // КСИА 172: 24—30.

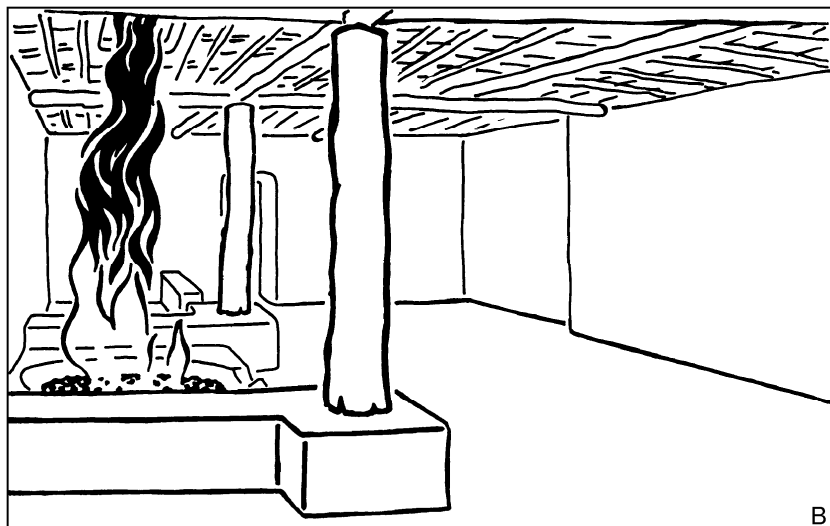
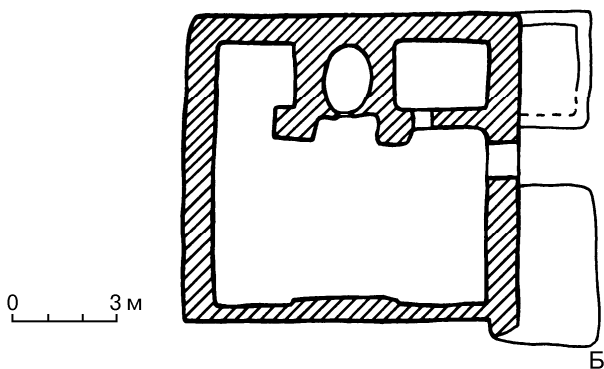
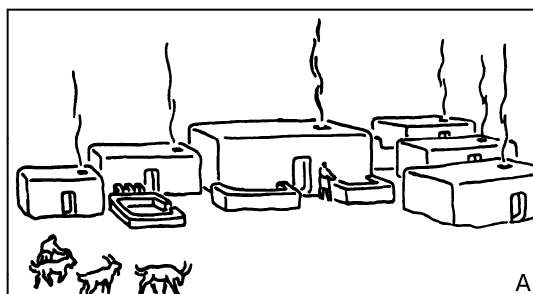


Рис. 1. Песседжик-депе (Южный Туркменистан): А — общий вид поселения, реконструкция; Б и В — план и реконструкция жилого дома.

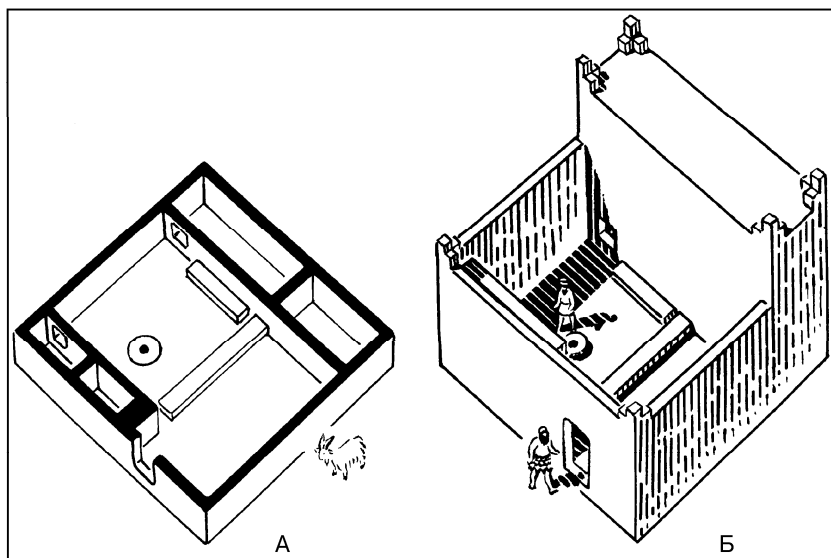
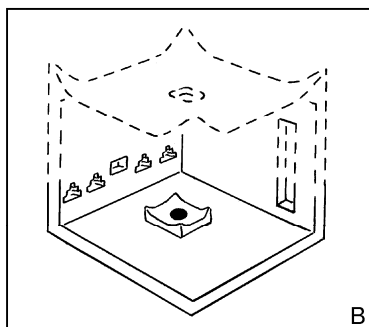
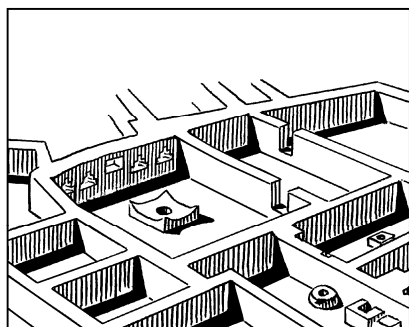
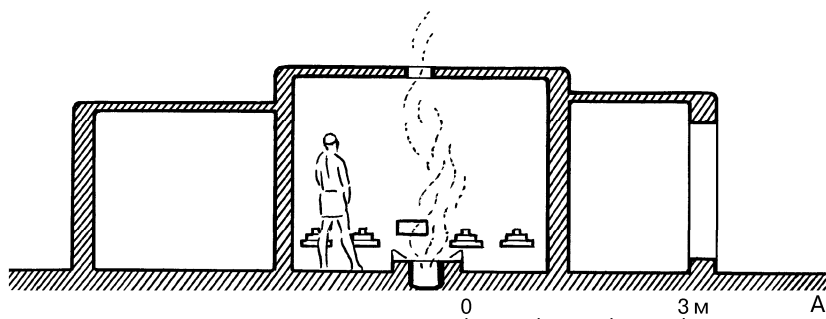


Рис. 2. Илгыны-депе (Южный Туркменистан):
 А и Б — дом-“святилище”, аксонометрия и реконструкция.



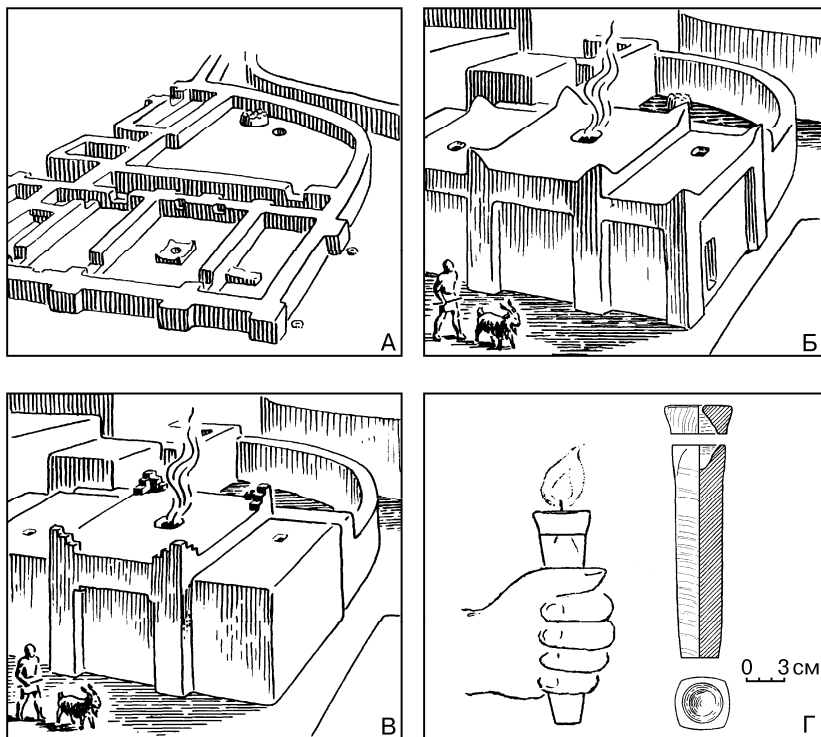
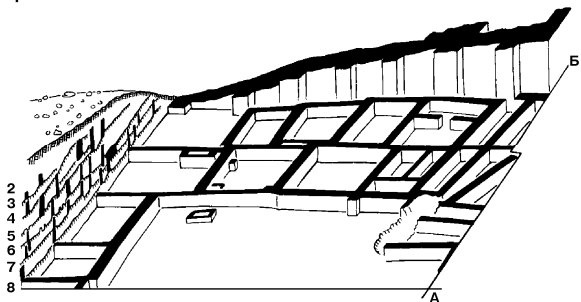
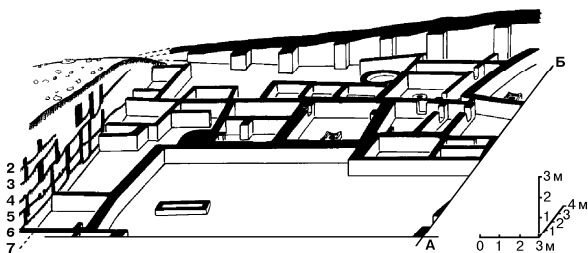
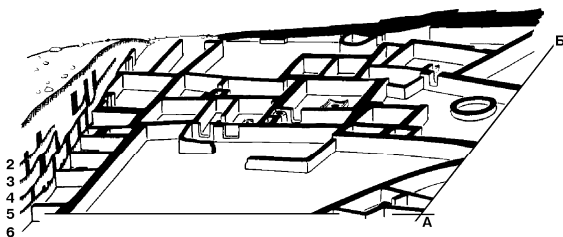
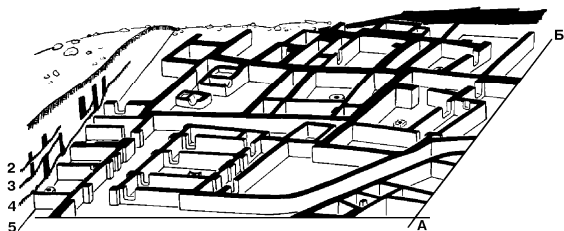
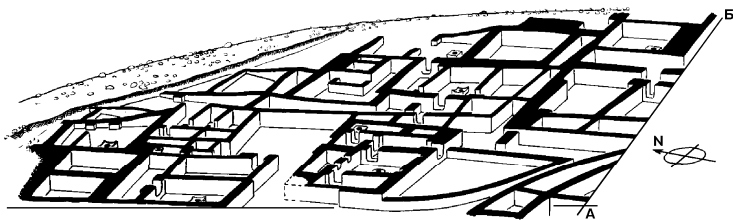


Рис. 4. Алтын-депе (Южный Туркменистан), раскоп 5, горизонт 4:
 А, Б и В — аксонометрия и варианты реконструкции дома-“святилища”;
 Г и Д — каменный светильник и его использование.

←Рис. 3. Алтын-депе (Южный Туркменистан), раскоп 5, горизонт 6:
 А и В — разрез-реконструкция дома и комнаты-“святилища”;
 Б — аксонометрия части строений.

Рис. 5. Алтын-депе (Южный Туркменистан), раскоп 5, строения 8—4 горизонтов, аксонометрия. →



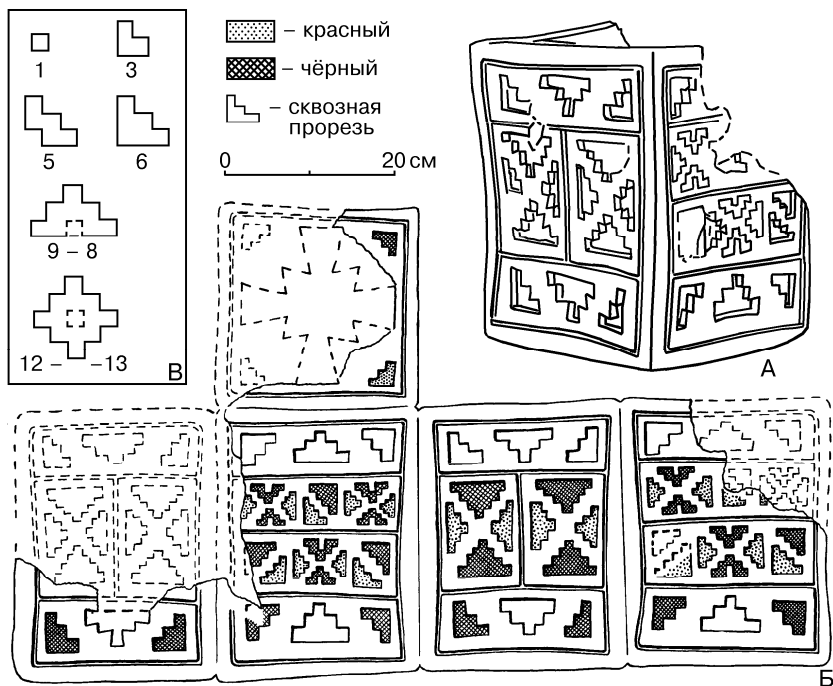


Рис. 6. Алтын-депе (Южный Туркменистан), терракотовая коробочка-реликварий: А — общий вид; Б — развертка; В — расчеты элементов декора.

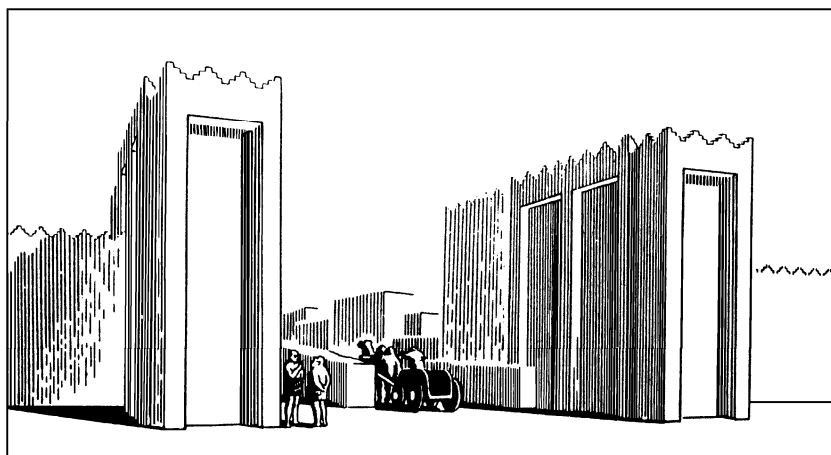
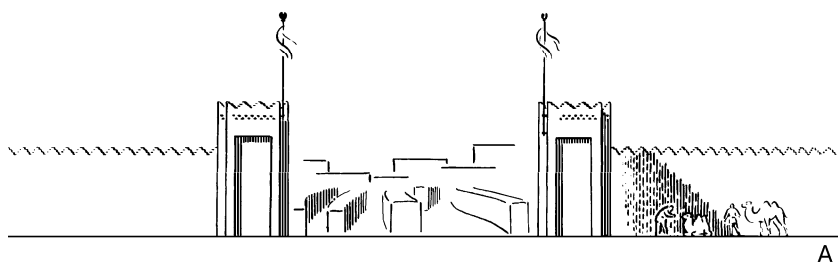
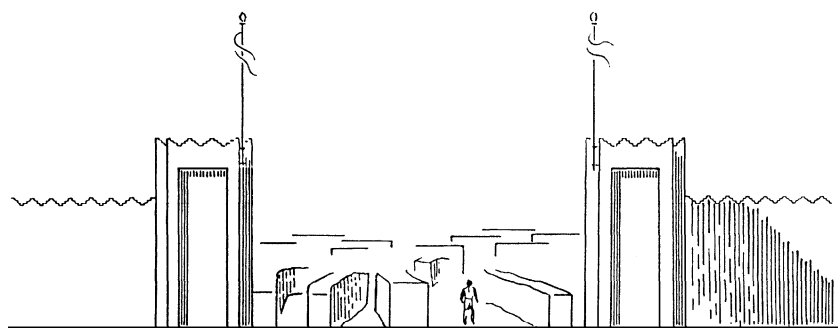


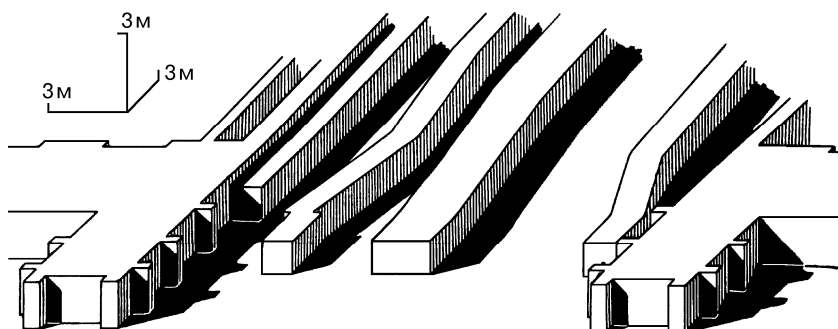
Рис. 7. Алтын-депе (Южный Туркменистан), монументальный юго-западный въезд, реконструкция.



А



Б



В

Рис. 8. Алтын-депе (Южный Туркменистан), монументальный юго-западный въезд: А, Б — варианты реконструкций; В — аксонометрия.

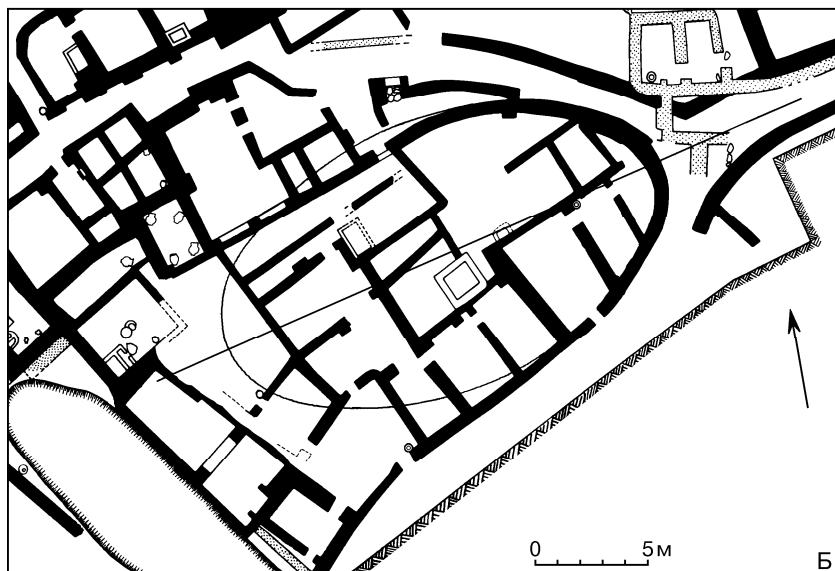
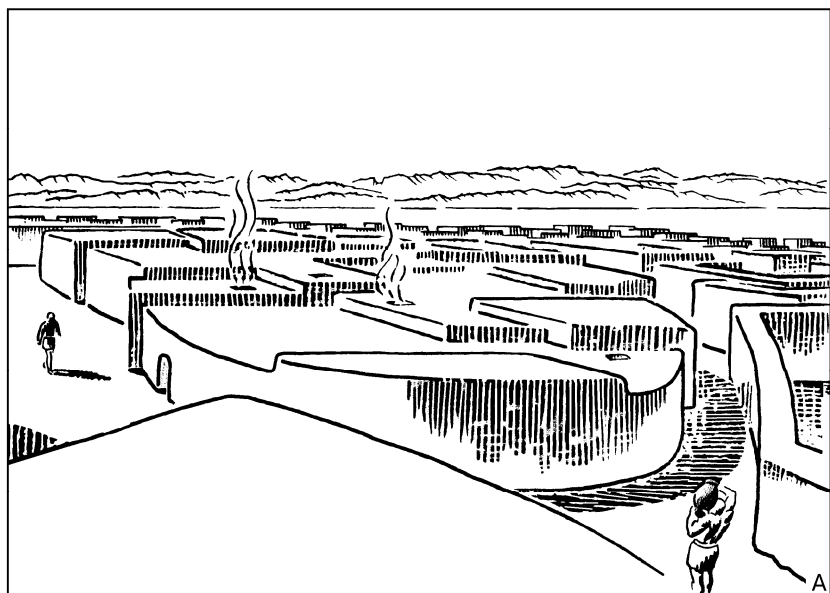


Рис. 9. Алтын-депе (Южный Туркменистан), раскоп 9:
А и Б — реконструкция и план полукруглого дома.

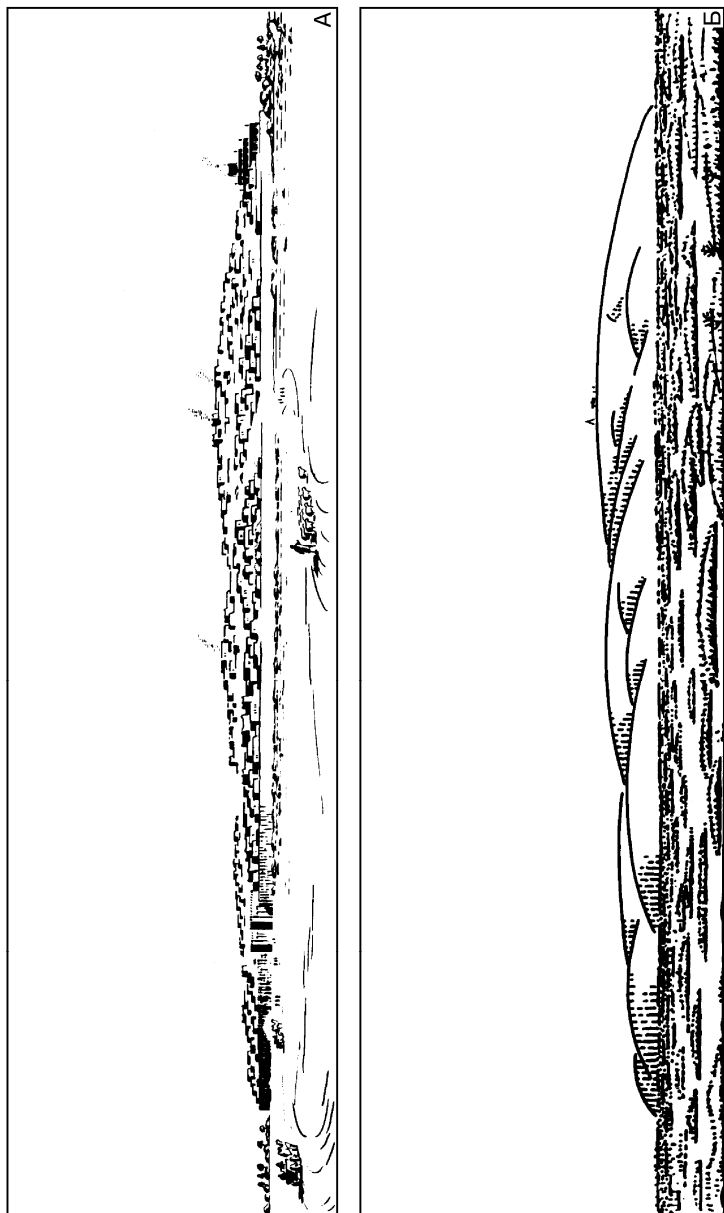


Рис. 10. Алгын-депе (Южный Туркменистан):
 А и Б — реконструкция поселения и современный вид холма.



Рис. 11. Алтын-депе (Южный Туркменистан),
реконструкция облика девушки из погребения № 578.

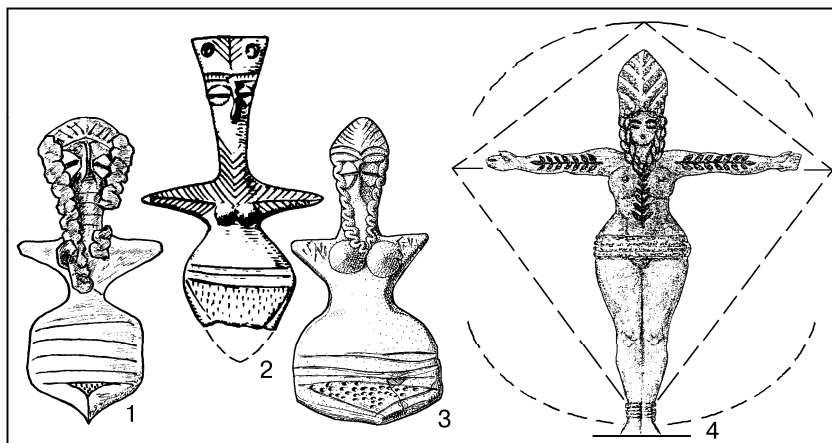


Рис. 12. Алтын-депе (Южный Туркменистан): А—В — терракотовые женские статуэтки; Г — скетч-реконструкция образа женщины по материалам статуэток.

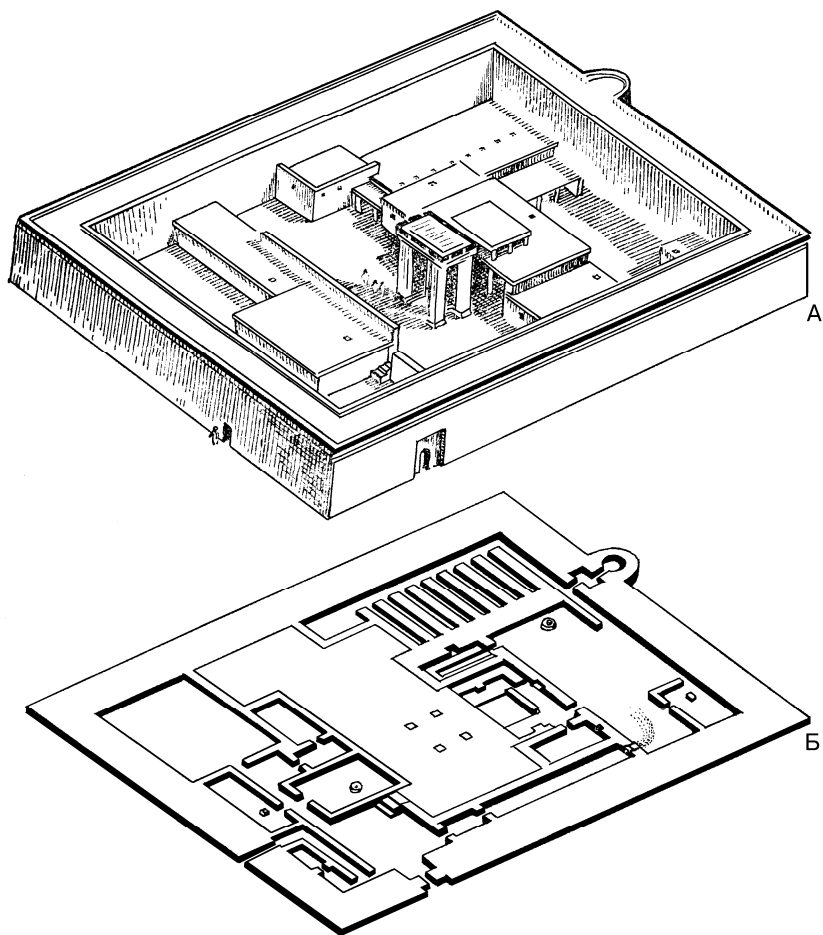


Рис. 13. Джаркутан (Южный Узбекистан):
А и Б — реконструкция и аксонометрия.

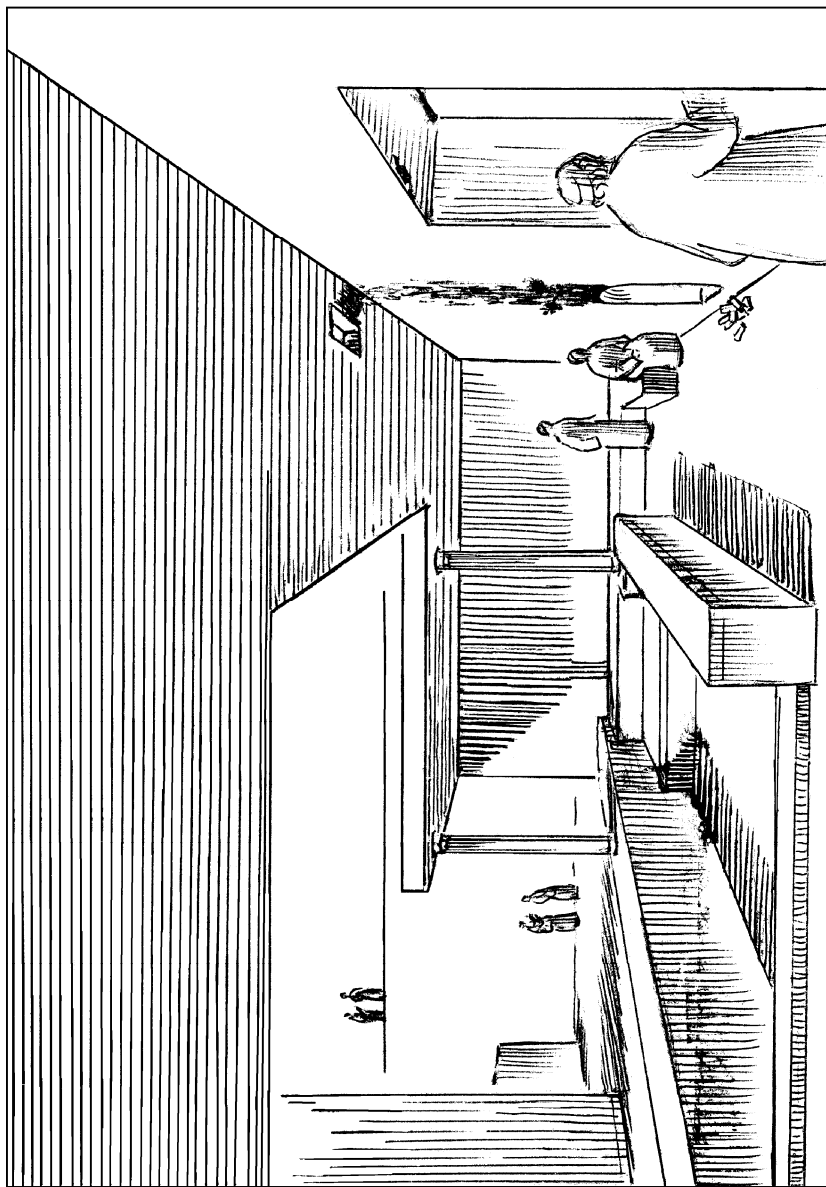


Рис. 14. Джаркутан (Южный Узбекистан), реконструкция внутреннего вида.

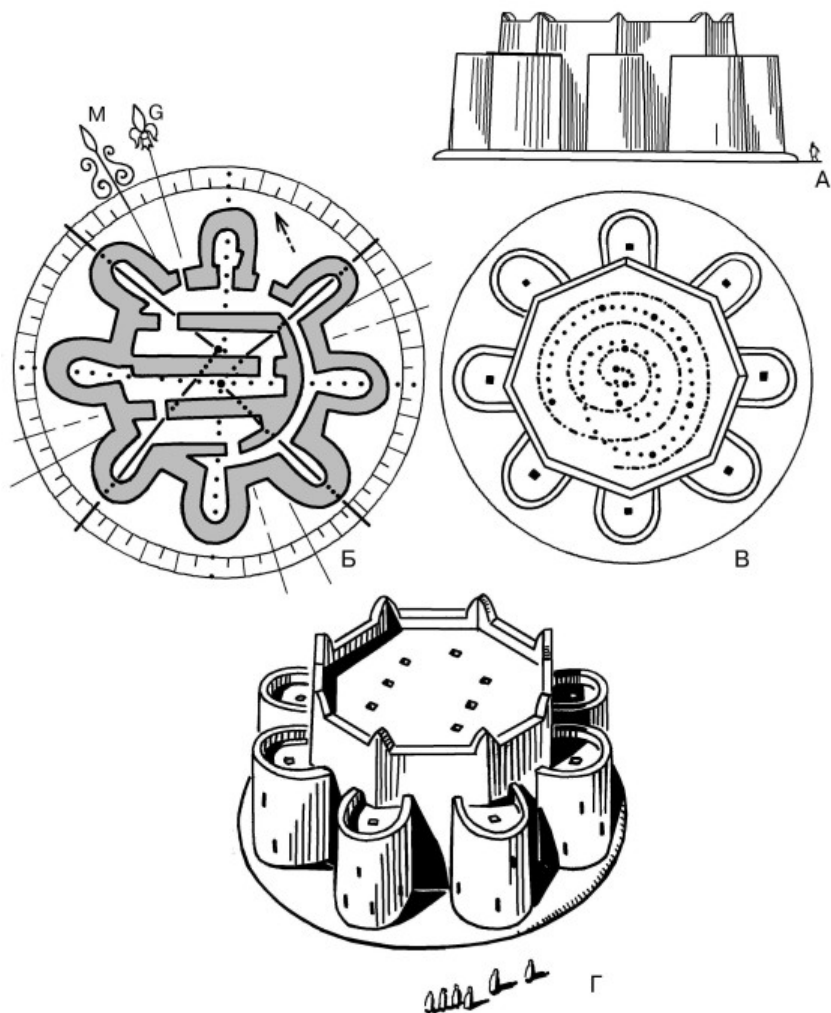


Рис. 15. Гарры-кяриз (Южный Туркменистан). А — вид сбоку, реконструкция;
 Б и В — анализ системы, заложенной в плане объекта;
 Г — реконструкция в аксонометрии.

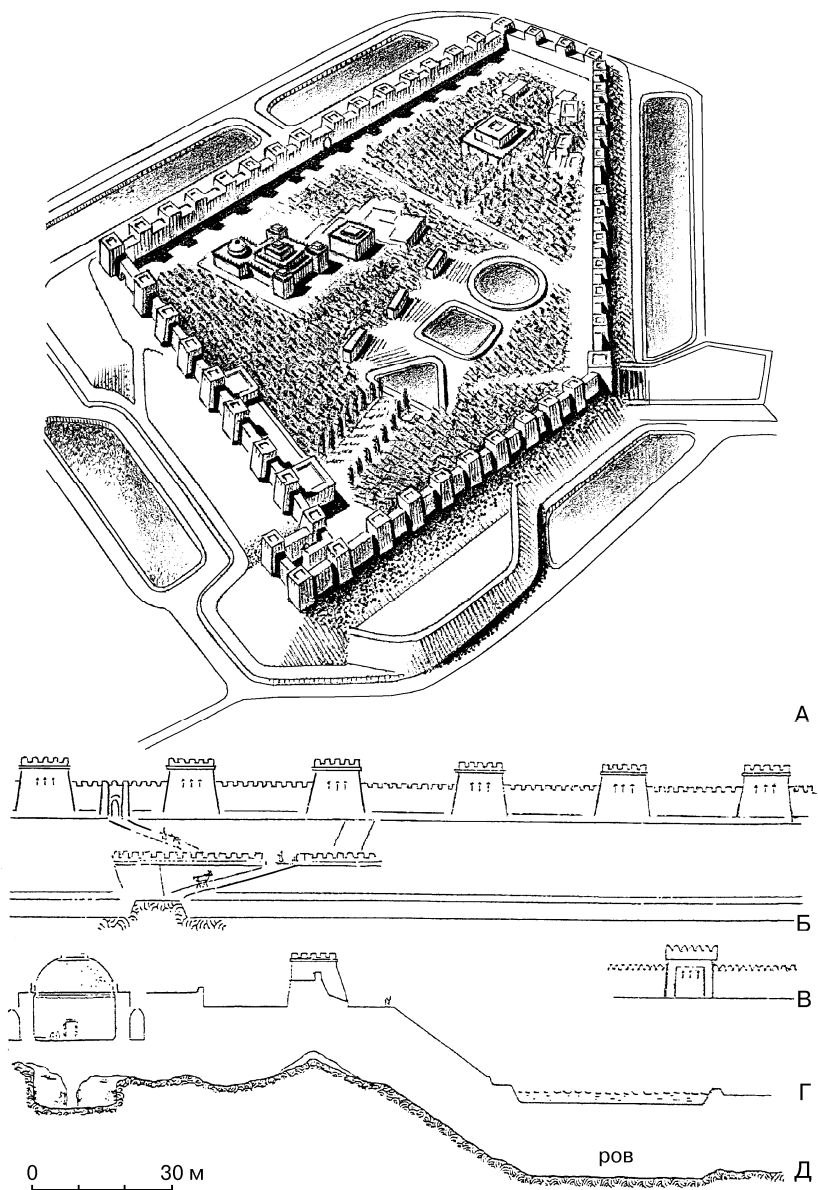


Рис. 16. Старая Ниса (Южный Туркменистан), реконструкции:
 А — общий вид крепости; Б, В, Г и Д — фронтальный вид западной стены,
 ее разрез и современное состояние разреза.

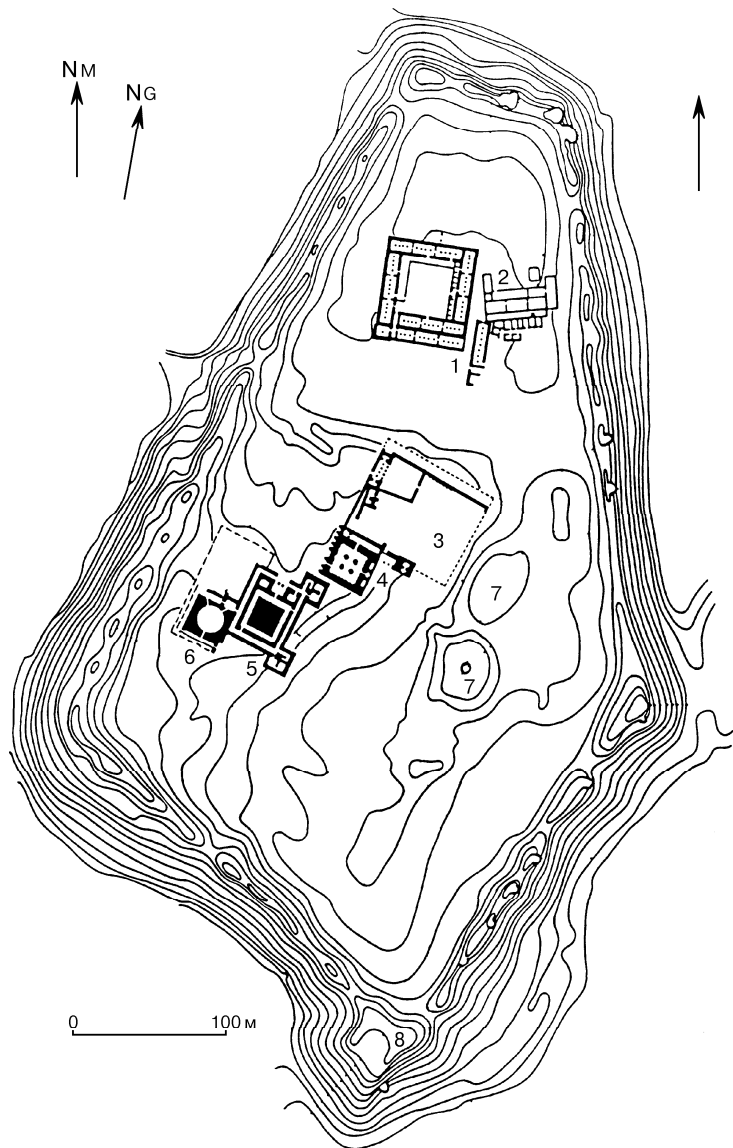


Рис. 17. Старая Ниса (Южный Туркменистан), план:

1 — большой квадратный зал; 2 — винохранилище; 3 — северо-восточное сооружение; 4 — здание с квадратным залом; 5 — башнеобразное сооружение; 6 — сооружение с круглым залом; 7 — водоемы-хаузы; 8 — южный бастион.

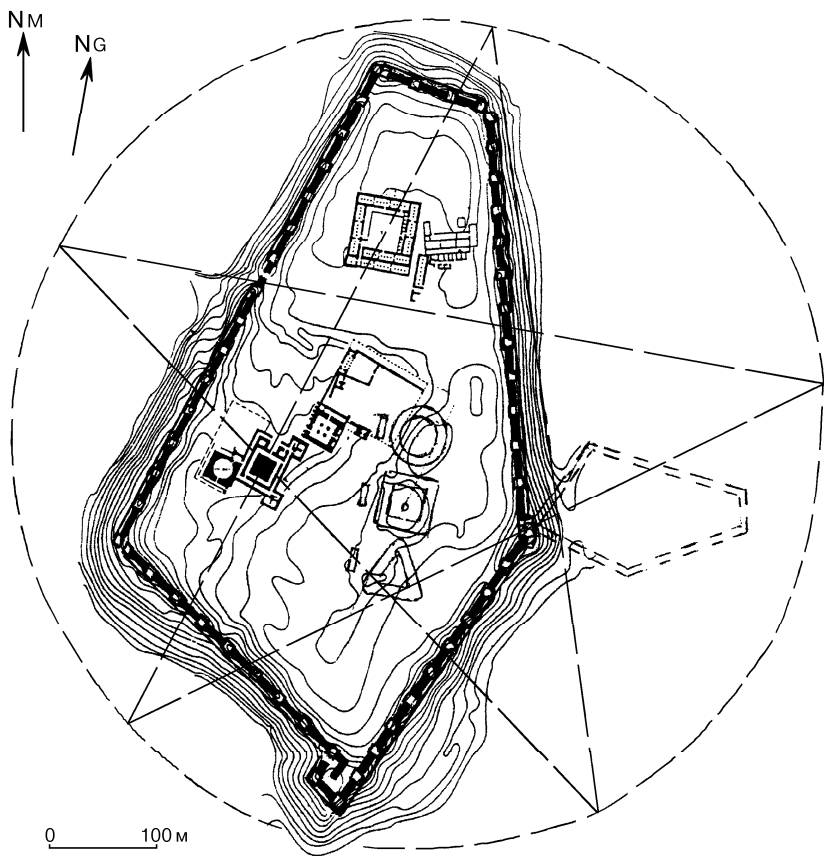


Рис. 18. Старая Ниса (Южный Туркменистан), реконструкции стен, башен, хаузов, павильонов около них и выносного восточного бастиона на примыкающем холме.

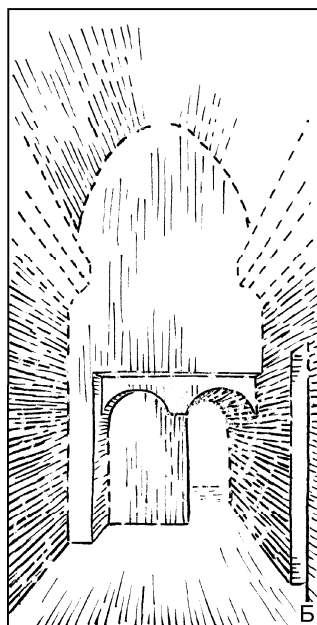
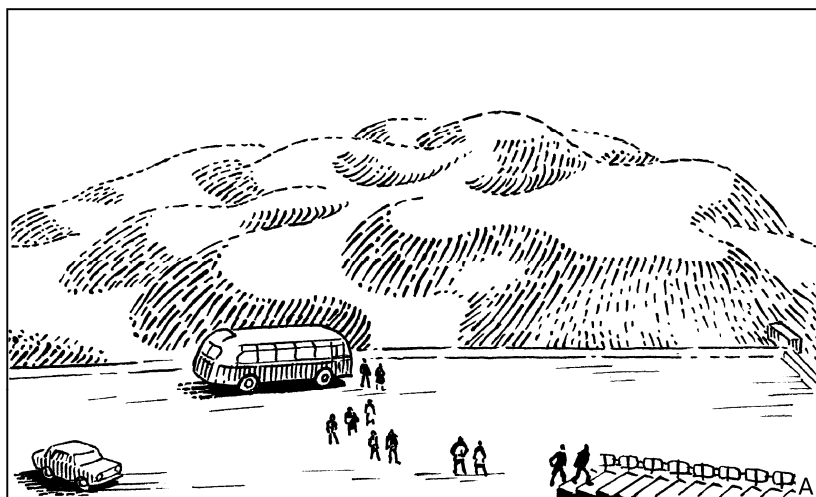


Рис. 19. Старая Ниса (Южный Туркменистан): 1 — современный вид с востока;
Б — реконструкция интерьера коридора в здании 5.

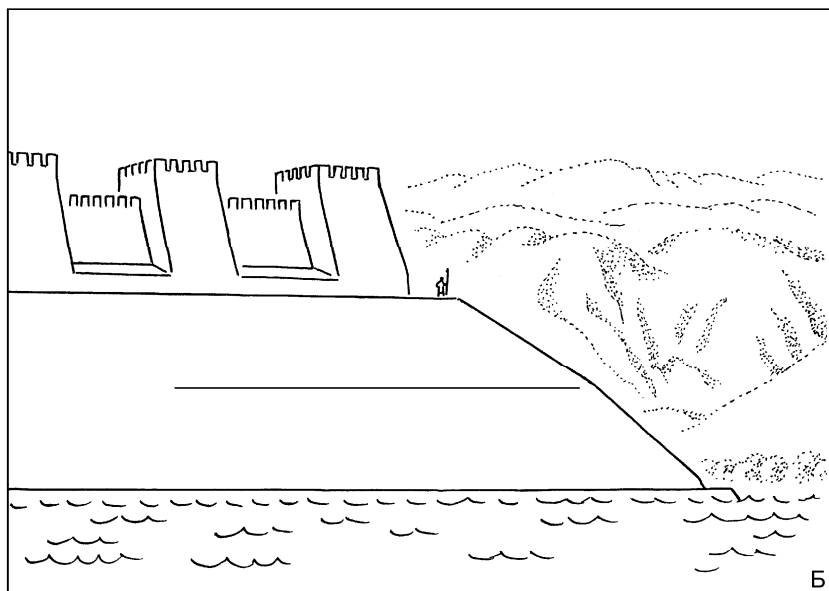
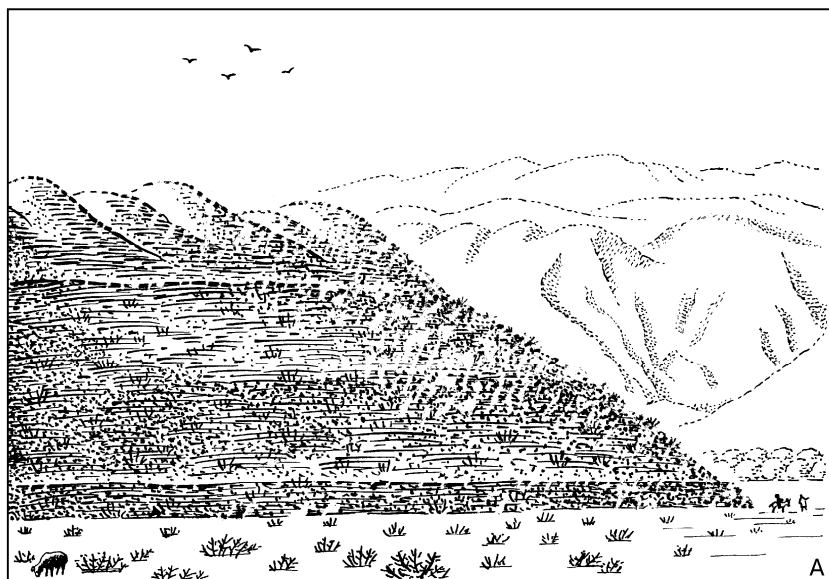


Рис. 20. Старая Ниса (Южный Туркменистан), юго-западный бастион:
 А — современный вид; Б — реконструкция.

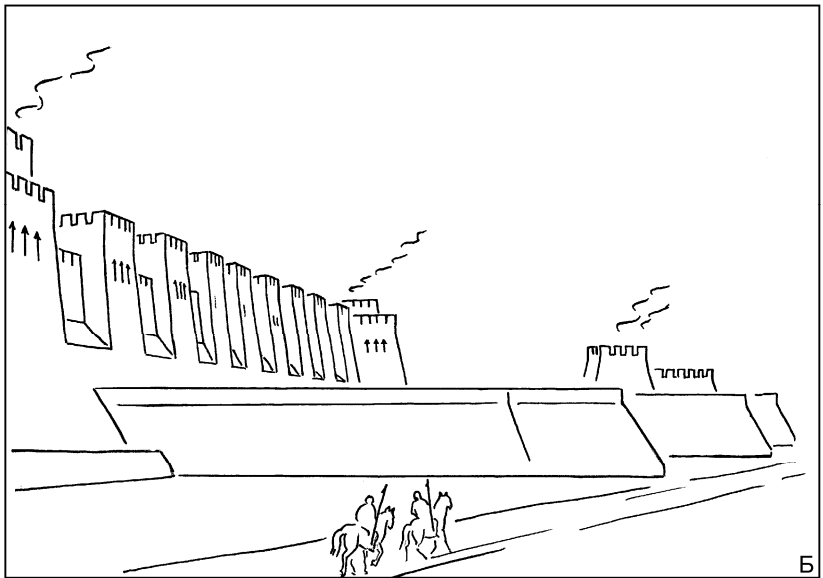
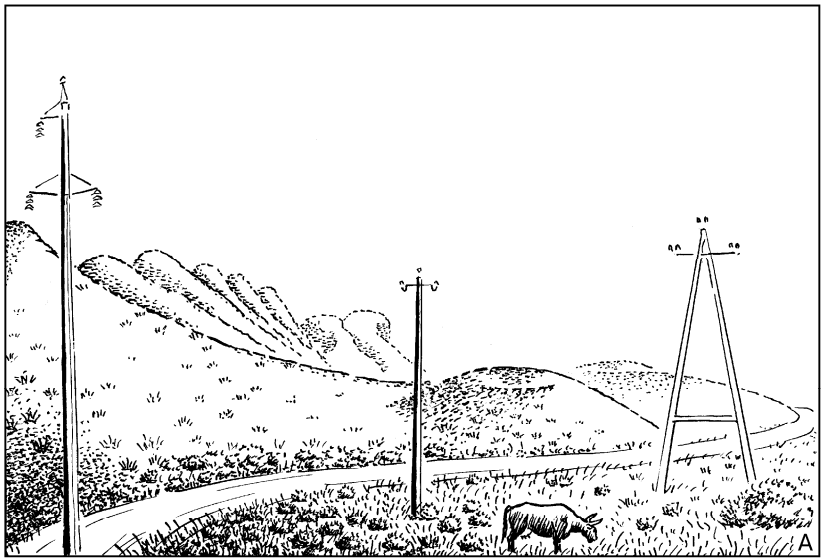


Рис. 21. Старая Ниса (Южный Туркменистан), вид с юго-восточного угла:
 А — современный вид; Б — реконструкция.

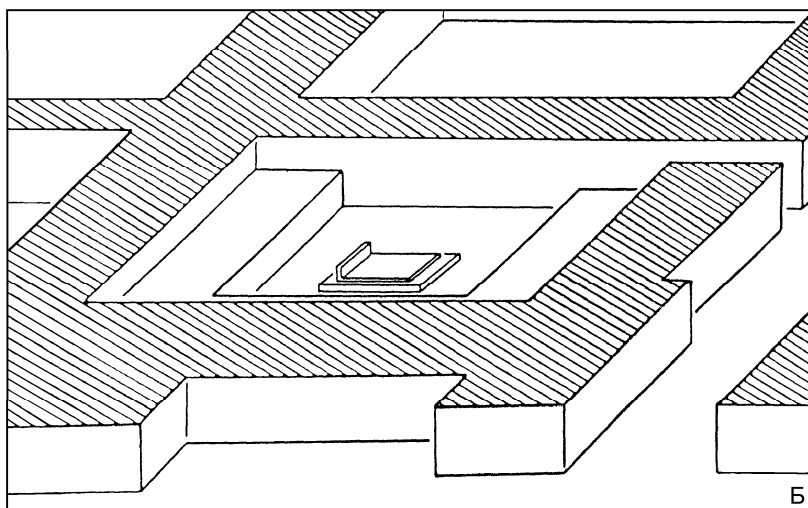
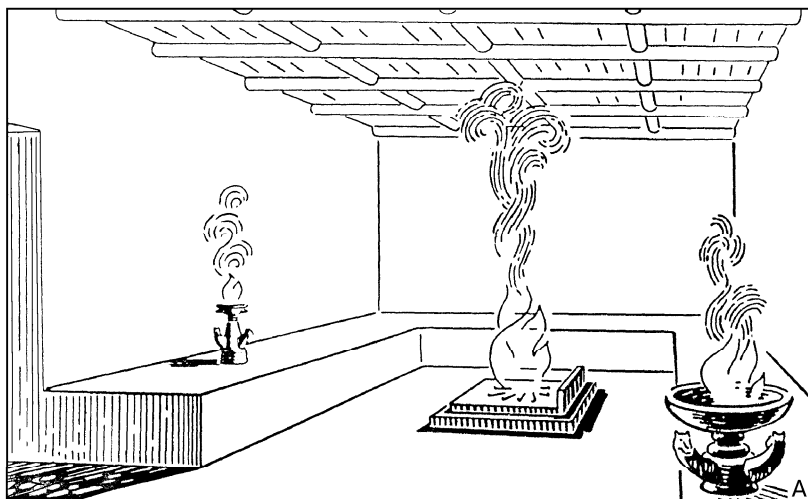


Рис. 22. Зар-тепе (Южный Узбекистан):
 А и Б — внутренняя реконструкция и аксонометрия “святилища”.

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА: “ПЛЮСЫ” И “МИНУСЫ”

В 1980-е годы, в связи с принятием “Закона об охране памятников истории и культуры”, резко интенсифицировались охранные и спасательные археологические раскопки на участках, отведенных под современное строительство в черте исторических зон средневековых русских городов. В ряде крупных населенных пунктов — таких как Киев, Новгород, Псков — исследованные раскопками участки культурного слоя “сплошной сетью” накрыли заповедные части города, предоставив в распоряжение исследователей уникальную возможность изучать процесс формирования городской территории с недостижимой еще полтора-два десятилетия назад полнотой и детализацией. Большие сплошные площади вскрытого культурного слоя (до 1 га) позволили изучать в качестве самостоятельной единицы городской застройки уже не “дом”, а “двор” с его внутренней планировкой и системой застройки: ситуация, вплоть до самого недавнего времени достигнутая только раскопками средневекового Новгорода. Полученные в результате масштабных раскопок археологические материалы в несколько раз увеличили существовавший фонд источников для изучения материальной культуры средневековой Руси. В настоящее время возможности археологии при воссоздании жизни и быта городского населения Руси весьма широки и фонд источников по этому кругу проблем продолжает возрастать. Очевидно, что такое увеличение источниковой базы является хорошей основой для начала нового цикла кабинетных исследований исторических судеб средневекового русского города.

Однако проведение масштабных раскопок в городах имеет и свои негативные стороны. С одной стороны, ежегодное пополнение фондохранилищ музеев материалами новых раскопок значительно опережает процесс введения материалов в научный оборот, и дело даже не в традиционно ограниченных издательских возможностях, из-за которых огромные коллекции десятилетиями остаются недоступны широкому кругу специалистов. Не менее важно и другое: долгий полевой сезон практически не оставляет времени для серьезного научного осмысления результатов раскопок: исследовательский процесс зачастую ограничен временем, отведенным для написания ежегодного полевого отчета. Отчет же по самой своей сути призван не исследовать, а констатировать результаты раскопок: он содержит характеристику культурного слоя, описание открытых раскопками объектов, обзор массовых категорий

находок и списки индивидуальных находок, а также фото- и графическую документацию по раскопу. Ни о какой серьезной исследовательской работе над материалами раскопок на этом этапе осмысления результатов полевых исследований речь не идет: задача отчета — констатировать факты, а не реконструировать процессы. Однако после сдачи полевого отчета наступает новый сезон раскопок... и все начинается сначала.

С другой стороны, своевременное обеспечение всех необходимых научно-исследовательских работ и темпы этих работ, диктуемые на каждом конкретном раскопе сроками начала строительства, уже сейчас требует привлечения не только значительных материальных средств но, главное, — огромных людских ресурсов. Возможности же последних далеко не безграничны. При этом, основной сложностью при проведении новостроечных археологических раскопок является не проблема обеспечения объектов раскопок рабочими-землекопами, а, в первую очередь — набор на сезонные работы младшего научного персонала, то есть — лаборантов, препараторов и чертежников, обладающих хотя бы элементарными навыками полевых археологических работ. Отсутствие достаточного количества таких “полупрофессионалов” при необходимости своевременного завершения исследований в “пятне застройки” затрудняет проведение качественной фиксации процесса раскопок и открывающихся в результате этих раскопок археологических объектов и делает крайне сложным неукоснительное соблюдение методики археологических раскопок. Это относится, прежде всего, к работам крупных экспедиций, когда в период полевых работ раскопки проводятся одновременно на нескольких раскопах площадью от 500 до 2500 м² каждый. Фактически, научная экспедиция превращается в РСУ по проведению “преднулевого цикла” (Белецкий, Лесман 1996: 107—110).

Возникающие трудности из года в год возрастают. Поэтому представляется, что основной задачей, стоящей перед археологами, специализирующимися в области городской проблематики, является разработка методов оценки научной информативности культурного слоя и практических приемов оперативного планирования и корректировки процесса раскопок непосредственно в полевых условиях в зависимости от выявляемой степени информативности слоя. В условиях работы большой новостроечной экспедиции в черте средневекового города, когда исследования ведутся одновременно на нескольких раскопах и в течение длительного полевого сезона, на ход работ неизбежно оказывает влияние целый ряд объективных и субъективных факторов: погодные условия, обеспеченность раскопов рабочей силой и младшим научным составом и т. п. Проводя весь цикл исследовательских работ на каждом раскопе в одном и том же ритме, экспедиция оказывается зачастую в сложном

положении из-за заранее запрограммированной аритмии. На примере работы на новостройках в черте Пскова, например, заранее известно, что в июне раскопы будут с избытком обеспечены рабочей силой в лице школьников, проходящих трудовую практику, но при этом будет катастрофически мало лаборантов и чертежников, в июле-августе становится "легче" с лаборантско-препараторским составом, но резко сокращается количество рабочих-землекопов, в сентябре-октябре, как правило, опять остро ощущается нехватка лаборантов, а в качестве рабочей силы привлекаются сотрудники предприятий-"Застройщиков", заключенные и военнослужащие. При этом, с конца июля — начала августа в том же Пскове начинается период дождей и значительная часть рабочего времени на большинстве раскопов уходит на откачку воды из котлованов раскопов. Совершенно очевидно, что гарантировать равноценно качественную фиксацию и полное соблюдение методики археологических исследований в таких условиях крайне сложно, а порой — практически невозможно. Единственным выходом из сложившегося положения является следующее: порядок и очередность проведения научно-исследовательских работ, перспективное планирование которых проводится заблаговременно, должны подвергаться оперативному планированию и корректировке непосредственно в процессе проведения полевых исследований. Это позволит еще до начала сплошного вскрытия культурного слоя в площади раскопа получать объективные данные о перспективной информативности слоя на том или ином участке, а, следовательно, определять очередность проведения охранных раскопов, то есть, в конечном счете, планировать проведение работ на несколько лет вперед, иметь возможность без напряжения проводить подготовительные операции по раскопу, определять реальные сроки проведения исследовательского цикла по каждому раскопу и объективно оценивать как объем капиталовложений, так и количественный состав профессиональных и полупрофессиональных сотрудников экспедиции.

Оперативное планирование процесса ведения охранных археологических раскопок, в свою очередь, требует разработки и практического внедрения методов оперативной оценки степени сохранности культурного слоя в пределах каждого раскопа. Только располагая объективными данными о перспективной информативности культурного слоя на каждом конкретном участке работ можно определить очередность проведения раскопов, сроки проведения цикла исследований на каждом конкретном раскопе и, наконец — объективно установить объем капиталовложений в каждый конкретный раскоп и количественный состав профессиональных и полупрофессиональных сотрудников экспедиции, необходимых для успешного проведения цикла исследовательских работ

на данном раскопе. Для проведения предварительной оценки культурного слоя предлагается использование разработанной на материалах раскопок в Пскове шкалы, построенной на соотношении в слое массовых категорий находок (Белкина, Белецкий, Станюкович 1997: 214—234).

Разумеется, полученные результаты будут носить предварительный характер. Однако они могут стать реальным основанием для определения очередности исследования отдельных частей будущего раскопа. В частности, сильно нарушенный культурный слой не сохраняющий никаких объектов (печи, мостовые и т. п.) может сниматься большим числом рабочих при меньшем числе лаборантов, из нарушенного слоя вряд ли целесообразно брать на определение остеологический материал, значительную часть найденной керамики из такого слоя можно обрабатывать непосредственно в полевых условиях без включения ее в состав коллекции для постоянного хранения. Иными словами, исследование сильно нарушенного слоя можно проводить ускоренными темпами без потери научной информации, получаемой при анализе данных раскопок. И, напротив, слой, имеющий достаточно хорошую сохранность, требует меньшего числа рабочих-землекопов и большего числа профессионально или полупрофессионально подготовленных лаборантов, а массовые находки из такого слоя имеют достаточно высокую научную информативность и должны проходить полный цикл полевой и последующей камеральной обработки.

Сказанное относится только к культурному слою, лишенному объектов. В процессе проведения сплошного вскрытия на всей площади раскопа предварительное зонирование слоя естественно должно корректироваться исходя из реально выявляемой сохранности слоя. Говоря о необходимости предварительной оценки слоя речь идет о тех его участках, на которых нарушения слоя не имеют ярко выраженных стратиграфических признаков.

Вторая, не менее важная задача — подготовка для полевых исследований лаборантско-препараторского состава. Единственным выходом, как представляется, должно стать подготовка “кадров” в межсезонье путем проведения силами профессиональных археологов специальных занятий со студентами и школьниками-старшеклассниками, предполагающими принять участие в работах экспедиции. Такая работа ведется многими экспедициями, однако — нерегулярно и несистематично. При требованиях крупной комплексной экспедиции обеспечить лаборантами и препараторами одновременно до десяти раскопов общей площадью до 1 га проведение подготовительной работы по обучению будущих сезонных сотрудников экспедиции основным приемам работы на городских спасательных раскопках должно перейти от нерегулярных “общений” к

систематическим занятиям, обеспечивающим экспедицию к началу полевого сезона подготовленными лаборантами.

Третьей задачей, крайне остро стоящей перед городской археологией является оперативное введение материалов раскопок в широкий научный оборот. Безусловно, таким “обнародованием” результатов раскопок не являются ни отчеты, ни, тем более, существующие информационные сборники. Публикация материалов раскопок — конечная задача исследовательского цикла, поэтому представляется, что подготовка материалов к печати и издание этих материалов должны входить в общую программу новостроечных работ, проводимых, согласно “Закону об охране памятников”, на средства, отчисляемые “Застройщиком”. Но учитывая значительную нагрузку, лежащую на плечах исследователя, проводящего раскопки, представляется, что ожидать завершения полного и всестороннего изучения и детального осмысления всей совокупности открытых в площади раскопа объектов и каждой сделанной при раскопках находки не приходится по крайней мере на протяжении нескольких лет после завершения раскопочного цикла (если, разумеется, исследователь не прекращает на какой-то срок проведение новостроечных работ). И если проведение раскопочных работ с сугубо научными целями почти всегда завершается публикацией результатов исследования, то при проведении хозяйственных археологических исследований единственным выходом из создавшегося положения является оперативная публикация научного отчета по завершеному раскопу, то есть — издание сокращенного варианта текста основного полевого отчета в сопровождении необходимой графической документации (планы открытых при раскопках объектов, стратиграфические разрезы, статистические таблицы массовых категорий находок, рисунки всей керамики, найденной при расчистке объектов, в материковых ямах и других закрытых или полузакрытых комплексах, а также образцов керамики из каждого стратиграфического слоя или пласта, рисунки всех индивидуальных находок). Изготовление таблиц для такого издания, как показывает практика, на 70—80 % может быть проведено в полевых условиях при обеспечении соответствующего штата художников и чертежников, а окончательная подготовка отчета к изданию должна проводиться параллельно с оформлением полевого отчета. Полагаем, что без издания считать работы на новостроечном раскопе выполненными нельзя.

И, наконец, еще одним важным аспектом научной деятельности экспедиции в условиях проведения масштабных спасательных раскопок является оперативный обмен информацией между специалистами. Большой объем раскопочных исследований приводит к тому, что археолог в течение длительного полевого сезона не успевает толком познаком-

миться с результатами работ на параллельно проводимых раскопах даже в черте того же города, в котором он работает сам. Выходом из этой ситуации можно считать регулярное проведение научно-практических семинаров, в рамках которых происходит обсуждение результатов новейших полевых работ и ознакомление коллег с процессом кабинетного исследования. Перспективность такого пути демонстрирует постоянно действующий при Псковском музее-заповеднике с 1980 г. научный семинар “Археология и история Пскова и Псковской земли” (руководитель семинара — проф. В. В. Седов).

Белецкий С. В., Станюкович А. К., Белкина Е. М. 1997. Археологическая информативность культурного слоя при охранных раскопках средневекового города (на примере Пскова) // Археологический фактор в планировочной организации территорий. М.

Белецкий С. В., Лесман Ю. М. 1996. “Столичная” и “провинциальная” археология: перемены 70—90-х гг. // Археология Петербурга 1. СПб.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВ	—	Археологические Вести. Санкт-Петербург
АО	—	Археологические открытия. Москва
АЭГМГ	—	Археологические экспедиции Государственного музея Грузии, Тбилиси
БМАК	—	Бактрийско-маргианский археологический комплекс
ВДИ	—	Вестник древней истории. Москва
ВОН АНАрмССР	—	Вестник общественных наук АН АрмССР. Ереван
ИАН	—	Известия Академии наук
ИА РАН	—	Институт археологии РАН. Москва
ИИМК РАН	—	Институт истории материальной культуры РАН. Санкт-Петербург
ИФЖ	—	Историко-филологический журнал. Ереван
КСИА	—	Краткие сообщения Института археологии АН СССР. Москва
Л.	—	Ленинград
ЛОИА АН СССР	—	Ленинградское отделение Института археологии АН СССР.
М.	—	Москва
МИА	—	Материалы и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград
ОНУз	—	Общественные науки в Узбекистане. Ташкент
ПАИ	—	Полевые археологические исследования. Тбилиси
РА	—	Российская археология. Москва
СА	—	Советская археология. Москва
СОН	—	Серия общественных наук
СПб	—	Санкт-Петербург
СЭ	—	Советская этнография. Москва
ТД	—	Тезисы докладов
ТДК	—	Тезисы докладов конференции
ТИИАЭ	—	Труды Института истории, археологии и этнографии АН ТуркмССР. Ашхабад
ТКАЭЭ	—	Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции.
ТЮТАКЭ	—	Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Ашхабад; Ленинград
АJA	—	American Journal of Archaeology. New York
AS	—	Anatolian Studies. London
AWA	—	Beitrage zur allgemeinen und vergleichenden Archaologie. München
ВАН	—	Bibliothèque archéologique et historique. Paris
ESA	—	Eurasia Septentrionalis Antiqua. Helsinki
ТТК	—	Turk Tarich Kurumu. Ankara

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. НОВЫЙ ЭТАП КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ТУРКМЕНИСТАНА (документы)	5
ЧАСТЬ II. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И ДРЕВНИЙ ВОСТОК. НОВЫЕ ФАКТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ	13
ОТ РЕДАКТОРА	14
<i>К. Курбансохатов (Ашхабад)</i> РЫЦАРЬ НАУКИ.....	17
В. М. МАССОН. БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА.....	21
СПИСОК УЧЕНИКОВ В. М. МАССОНА.....	23
<i>Ж.-К. Гарден (Париж)</i> ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ	25
<i>Ю. Е. Березкин (Санкт-Петербург)</i> В. М. МАССОН И СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX века	32
<i>Л. Челидзе (Тбилиси)</i> К ВОПРОСУ О ЛОКАЛЬНЫХ ВАРИАНТАХ ШУЛАВЕРИ-ШОМУТЕПИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ VI—IV тыс. до н. э.	46
<i>Г. Г. Пхакадзе (Тбилиси)</i> ВОСТОЧНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IV — III тыс. до н. э. (к проблеме культурных контактов)	50
<i>К. К. Кушнарера, М. Б. Рысин (Санкт-Петербург)</i> БЕДЕНО-АЛАЗАНСКАЯ ГРУППА ПАМЯТНИКОВ КАВКАЗА (к пересмотру хронологии, периодизации и культурно-экономических связей)	60
<i>Л. Б. Кирчо (Санкт-Петербург)</i> НОВЫЙ ТИП СТАТУЭТКИ ИЗ КАРА-ДЕПЕ	110
<i>А. К. Нефёдкин (Санкт-Петербург)</i> ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БОЕВЫХ КОЛЕСНИЦ В ДРЕВНОСТИ	116
<i>А. Я. Щетенко (Санкт-Петербург)</i> К ПРОБЛЕМЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ НАМАЗГА VI	127
<i>В. Д. Рузанов (Самарканд)</i> НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДАТЕ ПОГРЕБЕНИЙ ТИПА “ЯМЫ СО СПУСКОМ” ТУЛХАРСКОГО МОГИЛЬНИКА	142

<i>Н. В. Полосьмак, Е. В. Шумакова (Новосибирск)</i> ЮГО-ЗАПАДНЫЕ СВЯЗИ ПАЗЫРЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ткани)	145
<i>К. Абдуллаев (Самарканд)</i> К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ В ЮЭЧЖИЙСКИЙ ПЕРИОД (памятники пластического искусства и данные антропологии)	149
<i>Ф. Л. Хольт (Хьюстон)</i> РАННЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ БАКТРИЯ: ВЕСОВЫЕ СТАНДАРТЫ	156
<i>В. П. Никоноров (Санкт-Петербург)</i> НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК БАКТРИЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА ГОРОДИЩЕ КАМПЫР-ТЕПЕ: ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВА.....	160
<i>М. Ольбрыхт (Краков)</i> СРЕДНЯЯ АЗИЯ И АРШАКИДЫ	177
Ю. А. Заднепровский (Санкт-Петербург) О СТОЛИЧНЫХ ЦЕНТРАХ ДАВАНИ (ДРЕВНЕЙ ФЕРГАНЫ)	194
<i>И. В. Пьянков (Великий Новгород)</i> ОБ АВЕСТИЙСКОМ “СЕМИРЕЧЬЕ”	198
<i>Ю. А. Виноградов (Санкт-Петербург)</i> СКУЛЬПТУРНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ЮЖНОАРАВИЙСКОГО ПОРТА КАНА	203
<i>А. Колесников (Санкт-Петербург)</i> КАВАД ИЛИ КАВУС? ДРАХМЫ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ НАСЛЕДНИКА САСАНИДСКОГО ТРОНА	210
<i>Б. Б. Овчинникова (Екатеринбург)</i> ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР В РЕГИОНЕ РАССЕЛЕНИЯ ДРЕВНИХ ТЮРОК. VI—X вв.	216
<i>К. М. Байпаков, Н. М. Зиняков, Т. В. Савельева (Алматы)</i> БУЛАТНАЯ СТАЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОГО ТАЛЬХИРА	226
<i>А. А. Раимкулов (Самарканд)</i> НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА СРЕДНЕЙ АЗИИ	232
<i>В. Б. Зернов (Санкт-Петербург)</i> ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНОСТИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ	239
В. Д. Белецкий, С. В. Белецкий (Санкт-Петербург) ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА: “ПЛЮСЫ” И “МИНУСЫ”	260

Подписано в печать 10.05.2000.
Бумага офсетная. Формат 60 x 90 1/16. Гарнитура Times.
Усл. печ. л. 17. Уч. изд. л. 16.75.

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии Петербургкомстата.
197376. С.-Петербург, ул. Профессора Попова, 39
Тираж 300 экз. Заказ № 137